
THE
Man
BOOKER
PRIZE
2002
Joan Barfoot
Critical Injuries
BOOKER
Джоан Барфут · Тяжкие повреждения

Тяжкие повреждения
Джоан Барфут

Аннотация
Джоан Барфут. Тяжкие повреждения
Непривычная потеря контроля
Только ненормальный
Связаны, соединены
Странное, далекое небо
Сколько угодно времени
Перемотка
Простой план
Миссис Лот и миссис Иов
Нужно выкручиваться
Казаки-разбойники
Наказание так наказание
Джеймс (сокращенное издание)
По секрету
Катапульты и кипящее масло
Спокойный, внимательный взгляд
Такая толчея
Несколько хороших слов
Никаких тебе друзей-приятелей
Полезная мать
Belles lettres

Всевозможные безобразия
Она за рулем
Ощущение, без которого нельзя

Аннотация

Айле сорок девять лет, и после трагических событий, связанных с первым замужеством, она наконец-то встретила мужчину, на которого можно положиться. Родди всего лишь семнадцать, он живет с отцом и бабушкой, и ему тесно и неуютно в маленьком провинциальном городке. У них с приятелем есть хитроумный план, как раздобыть денег на побег, и выглядит он довольно безобидно. Но когда судьба столкнет Айлу и Родди лицом к лицу, вся прежняя жизнь кончится. И каждому придется учиться жить заново, порой получая поддержку с самой неожиданной стороны… «Тяжкие повреждения» роман о том, как трагически уязвим каждый из нас, как человек теряет и обретает себя.

Лонг-лист Букеровской премии 2002 года.

Джоан Барфут
Тяжкие повреждения

Непривычная потеря контроля

«Прыгай в машину», — говорит Лайл, и Айла прыгает.

Его пальцы исполняют коротенький номер на ее бедре, «подбираются к музыке», как он это называет. Ей по-прежнему нравится залезать в его старый, видавший виды пикап, такой большой, высокий, крепкий — настоящая рабочая машина для рабочего человека. Не то что та спортивная игрушка, на которой он ездит в город, или даже ее собственная практичная малолитражка, — серьезный автомобиль для серьезных дел.

Правда, дела случались и не слишком серьезные. Как-то они занимались любовью в кузове на старом, потрепанном матрасе, который Лайл собирался отвезти на свалку.

«Еще разок, на прощанье», — сказал он тогда, сочетая, как он умеет, сиюминутное желание с непреходящим чувством. Это было пару лет назад.

У этой поездки цель совсем другая, что-то праздничное, спонтанное. Кажется, речь шла о мороженом? Это все, что смутно вырисовывается

где-то очень глубоко, беда в том, что после того, как она прыгнула в машину, все обрывается и пропадает, как будто вырубили электричество.

Айла ощущает провал в памяти, пробуждающий настоятельную потребность вспомнить и одновременно отчаянное желание не вспоминать. До чего же странно. Она точно знает, что обычно память ее не слишком заботит, не занимает особого места в ее сознании. Она думает о том, как устроено сознание: что-то может занимать или не занимать его. И о том, что потеряла сознание, а теперь оно к ней вернулось. Это как-то связано с памятью, с потребностью в ней, с ее важностью.

Как неприятна, как раздражает эта неясность: как будто что-то чешется, как будто хочется почесать. Отвлекаться на такие глупости, когда ей нужно заняться чем-то важным.

Что-то чешется, но нельзя почесать. С ума можно сойти. Она начинает дергаться и обнаруживает, что дернуться загадочным образом не выходит. «Что за черт!» — думает она, собираясь это сказать, но слышит, что у нее не получается произнести ни слова.

Странно и очень тревожно, но, возможно, если потерпеть и подождать, все объяснится. Обычно

это помогает, хотя порой объяснение заставляет себя ждать, а порой все объясняется вовсе не так, как ей хотелось бы.

Так, если ей это известно, значит, память она не потеряла. И точно, память вдруг обрушивается на нее лавиной образов, голосов, слов, ощущений, событий, годами и годами грохочущего путешествия в глубь головы, как поезд в ночи: освещенные окна, прижатые к стеклу лица на полной скорости летят сквозь тьму.

Врезаясь, как в глухую стену, в слова Лайла: «Прыгай в машину».

Где Лайл и где, если на то пошло, она сама? В темноте никого и ничего не различить, ей кажется, что она одна в комнате. По крайней мере это похоже на комнату, есть что-то в воздухе, ощущение замкнутого пространства, покоя, устойчивого объема. Наверное, она лежит — чем иначе объяснить такую неподвижность? — но в этом она не совсем уверена.

А в чем она уверена, так это в том, что у нее есть дела поважнее, чем лежать здесь, в этой, судя по всему, комнате, по какой-то, судя по всему, причине. Что у нее сейчас по плану? Зависит от того, какой сегодня день и который час.

Ох. Ей как-то не приходило в голову, что она не

знает ни какой сегодня день, ни который час.

Возможно, все это ей снится. Так бывает: никак не проснешься, сон снимается слоями, спишь, но знаешь, что видишь сон. Очнуться от такого сна особенно трудно. Может быть, и это — лишь путешествие в бессознательное, из которого необычайно сложно вернуться.

Обычно ей снятся цветные, полные движения сны, в них что-то происходит, пусть бессмысленное и странное. Если это сон, то какой-то очень тихий и темный.

Сейчас она может вспомнить уже довольно много, наверное, почти столько же, сколько помнила до того, как все случилось.

Что — все?

Вот он, провал в памяти: чем бы ни было это «все», именно из-за него она не знает ни где она, ни какой сегодня день, ни который час, ни что у нее по плану. Расписание у нее очень плотное, каждый день забит, и это, чем бы оно ни было, в ее планы не входило.

Если бы понять, как она сюда попала и почему лежит. Может быть, получилось бы догадаться, как встать и заняться делом. А сейчас она ощущает непривычную потерю контроля: мозг отдает приказ двигаться, но ничего не происходит.

Глупость какая-то.

Допустим, это — сон, тогда все, что нужно сделать, это опять погрузиться в него, на всю глубину, дать ему время присниться целиком, чтобы потом, когда он кончится, вынырнуть в своем привычном мире, с его красками и возможностями, как всегда бывает, когда видишь сон и просыпаешься. Приятно найти разумное решение головоломки, выход из затруднительного положения — этому она научилась сама, и уроки были непростыми, поэтому она имеет право гордиться собой.

Только на этот раз ничего не получается.

На этот раз, приходя в сознание, она видит свет — слава богу, значит, по крайней мере не ослепла — и слышит неподалеку голоса, но их обладатели находятся вне поля ее зрения. Она пытается сказать: «Что здесь происходит?» И где, собственно, здесь? Но выговорить эти слова у нее снова не получается. Правда, теперь ей удается нарушить тишину, издав нечленораздельный звук, от которого у нее леденеет кровь. Идиоты так говорят. Или те, у кого недавно был инсульт, кого ни глаза, ни язык не слушаются. Вот как она говорит — как будто ее ударило взрывной волной или взорвало изнутри, покалечила какая-то внутренняя или

внешняя сила.

Да, но помнит же она сами слова — «внутренняя», «внешняя». Разве могла она превратиться в идиотку или получить какое-то повреждение мозга, как от инсульта, раз помнит такие слова, хотя и не может их произнести?

Она узнает голос Лайла, голос другого мужчины ей не знаком, и слов она тоже разобрать не может, просто слышит какую-то невнятицу, вроде той, что произнесла сама. Наверное, они ее услышали, а может быть, даже поняли, потому что вот они оба, незнакомый молодой мужчина и Лайл, склоняются над ней. Хорошо, что она их видит, это вселяет некоторую надежду. Хоть какие-то органы чувств работают.

На Лайле рубашка, в которой он работает в саду, та же, что была на нем, когда он сел в грузовик и сказал: «Прыгай в машину», — старая, мягкая, в черно-синюю клетку, с потертыми локтями и воротником. Рукава закатаны так, что видны его жилистые, мускулистые предплечья, — ей так нравится смотреть, как на них играют мышцы, когда он работает или просто поднимает руки, чтобы сменить лампочку. Но сейчас она не чувствует влечения, да и он, похоже, тоже. Его узкое лицо нахмурено и озабочено, мышцы на

руках напряжены, и напряжение это явно не из приятных.

Она надеется, что на нем по крайней мере не те же старые ботинки и потертые джинсы, которые он надевает с этой рубашкой, когда возится в саду. Они наверняка грязные. Она поклясться готова, что старается повернуть голову и посмотреть, но по-прежнему видит перед собой то же самое. Как будто ее голова прочно закреплена на месте.

Она снова спрашивает:

— Что?

И на этот раз у нее получается отчетливее, хотя сложно судить по лицу Лайла, на нем ничего не отражается, кроме испуга. Хорошо бы улыбнуться, просто чтобы ему стало полегче. И она вроде бы улыбается. Возможно, улыбка выглядит жутковато. Может быть, нужно захотеть и все получится, она не знает, но, с другой стороны, почему у нее должна получиться улыбка, если не вышло повернуть голову? Все это озадачивает и явно ей не снится.

Не имеет значения, что не так, Лайл все исправит, ей спокойнее, раз он рядом, он может исправить почти все, касается ли дело Джейми, попавшего под суд за наркотики, или протекающего бачка в туалете. Но таким она его еще не

видела: как будто он не знает, с чего начать, и даже боится того, что нужно сделать. И еще ей видно из этого положения, какой морщинистой и дряблой стала кожа у него на шее: как вытертая старая тряпочка.

Ей сорок девять, ему — пятьдесят два: еще не старые, но уже и не молодые. Ее тело тоже увядает понемногу, правда, не усыхает, скорее обвисает. Она снова пробует сказать: «Что случилось?»

Его губы шевелятся, она слышит, как он говорит «Айла», и почему-то слышит еще «мороженое» и «Беги, я не буду выключать мотор», — хотя он произносит только «Айла».

Нелепые у них имена: Лайл и Айла, Айла и Лайл. Как ни скажи, язык сломаешь. Какая-то каша во рту, слова из бессмысленной песенки. Они не обращали на это внимание, во всяком случае она не обращала, пока Уильям, тот из его сыновей-близнецов, что старше на пять минут, не взялся говорить тост в честь новобрачных на их свадьбе, шесть лет назад, и не запутался так по-дурацки, что почти разозлился — все гости покатились со смеху. И они сами: Лайл и Айла, Айла и Лайл.

Она же видит, что он протягивает руку туда, где должна быть ее рука, хотя бы какая-то осязаемая

часть ее тела. Почему она ничего не чувствует? Почему он до нее не дотрагивается? Зачем просто водит ладонью над ее кожей? Это почти жестоко. Такая нерешительность совсем не в его духе.

Вспомнила. Они решили устроить себе праздник, вот почему зашла речь о мороженом. Еще один кусочек мозаики стал на место: сосуды Лайла все-таки не лопнут, и сердце не закупорится окончательно, потому что за последние десять месяцев он снизил свой холестерин с семи с чем-то до пяти с чем-то и собирался отказаться от всех ограничений.

Естественно, в их возрасте уже нельзя не задумываться о возможных и более чем вероятных посягательствах изнутри: о сбившихся с пути клетках, которые незаметно подтачивают, поедают края органов ради своего прожорливого, разрушительного существования. Лайлу об этом известно лучше, чем кому-либо. Их обоих ужаснул бы, но не слишком удивил рак, или сердечный приступ, или отказ почки — что-то подобное, невидимое, внутреннее. Они, конечно, сознают и возможность несчастного случая, удара судьбы извне, но это так непредсказуемо, что кажется почти невероятным, даже думать об этом не стоит. За те восемь лет, что Лайл и Айла

вместе, шесть из них в браке, они не раз бывали на похоронах тех, кто умер естественной смертью, так это называется. Друзья. Коллеги. Просто знакомых они исключили.

«По-моему, развлечение то еще, — сказала Айла Лайлу. — Повременим пока с этим хобби — ходить на похороны к кому попало».

Может быть, она умерла. Тогда понятно, почему Лайл смотрит на нее с такой печалью. Хотя непонятно, почему она в свою очередь смотрит на него.

Они очень серьезно отнеслись к тому, что у него повышенный, нездоровый уровень холестерина.

«Не хочу тебя потерять», — сказала она с нежностью, потому что в самом деле он был для нее чем-то вроде чуда, почти откровением.

Ей казалось, что происходящее с его сосудами похоже на те загадочные события, которые все время случаются на шоссе: едешь себе, самую малость превысив скорость, с удовольствием подпеваешь радио или любимому CD, там, куда направляешься, тебя ждет что-то приятное, и вдруг впереди целая цепь габаритных огней, затор, пробка, все еле плетутся, ползешь и ползешь целую вечность, пока наконец не увидишь две столкнувшиеся машины в левом ряду или

дорожные работы, из-за которых сузился правый ряд, а иногда нет никакой видимой причины, поток машин просто рассасывается, и снова можно нажать на газ, напевая себе под нос. Когда он пришел домой и рассказал о своем повышенном холестерине, она именно так представила себе то, что творится в его сосудах: ровный поток, потом вдруг путь забивается, движение становится вялым, а потом роковая остановка.

Они перешли на салат, обезжиренный сыр и чечевицу. Господи, собрали целую кучу рецептов, готовили из чечевицы все, что только можно. И конечно, когда он, счастливый, как ребенок, принес из больницы хорошие результаты анализов, ему захотелось вкусненького.

«Мороженого, — сказал он. — Настоящего. Только одно, обещаю, но так хочется большую порцию „Роки-Роуд“. Или двойную шоколадного, и чтобы шоколадной стружки побольше».

Она увидела, как перед ними освобождается дорога, дальше можно двигаться легко и свободно, вернуться к прежней скорости, только быть теперь повнимательнее, не расслабляться.

Они с Лайлом в ответе друг за друга. В этом теперь смысл брака, по крайней мере для нее. Она надеется, что, если ей и не удалось улыбнуться,

как хотелось, он сможет прочесть все в ее глазах. Он кажется таким подавленным! Что там, за подавленностью, она не видит, хотя обычно может изучать выражение его лица, уровень за уровнем, нужно только присмотреться. Иногда она, например, может уловить досаду за нежной заботой или, наоборот, очень часто — насмешливость, а еще любовь, разные ее оттенки, в том, как прорисовываются на его лице морщины, как сложены губы, в выражении и форме глаз.

Если бы он сейчас засмеялся, ей стало бы намного лучше. Если бы хоть улыбнулся, это бы ее подбодрило.

Он смеялся, когда они уезжали из дома за мороженым, смеялся над ней, потому что потащил ее за собой в веселом нетерпении, не дав даже переодеться после работы, а на ней был темно-синий льняной костюм со стильной узкой юбкой, в которой не так-то легко залезть в грузовик. Юбка задралась, собралась складками на бедрах, и он помог ее одернуть, хотя и не сразу.

Что дальше?

Поехали по дороге, надо полагать. Потом по шоссе. До города. Но всего этого она не видит, не вспоминает, просто она столько раз ездила по этой дороге, что ее мозг может воссоздать каждый

спуск и поворот, каждый водосток, придорожный камень, забор и засеянное поле.

Она видит, как Лайл склоняется к ней, видит щетину и поры на его коже. Слышит, как молодой человек по другую сторону от нее что-то говорит.

— Повреждение позвоночника. — Это окончание фразы, которую она не поняла.

Лайл спрашивает:

— И что теперь? Что дальше?

Какое счастье, он говорит за нее, произносит именно то, что она хотела сказать, даже больше, произносит это осмысленно, правильно, так, как у нее сейчас не получится.

— Есть разные варианты. Может, сам выйдет, поэтому лучше нам подождать какое-то время. А если нет, потребуется операция, но не сейчас, позднее. Нужно его извлечь, так или иначе. В любом случае предсказать ничего нельзя, по-всякому может сложиться, знаете, надейтесь на лучшее. Повреждение сложное, тем более, что там засел осколок пули, но скоро можно будет говорить с большей определенностью.

То ничего не знаешь, то сразу узнаешь слишком много. Позвоночник. Операция. Пуля. И на этом не заканчивается нечто странное и сложное, но начинается что-то еще, слишком страшное,

чтобы задумываться о нем.

Один из тех моментов в жизни, когда все катится кувырком, и все плохо, все очень плохо.

Только ненормальный

Родди холодно, очень холодно. Ночь жаркая до вони, окна у всех открыты, и целый день народ разгуливал почти голышом, но Родди все равно никак не перестанет дрожать. Одет он неподходяще, на нем только джинсы, майка и кроссовки, даже носков нет. Все бы отдал сейчас за место возле камина, куртку на меху, теплые ботинки. Он едва помнит, как это — тепло, хотя проснулся сегодня весь в поту. Может быть, оттого, что знал, что сегодня должно произойти, но и из-за духоты тоже. У бабушки нет кондиционера. Хорошо было бы позаботиться об этом. Теперь все будут думать, что он мерзавец, будут жалеть бабушку и отца, но Родди вовсе не жадный и не эгоист.

Бастер, старый бабушкин пес, полуколли, полуовчарка, утром просто лег на плиточный пол в кухне и не хотел вставать, хотя Родди пытался его выманить.

— Не надо, — сказала бабушка, — он уже сходил. А гулять он сегодня не захочет. Только ненормальный захочет.

Тогда на эту густую шерсть было страшно смот-

реть, а сейчас Родди все бы отдал, чтобы зарыться лицом в мех Бастера, вдыхая отдающий псиной, теплый, славный, такой знакомый запах старой собаки.

Родди очень о многом сейчас жалеет. Во-первых, он жалеет, что нельзя сделать так, чтобы снова было утро. И почему время так устроено? Почему нельзя вернуться и начать сначала, если то, с чем не должно было быть никаких проблем, оказалось такой ошибкой? Должно же у человека быть в запасе хоть несколько часов.

Был бы он дома, бабушка принесла бы одеяло, приготовила бы горячий шоколад, чтобы он согрелся, но хватит с него на сегодня растерянных, испуганных глаз. Он просто не вынесет растерянного, испуганного, расстроенного его предательством взгляда.

Может, ему лучше просто покончить с собой: прокрасться к реке и зайти поглубже. Или найти где-нибудь неподалеку что-нибудь острое и полоснуть себя. Тогда не придется никому смотреть в лицо. А если будет холодно, он не будет чувствовать холода. Он вообще ничего не будет чувствовать, если умрет.

Только вдруг он передумает в последний момент? Зайдет чуть глубже, чем нужно, потеряет

чуть больше крови, и все, назад пути нет, барахтайся или истекай кровью до смерти. А ведь скорее всего так и выйдет, особенно сегодня, когда он все делает не так. Лучше еще подумать, а пока полежать здесь, в высокой траве, трясясь от холода, глядя, как понемногу зажигаются огни в городе и звезды. В это время года темнеет целую вечность. Обычно, каким бы длинным ни был день, ему все мало, но не сегодня, сегодня он — крот, летучая мышь. Сова, только он не охотится, а прячется.

Когда станет совсем темно, он, скорее всего, выберется отсюда без труда. Он хорошо знает эти места, часами ползал вдоль заборов и канав, бродил по полям без всякой цели, просто смотрел, что там. Там всегда было что-то новое: лягушки, маргаритки, высохшие дохлые змеи; а потом вдруг раз — торговый центр. Зимой иногда лисьи следы. Сурки, разные травы и злаки; потом еще несколько домов. По другую сторону поля стоит голый, засохший вяз с ломкими ветвями — вроде ориентира, но смотреть на него даже днем жутковато. Сейчас он и пугает, и успокаивает. Знаешь, где ты. Когда стемнеет, можно будет отсюда уйти.

Как он мог зайти так далеко?

Ему и в голову не приходило, что придется прятаться, тем более, что будет так холодно. Надо же быть таким идиотом! Он ничего такого не ждал, казалось, все так просто, казалось — чего проще?

Сейчас все, наверное, уже знают. Бабушка, скорее всего, говорит всем, что этого быть не может, но в глубине души, он готов поспорить, знает. И, готов поспорить, сердце у нее разрывается. Ни за что не сделал бы ей больно, но сделал же. Почему он не понял этого утром? Как он мог не понять?

Отец наверняка сидит в гостиной, в кресле перед телевизором, качает головой, и лицо у него мрачное. Ну это как всегда, у него вечно мрачное лицо. На этот раз есть из-за чего помрачнеть. Родди почти слышит, как отец слабым голосом повторяет снова и снова:

«Не знаю, — и вздыхает. — Просто не знаю».

Как-то, несколько лет назад, когда Родди доучивался последний год в средней школе, отец не пришел на спектакль, в котором у Родди была довольно большая роль, не пришел, хотя обещал. Бабушка пыталась все уладить:

«У папы в жизни столько разочарований. Иногда у него не все получается, как хотелось бы».

«А мне какое дело?»

Родди хотел сказать, что так нечестно, что, если

у отца столько разочарований, нечего разочаровывать всех вокруг. Если у него их столько, должен понимать.

Бабушка у Родди совсем не такая.

«Из тебя вырастет прекрасный человек, — говорит она Родди, а еще: — Не бойся строить большие планы, ты добьешься всего, чего захочешь».

Только ей и в голову не могло прийти, даже на минуту, даже в те лихорадочные недели, когда складывался этот план, что он может захотеть чего-то такого.

Теперь он отчаянно этого не хочет. Поверить не может, что с ним такое произошло. И об этой женщине тоже думать не хочет. О господи.

Дождаться, когда совсем стемнеет, — и вперед. Куда? Но нельзя же просто лежать тут, мерзнуть и ждать, чтобы кто-то другой сделал следующий ход.

Хотя неплохо было бы. Неплохо было бы ничего не решать и не делать выбор. Он ужасно устал.

Он ложится на бок и сворачивается. Хочет стать маленьким и, если сумеет, устроиться поудобнее. Он такой худой. Может быть, поэтому так и мерзнет. Бабушка у него толстая, ее много, зимой она смеется, говорит, чем толще, тем теплее. А в это время года она ужасно мучается, иногда кажется,

что ей дышать трудно, что она задыхается от собственной толщины. Прошлым летом она впервые перестала печь, да и готовить почти перестала, когда была самая жара.

«Стара я стала для этого», — говорит, хотя вообще-то ей всего шестьдесят два, конечно, старовата, но еще жить да жить.

То, что случилось, может свести ее в могилу. Иногда Родди на несколько секунд забывает, почему он тут лежит. Что он натворил? Почему не подумал? Он бьет себя кулаком по лбу. Больно, так ему и надо. В один день, в один вечер так глупо, легкомысленно, бездумно перевернуть всю свою жизнь.

Как же странно: все, что теперь произойдет, будет отсчитываться от этого дня.

Интересно, как там Майк, что с ним. Интересно, что бывает с друзьями, когда приходит беда. Майк всегда был лучшим другом Родди, с тех самых пор, как он и его мать постучали в бабушкину дверь в тот день, когда Родди с отцом переехали сюда. Расстроенному, тощему Родди было семь, крепенькому Майку — восемь, у него была нелепая стрижка, волосы торчком, и нахальный взгляд. Взрослые отправили их кататься на велосипедах по округе.

«Осторожнее там, — сказала мама Майка. — Покажи Родди дорожные знаки и светофоры. И школу тоже покажи, хорошо?»

Это было десять лет назад, полжизни, даже больше. А теперь, после всех этих лет, их дороги вдруг все-таки разошлись. Майк не то чтобы совсем ни при чем, но в общем и не виноват, по крайней мере не виноват в том, как все вышло. С самым страшным, непоправимым Родди был и остается один на один.

Им тогда казалось, что план отличный. С чего они так решили?

Они вынашивали его, восхищались им, снова и снова обсуждали, как гладко все пройдет, одно за другим, само собой. Точно так же они раньше придумывали в каникулы, куда бы отправиться на велосипедах, а прошлым летом, когда Майк получил права, на машине его родителей. Даже если они собирались уезжать совсем ненадолго и недалеко, все равно выбирали маршрут, присматривали хорошие стоянки, решали, что взять поесть. Не то чтобы они пытались предусмотреть все неожиданности. Неожиданности были чем-то само собой разумеющимся. Ради них все и затевалось.

Может быть, в этот раз они не думали о неожи-

данностях, потому что речь шла не совсем о развлечении. Хотя готовились тщательнее, чем обычно, потому что в этот раз затея была по-настоящему рискованная, им предстояло совершенно новое приключение. Им нравилось снова и снова репетировать, как все будет, оттачивать свои реплики, хотя план казался таким простым, не сложнее обычной загородной прогулки. Родди точно помнит, что придумал все Майк, смеха ради, поначалу они просто дурачились. Кто первым заговорил об этом всерьез? С чего вдруг, когда?

Скорее всего, Родди. Бывает, что Майк, которому все-таки уже восемнадцать, толкает Родди кулаком в плечо, когда тот слишком задумается о чем-то, и говорит:

«Гляди веселей, ты чего такой серьезный?»

У него по-прежнему стоит перед глазами то, что случилось. Быстрые картинки, которые так не хочется видеть, вспыхивают на изнанке век, и без слов ясно, что дело плохо.

Сначала выли сирены, много сирен. Но когда он остановился в поле, задыхаясь, потому что быстро шел по улицам, где его могли увидеть, потом пустился бежать и бежал, пригнувшись, довольно долго, прячась за деревьями, ныряя в канавы, карабкаясь через заборы, весь мокрый,

чуть не плача, даже отзвук сирен смолк. Правда, когда он оглядывался, видны были мигающие красные огни, медленно двигавшиеся по улицам. Наверное, местные патрульные вызвали на подмогу полицейских из города. Мигалки все еще видно.

Как только станет совсем темно, он снова двинется в путь.

У него с собой всего пара долларов, ни еды, ни питья, ни машины. Они с Майком никогда не собирались в дорогу, не подготовившись, даже когда были маленькими. Стемнеет, и он пойдет дальше, но куда, и что ему делать, когда он туда доберется?

Он не знает, просто ничего другого не может придумать.

Если бы можно было пробраться домой, тихонько подняться наверх, собрать все одеяла, сколько есть, и зарыться в них, пока не согреешься. Только это небезопасно. В доме наверняка полно полиции, во всяком случае, за домом следят.

Сейчас он даже зол на Майка. Не должен он быть здесь один.

А он один. И скоро будет достаточно темно, чтобы идти дальше. За еле видным сейчас вязом есть забор, потом еще большое поле, пастбище

с низкой, выгоревшей на солнце травой, потом еще забор, канава, и не то чтобы лес, но большое пространство, поросшее деревьями. Добраться туда, а там есть ручей, хотя в воде наверняка полно всякой дряни, и орехи есть, и ягоды должны быть.

Да, можно подумать, он знает, как выжить в дикой природе.

Но это уже что-то. Какой-то вариант, хотя бы для начала.

За соседним полем, в той стороне, откуда он пришел, где-то у выезда из города, слышится лай. Сколько это продолжается? Время от времени он словно отключается, уходит в себя. Лай звучит глухо и сосредоточенно. Там, наверное, две собаки. Не маленькие. Рвутся с поводка. Чем-то взволнованы, лают почти с торжеством, как Бастер, когда был помоложе и загонял белку на дерево.

Ох черт, о господи. Родди вскакивает и бежит. Руки у него работают, как у целой команды бегунов, он летит через посевы, доходящие ему до бедра, к вязу и, добежав до него, перепрыгивает через забор. Пастбище каменистое и неровное. Есть ли там коровы, есть ли там бык? Лай не слабеет, он все ближе и громче, в нем появилась

новая тревожная нотка. А потом он обрывается, и это уже хуже. Но еще какое-то время Родди продолжает бежать, такой быстрый, молодой, легкий, отчаявшийся, вымотанный и подавленный, слезы и пот, мешаясь, застят ему глаза, потом, наконец, словно сжалившись над ним, что-то большое рассекает воздух, прыгает на него сзади, осторожные челюсти смыкаются на его запястье, он тяжело валится, ушибаясь, и лежит на спине, глядя на звезды и серьезную, настороженную, заостренную морду по одну сторону и еще одну, такую же, по другую, слышит голоса и шаги и закрывает на мгновение глаза, потому что все кончилось, и что бы ни случилось теперь, оно случится с кем-то совершенно другим, в совершенно другой жизни — так быстро, так сразу, просто не верится.

Связаны, соединены

Врача, того молодого, темноволосого, который склонялся над ней, стоя по другую сторону кровати, напротив Лайла, судя по всему зовут Грант.

— Спасибо, доктор Грант, — говорит Лайл пресекающимся голосом, наверное, у двери, которой Айла не видит. — Я бы хотел, чтобы вы поговорили завтра с ее детьми. Когда вам будет удобно?

Милый Лайл. Знает, что для нее важно, и делает все, чтобы оно состоялось, заставляет его состояться. Она знает, хотя и не по личному опыту, что врачи очень загружены работой, а еще они не очень любят общаться с родственниками. Их можно понять. Она сама не так уж уверена в том, что хочет, чтобы Джейми и Аликс нависали над ней, внося еще большее разрушение в то, что и так странно, чудовищно разрушено. Но раз уж они — семья, полагается через все проходить вместе. Может быть, у них получится справиться, кто знает? Зависит, видимо, от того, с чем именно нужно справиться. Или от того, насколько им надоели беды и несчастья их беспокойных родителей.

Да, но теперь ведь ее очередь, разве нет?

По крайней мере, насколько она может судить, она не при смерти. Если Джейми и Аликс нет необходимости видеться с доктором Грантом до завтра, предполагается, что будет какое-то завтра, и есть о чем говорить. Ей хотелось бы знать, о чем именно. Не только Джейми и Аликс пребывают в неведении.

Ей хотелось бы, чтобы не было страшно; хотя бы не *так* страшно.

Когда она произносит: «Лайл?» — это звучит отчетливо. Налицо явный прогресс, если, конечно, отчетливо оно звучит не только у нее в ушах, но и в комнате. Но если получилось, то следующее, что она сделает, это спустит ноги с кровати, встанет и уйдет отсюда.

Откуда уйдет? То есть это — явно больница, но где и какая? Лайл, наверное, вышел вместе с врачом. Ей из ее положения видна только матовая белизна, перемежающаяся хромированным металлом. Кремовые, в дырочку, плитки потолка. Неподалеку что-то мерно пыхтит, точно великан дышит. Еще у нее чем-то заткнуты ноздри, хотя дышать оно не мешает, и это непонятно. А настоящий ужас в том, что она не чувствует своего тела, кроме головы. Она не может понять, что это

за состояние, когда ничего не ощущаешь, даже боли. Если она лежит, а она явно лежит, должно быть ощущение распластанности, ощущение того, на что опираются спина, плечи, ноги и руки. Если она в постели, то должна чувствовать еще какую-то тяжесть и давление, даже если укрыта всего лишь простыней.

О господи, она хочет *домой.* Хочет, чтобы всего этого не было, и можно было вместе с Лайлом вернуться к их сказочной жизни. Так нечестно, она только-только успела осознать эту награду, эту таким трудом добытую победу. Ей столького недодали! Она хочет *домой.*

Восемь лет назад, когда она впервые увидела ферму Лайла, вернее, дом и прилегающие к нему постройки — не совсем ферма, скорее загородный дом, — ей показалось, что она умерла и попала в рай.

— До чего же хорошо, — сказала она, когда грузовик, подпрыгивая, преодолел последние метры неровного проселка. — Лучше не бывает.

До встречи с ним она неправильно, как все горожане, назвала бы проселок дорогой. Она тогда еще и нервничала из-за того, что отправилась, как ей казалось, в местность, далекую от цивилизации, как в кино, как в «Освобождении» или

вроде того, с человеком, которого знала всего пару недель. Потому что кто знает, что творится в душе у мужчины, когда все условности и ограничения остаются далеко позади? Лицо у него было славное, взгляд одновременно и добрый, и острый, но кто знает?

Так она и ехала с ним по длинной дороге, по проселку, заинтересованная и немного настороженная. А потом ее в самое сердце поразило то, что она увидела.

— Да, дом что надо, — согласился он.

Это было в самом начале. Айла с опаской относилась к тому, чтобы узнать друг друга поближе. Возможно, и он тоже, просто потому, что это, скорее всего, привело бы к чему-то, в чем она разуверилась, и к чему, как она себе говорила, у нее душа не лежала после Джеймса.

— Работы тут, правда, невпроворот.

Она чувствовала, с какой гордостью Лайл показывает ей дом.

— Но он того стоит. Такой красивый.

Так и было. «Красивый» не отражало сути. Даже «лучше не бывает» оказалось не совсем то. «Рай на земле» было ближе к истине.

Да, сказал он, и для него тоже. К тому времени он прожил здесь уже три года. Почти все свобод-

ное время он улучшал, сносил, перестраивал, делал дом своим. Айла уже колебалась, склоняясь к тому, что он ей нравится, но влюбилась в его дом. Насколько ей известно, он по этому поводу не ревновал и в корыстных побуждениях ее не подозревал. Она даже думала, что, не влюбись она с первого взгляда в дом, который был ему так дорог, на который он потратил столько сил, она упала бы в его глазах. Его дом был не то чтобы проверкой, но все же чем-то, что можно было и не пройти.

Вдоль проселка, склоняясь над ним, тесно росли старые плакучие ивы и клены.

— Его размывает каждый год, — сказал он, имея в виду рытвины и ухабы. — Приходится в конце весны засыпать щебнем, довольно много уходит.

И вдруг в конце дороги, за плавным поворотом возник двухэтажный дом из желтого кирпича, устойчивый и незатейливый, если не считать крыши, отливавшей медью, и узора, выложенного из кирпича по углам здания. Простые прямоугольные окна были закрыты темно-зелеными ставнями, веранда, выкрашенная в густой зеленый цвет, окружала дом с двух сторон, одна в тот момент была залита солнцем, другую затенял еще один раскидистый клен. Уютные деревянные

и плетеные столы и стулья, навес от солнца, того же густо-зеленого цвета.

Сюда он переехал после того, как его жена Сандра умерла от рака груди, давшего метастазы, которые съели ее заживо, после того, как пережил вместе с уже почти взрослыми сыновьями-близнецами, которых Айла еще не видела, их переходный возраст и скорбь, после того, как снова обрел внутреннее равновесие и стал понемногу осматриваться, решая, чего ему может захотеться теперь, когда он один, — он отправился на поиски и в конце концов нашел это.

— Я твердо знал, что мне нужно, — рассказывал он ей. — После всех тех лет, что я провел в городе, мне был нужен простор. Чтобы было где повернуться. Может быть, просто хотел чего-то, чего у меня никогда не было. У тебя так бывало, что в жизни — одно, а мечтаешь совсем о другом?

Еще бы. Айла кивнула, но, хотя он сделал паузу, подняв брови, не стала уточнять, почему, или когда, или в каких обстоятельствах такое бывало.

— Пока я жил с Сэнди и потом с ребятами, я даже не представлял, как это — остаться одному. Страшновато, конечно, я чего-то в этом духе и ждал, взявшись за дело, которое требовало серьезных усилий. Но интересно. И здорово, если

все получится. Риелторы со мной с ума посходили: показывали то, потом это, а я знал только, что до работы должно быть не очень далеко, и еще, что я сразу пойму: вот оно, когда увижу.

А потом позвонила одна из риелторов, сказала, что есть дом, только-только выставлен на продажу, она сама его не видела, но покупка может быть выгодная, хотя ей и говорили, что дом не в очень хорошем состоянии. Я поехал туда один, просто неудобно уже было тратить ее время впустую. Сначала не мог найти, где это, ездил туда-сюда мимо проселка, потому что у него был такой вид, как будто он вообще никуда не ведет, но потом сдался и свернул. Пару раз ударился днищем о дорогу, попрыгал на ухабах, изозлился весь, а потом вдруг раз — вот оно. Выехал из-за поворота и увидел. И наплевать, сколько он стоит, сколько труда в него нужно вложить, что нужно будет делать. Самый потрясающий момент за всю мою жизнь. Ну, не считая рождения мальчишек, но там совсем другое. Это было — мое. Касалось только меня. И все так неожиданно, я был почти в шоке. С мальчишками все было правильно, и здесь тоже, только совсем по-другому.

Айла подумала о рождении собственных детей: да, волшебство. Шок и потрясение, в самом деле.

Было столько поводов для опасений с этим все еще незнакомым мужчиной, рассказывавшим такую аккуратную историю: умершая жена, которая, наверное, со временем будет становиться все лучше и лучше; теплая привязанность к детям, о которой сама Айла знала не понаслышке; даже его восприимчивость к райским уголкам. Айла гадала, зачем он ее сюда привез, по какой причине она с ним сюда поехала.

— Вот, теперь ты здесь, — сказал он тогда. — И это тоже правильно.

Так и было. И как же ей хочется туда. Не нужно было уезжать, не нужно было спускаться с веранды, залезать в грузовик, ехать за мороженым. И они были бы в безопасности.

Вместо этого она здесь; а вот и он, вернулся в эту странную матово-белую комнату. Садится возле еще одной больничной кровати, заботливо склоняется над еще одной женой, черты его лица заострились, складки, идущие от крыльев носа вниз, кажутся глубже, чем обычно. Он, этот мужчина, к которому Айла придвигалась все ближе и ближе, пока наконец не сдалась, не поддалась, не уверовала, выглядит усталым, почти старым. Бог знает, как выглядит она сама.

— Зеркало, — говорит она.

Он явно встревожен:

— Нет-нет, не сейчас. Ты пока еще не в форме.

Не в форме, то есть не такая, как всегда, на себя не похожая. И страшная.

Он не понимает, что ей не просто хочется увидеть свое лицо, ей нужно убедиться, что у нее все еще есть лицо, что она сама еще есть.

— Зеркало, — повторяет она.

Он вздыхает, встает и уходит из поля ее зрения. Через несколько секунд он снова рядом с ней, прижимает к груди скрещенными руками круглое зеркало в зеленой пластмассовой раме.

— Слушай, — говорит он, — тебе, наверное, все покажется хуже, чем кому-либо. Слишком мало времени прошло, ты еще отекшая и в ссадинах. Отчасти из-за этих трубок. Ты не расстраивайся, ладно? Ты поправишься.

Если бы она могла, махнула бы рукой в нетерпении. Он вздыхает и подходит ближе, переворачивает зеркало, подносит его прямо к ее лицу.

Ох. Он должен был ее предупредить. Кто-нибудь должен был сказать.

Страшилище. Серая кожа, только возле ноздрей ссадины. Трубки, мерзкого желтоватого цвета, распирают ноздри над соединительной пластиковой перемычкой. Глаза, ее большие голубые

глаза, сузились до щелочек в распухших, как подушки, почерневших веках. Кожа туго натянута на щеках, на подбородке, на желваках — у нее есть желваки! — как будто сейчас лопнет. Ее кудрявые, стриженые рыжие волосы, седые у корней, что под этим углом особенно заметно, спутаны и грязны. И все это зажато металлической изогнутой рамкой, под которую подложены салфетки. Теперь понятно, почему у нее не поворачивается голова и почему ей приходится смотреть прямо в это зеркало или скашивать глаза как можно дальше в сторону.

Боже. И на этот кошмар смотрит Лайл. Сколько уже? Если бы можно было сделать одно, только одно, она бы закрыла лицо руками.

— Рассказывай, — говорит она и видит, как Лайл на мгновение поджимает губы, с трудом втягивая воздух.

Ей немного легче оттого, что она видит и слышит даже такие мелочи невероятно четко, она спрашивает себя, не может ли это быть своего рода компенсацией за то, что она утратила, до чего никак не доберется. А если и доберется, и даже потрогает — все равно не почувствует.

Где сейчас ее руки? Чем они заняты? Руки Лайла где-то там, внизу, наверное там же, где

должны быть и ее руки, которыми ей хотелось бы держаться за умные, умелые руки Лайла. В суде, когда должны были зачитать приговор Джейми, руки Лайла были самой сильной, самой утешительной, основательной и надежной плотью и костью в мире. Она тогда подумала: как бы ей удалось все это вынести, не поддерживай ее его рука, и что вообще поддерживало ее, пока этой руки не было рядом. Она уцепилась за нее, как он потом сказал, мертвой хваткой. Может быть, сейчас он так же вцепился в ее руку.

Она не только жутко выглядит, от нее как будто осталась одна голова. Как в старом фильме ужасов: лаборатория сумасшедшего растрепанного ученого, лишенная тела голова в банке, противостояние между гордым, но испуганным ученым и яростно работающим, разгневанным мозгом. Ученый — жертва своего кощунственного стремления быть творцом. Голова, полагающаяся на остроту ума и безжалостность, тоже жертва этого кощунственного стремления. Победителей нет. Всех губит избыток самомнения, все слишком далеко заходят.

А они всего лишь ехали за мороженым, совсем не далеко.

— Рассказывай!

Потому что страх не уменьшается оттого, что не знаешь, чем он вызван.

Позвоночник. Операция. Пуля.

Когда они ссорились, Джеймс обычно смотрел на нее, сузив глаза, поджав губы и говорил угрожающе-тихим голосом:

«Не спрашивай, если не готова услышать ответ».

Потом стало ясно, что он имел в виду. Айла сказала бы, что есть такие вопросы, к ответу на которые невозможно быть готовым, но, как с зеркалом, нет и выбора — спрашивать или нет. И еще она думает, что ее взгляд на вещи всегда был сложнее и интереснее, чем у Джеймса, который, к сожалению, мыслил довольно примитивно.

— Ты что-нибудь помнишь?

Голос у Лайла тихий, немножко дрожащий, намеренно нежный. Ну да, конечно, он ведь не может знать, что она помнит, а что нет. Он не представляет, где начинается и где заканчивается провал, и с чего начать его заполнение. Забавно, она решила, что он знает. Забавно, что ей казалось, будто он так все понимает.

Может быть, сейчас ему больше всего хочется выбежать из комнаты. Или разозлиться, или заплакать. Во всяком случае, ему не хочется си-

деть здесь и смотреть на нее, казаться старым и говорить то, что она совсем не хочет слышать, но должна выслушать.

— Прости, — говорит она, имея в виду сразу все: что заставляет, отнимает его силы, время, рассчитывает на его заботу, что выглядит жутко, что стала обузой, что пока не понимает почему и что ей приходится ждать от него объяснений. Даже на это, на объяснение, он дал согласие, когда женился на ней.

Любовь сама по себе не подразумевает такой ответственности. Брак — да. Лайл и Айла связаны, соединены, необязательно навсегда, но так, что в подобных случаях этот союз, несомненно, должен действовать. Точно так же Джейми и даже Аликс, которые неотделимы навсегда, просто не могут не приехать.

— Холестерин, — выговаривает она, хотя слово произносится как-то наоборот. — Мороженое.

Даже это звучит невнятно.

— Да? Только это и помнишь?

Он снова тихо вздыхает.

Если бы на шоссе в его артериях случилась дорожная пробка, она бы вздыхала? Может быть, ей даже показалось бы, что она загнана в угол, обречена, потому что он во всем должен полагаться

на нее и ее добрую волю? Сейчас она не может на него смотреть. Вдруг на его лице именно такое отчаяние?

— Доктор Грант сказал, что у тебя могут быть провалы в памяти, — говорит Лайл. — Он говорит, так часто бывает в шоковом состоянии. То есть, когда выходят из шока, ты сейчас не в шоке, конечно. Сначала провал, а потом можешь внезапно все вспомнить.

— Что еще?

— Что он еще говорит?

— Да. Что будет. Со мной.

Слова ее выматывают, она лишается сил.

— Ну, в общем, ничего. Пока ничего. Они хотят подождать, сделать еще сканирование, анализы, посмотреть, как все пойдет. Они считают, что он может сам выйти, это было бы лучше всего. Если непохоже будет, что выйдет, если анализы что-то такое покажут, будут оперировать. Операции, скорее всего, в любом случае не избежать, даже если он выйдет, тогда всего лишь будет не так сложно. Хорошо, что ты здорова. Ну, то есть, здорова… ты понимаешь. Что ты достаточно сильная. В общем, они посмотрят. Увидим. Тут хорошие врачи, и прогноз они дают благоприятный. Говорят, шансы очень велики.

Почему она раньше не замечала, что он опускает главное слово почти в каждом предложении, или это появилось только что, эта уклончивость и умолчание, как реакция на то, что случилось? Что за «он», кусок пули, что ли, о котором говорил врач? И что за «прогноз», о каких «шансах» идет речь? Она подбирает слово, которое сможет произнести, и говорит:

— Туманно.

Лайл кивает:

— Какое-то время так и должно быть. Они не любят выражаться определенно. Наверное, слишком много судебных исков или предупреждений от юристов вроде меня, что существует ответственность за сказанное. Но мы с тобой оба знаем, что это не навсегда и ты, конечно, будешь двигаться и ходить. Очень скоро. Это просто сбой, но мы с ним справимся, и ты не успеешь опомниться, как все снова будет, как всегда.

Она перестает его слушать после «навсегда», когда он доходит до «двигаться и ходить». Хотя «мы» она слышит и благодарна за это.

В его нарочитом оптимизме слышна не только недоговоренность, но и угроза. На него нельзя полагаться, что от Лайла уже само по себе воспринимается как удар.

— Рассказывай, — снова говорит она. — Сейчас же.

Она требует, и он склоняет голову и еще раз глубоко вздыхает.

Странное, далекое небо

Когда Родди привезли в этот город, к бабушке, он ревел и брыкался. Это было десять лет назад. Сейчас, когда он лежит на спине в высокой пшенице и на него смотрят две настороженные собаки и тысячи звезд, он оглушен и растерян оттого, что не сможет вернуться домой.

До него слишком медленно доходит. У него беда с чувством ритма, он вечно отстает на такт или два. Поэтому и сегодня все так вышло.

Некоторые из самых важных, хотя и не всегда лучших моментов своей жизни он провел именно так: лежа на спине, очень тихо, глядя вверх.

Именно так, когда ему было семь, он провел первую ночь в бабушкином доме, куда они с отцом перебрались так надолго. Он никогда не капризничал, но в тот день, когда они переехали, когда загруженная машина отца, в которой уместилось все, что они оставили себе, шла перед маленьким грузовичком, Родди ревел всю дорогу. Когда они въехали в город, он стал отчаянно брыкаться. Когда остановились у серого оштукатуренного бабушкиного дома, он вцепился в

руль, потом в дверь, и отец сурово выволок его из машины. Он даже лягнул бабушку, которая крепко обхватила его руками.

Когда они трое наконец поужинали, он окончательно выдохся. Его отправили в его новую комнату под самой крышей, а бабушка с отцом взялись расставлять внизу вещи, которые они с отцом привезли с собой. Бабушка зажгла у постели Родди голубой каплевидный ночник, и в его слабом отраженном свете потолок казался каким-то странным, далеким небом.

Он был очень зол. Из-за того, что его вырвали из привычной обстановки, но еще из-за того, что мама, если она вернется в их маленький домик в городе, не сможет их найти.

Как-то утром мама была дома, она обняла и шлепнула Родди, уходившего в школу, на прощание, а когда он вернулся, входная дверь была не заперта, он вошел, но дома никого не было. Ну, иногда ее не бывало дома, так что пару часов ничего странного в этом не было, хотя обычно она предупреждала, что уйдет, может быть, в кино, или, как она говорила, побродить.

Обычно папа уходил утром и возвращался поздно вечером, ужинал, включал телевизор, а немногим позже Родди шел спать. Иногда он

хлопал Родди по плечу или ерошил его волосы, называл его «приятель», и, если Родди что-то было нужно или ему хотелось чего-то, отец делал все так, как хотел Родди. Как-то он принес Родди первый двухколесный велосипед, хотя потом и не помогал ему учиться на нем кататься. Этим занималась мама, бегавшая вдоль тротуара и придерживавшая седло, чтобы он хоть как-то сохранял равновесие. С ней было весело. Однажды она поставила на их крошечном заднем дворе маленькую палатку, чтобы они с Родди могли устроить себе бивак, и они сидели там допоздна, она рассказывала страшные истории и показывала на холщовой стене театр теней, по-всякому складывая пальцы. В парке она взвизгивала и хохотала даже громче его, когда толкала его на качелях так высоко, как только было можно, куда выше, чем он сам смог бы раскачаться.

Но иногда она бывала грустной и уставшей и не вставала с постели или с дивана по нескольку дней.

— Прости, заинька, — говорила она. — Я сегодня сама не своя.

Только если она временами не своя, а чья-то еще, это ведь все равно она, разве нет? Это было не очень понятно, зато надежно: он знал, что ма-

ма или такая, или такая. Иногда, когда он бывал у друзей, ему казалось, что взрослые — ненадежный народ, потому что если они улыбались или разговаривали строго, казалось, что все это неправда. Как будто они в масках, как на Хэллоуин. Мама была совсем не такая.

Случалось, что она доставала отца до тех пор, пока они не шли куда-нибудь, в кино или на танцы, хотя отец обычно не хотел никуда идти. Когда они куда-нибудь собирались, у мамы всегда начинали блестеть глаза. Она казалась счастливой.

В тот день она так и не вернулась до возвращения папы, а папа не был удивлен, он принес пиццу и стал выкладывать ее на две тарелки — это тоже было странно. Он положил руку Родди на плечо и сказал:

— Идем в гостиную, сынок, я должен тебе кое-что сказать.

Родди был тощий, все говорили, что он похож на маму, она была маленькая и худенькая, и волосы у нее были почти такие же короткие, как у него, только кудрявее. В гостиной он присел на край дивана, как в те дни, когда она лежала там, укрывшись одеялом, просто смотрела телевизор или спала, в те дни, когда она не носилась по дому, ища, чем заняться.

— Я не знаю, понимаешь ты или нет, — наконец начал папа, — но с мамой не все в порядке. Ты ведь замечал, она иногда радостная, а иногда — нет?

Родди кивнул.

— Ну вот. — Папа наклонился вперед, уперся локтями в колени, свободно свесив большие ладони.

Что — вот? Папа даже не смотрел на Родди, он уставился куда-то в угол, а может быть, на экран выключенного телевизора.

— Ну так вот, оказывается, это у нее такая болезнь. Иногда ей так хорошо, как мало кому бывает, но так плохо, как ей, точно бывает немногим. Ей тяжело, когда то так, то эдак. Нам всем тяжело.

Родди покачал головой, ему не тяжело.

— В общем, сегодня день случился особенно тяжелый, и она решила что-нибудь с собой сделать, так ей было плохо. И сейчас она в больнице. Точнее, она была в двух больницах. Сначала в той, где занимались ее руками, она потеряла много крови. А потом ее увезли в другую больницу, там ее будут лечить, чтобы она больше ничего с собой не сделала. Вот, видишь, как все вышло.

Нет. Родди смотрел изо всех сил, но ничего не

видел.

Для начала, откуда папа все это знает? Он же целый день был на работе.

— Она мне позвонила, — сказал отец, как будто услышал, о чем Родди думает. — Я вызвал «скорую» и приехал в ту, первую больницу. Знаешь, это хорошо, что она позвонила. Значит, она не хотела, ну, не хотела сделать с собой что-то совсем плохое. И не хотела, чтобы ты испугался, когда придешь из школы. Потому что ей сегодня было очень плохо, но она подумала о тебе, это хороший признак.

Родди сполз с дивана и встал перед отцом:

— Давай к ней съездим.

Отец покачал головой:

— Боюсь, не получится. В больнице сказали, что нельзя. И потом, ей нехорошо.

— Ее забинтовали?

— Да, но немного. Только руки.

Она нарочно поранилась? Нарочно сделала, чтобы пошла кровь? Если Родди обдирал коленки или у него шла носом кровь, мама морщилась, когда возилась с антисептиком и пластырем, или запрокидывала ему голову и заворачивала лед в полотенце. Она боялась крови. Зачем она себя поранила? Он нахмурился. Может, папа соврал?

Может, выдумал всю эту историю, чтобы скрыть что-то еще, что-то похуже?

— Я хочу к маме.

— Я знаю, сынок. — Папа вздохнул. — Но нельзя. Как ни жаль, нельзя.

Лицо у него было печальное. Не как у мамы, когда она застывала, как мертвая, а как будто он сейчас заплачет. А потом он посмотрел на Родди, сделал другое лицо и сказал совсем новым, громким голосом:

— Так что остались мы с тобой вести холостую жизнь, можем делать что захотим. Чем займемся? Можем пойти в боулинг или в кино, выбирай. Или нажарим попкорна и будем смотреть телевизор до ночи. Что скажешь?

Родди сказал бы, если бы решился: «Почему ты не ходил в кино или еще куда-нибудь, с мамой, когда ей хотелось?»

Он пожал плечами.

— Без разницы. Мама когда вернется, завтра?

— Завтра — нет. Не знаю. Там будет видно.

«Там будет видно» ничего хорошего не предвещало.

А на следующий день вместо мамы объявилась бабушка с парой чемоданов. Она жила довольно близко, в маленьком городке неподалеку, и Родди

она нравилась, хотя он с ней, в общем, не так много общался. Она все время обнимала Родди. Когда они смотрели телевизор, она обнимала его и прижимала к себе, к своему мягкому, как подушка, боку, и они так и сидели рядом. Но время шло, и она не часто говорила с ним о маме, и его к маме все еще не пускали.

— Я знаю, что ты по ней скучаешь, милый, — сказала бабушка. — Но ей так нехорошо, что к ней нельзя.

Он не мог понять, что значит *нехорошо.* Ее что, тошнит? Он все пытался придумать, как еще спросить об этом. Может быть, он просто не теми словами спрашивает, поэтому никто и не может правильно ответить.

— Нет, милый, ее не тошнит, наверное, ее быстрее вылечили бы, если бы ей было нехорошо из-за этого. Ей по-другому нехорошо, что-то в голове, а это труднее лечить.

— Она умрет?

Первый раз ему пришлось собрать все силы, чтобы задать этот вопрос, но потом стало проще, потому что ответ был один и тот же, хороший:

— Нет, от этого не умирают, не бойся.

— Это заразно?

Вроде кори или свинки, тогда понятно, почему

к ней нельзя. Когда кто-то болеет тем, чем можно заразиться, к нему нельзя, можно только тем, кто за ним ухаживает. Кто ухаживает за мамой? Ей должно быть страшно, если это кто-то чужой.

— Нет, и заразиться тоже нельзя. Нет, Родди, все дело в том, что она иногда слишком радостная, а потом делается слишком грустная. Ты же сам знаешь, я знаю, что знаешь. Но вылечить это трудно, потому что врачи в этом не так хорошо разбираются, как в болезнях тела.

Разве мама не обрадуется, если его увидит?

Разве она по нему не скучает?

— Куда делась твоя мама? — спрашивали его в школе.

— Она в больнице. Болеет.

Это производило впечатление, к нему стали лучше относиться. И учителя тоже, никто не раздражался, когда он не мог решить задачу или начинал запинаться, читая вслух. Это ему даже нравилось, и он старался не выглядеть напуганным.

Из ящика буфета в столовой, где хранились фотографии, он утащил пару снимков: на одном они были с мамой в парке, на другом — с мамой и папой на фоне рождественской елки. Он прятал их под свитером, пока не смог унести наверх и

засунуть под матрас. Потом он мог их вынимать и рассматривать сколько угодно, убедившись, что папа и бабушка внизу. Он не смог бы объяснить, почему никто не должен знать, что они у него, но так было нужно. Он все смотрел и смотрел на ее лицо. На обеих фотографиях она смеялась, рот у нее был чуть не в пол-лица. Не потому ли он утащил фотографии, что боялся забыть, как она выглядит. Хотелось верить, что нет.

— А папа к ней ездит? — спрашивал он. — Она хочет, чтобы я пришел?

Он был совершенно уверен, что в ответ услышит «да» и «да, конечно», так и получилось.

— Папа был у нее два раза, — сказала бабушка, — но ей пока слишком плохо, говорят, лучше пока ее не тревожить. А тебя она, конечно, хочет повидать, она по тебе очень скучает, но пока она не готова к тому, чтобы к ней приходили.

Кто это, интересно, говорит? Какие-то люди, которых он даже не знал, могли говорить, что делать не только ему или маме, но и папе тоже. Наверное, какие-то важные и серьезные люди. Но раз он их не знал, откуда он мог знать, хорошие они или нет, и есть ли им вообще до нее дело, и не делают ли они с ней что-нибудь нехорошее? Вот как по телевизору важные люди делают

что-нибудь плохое с другими людьми, без всякой причины.

— Она когда-нибудь вернется домой? — спросил он в отчаянии. Он уже не думал про *завтра*, ему просто хотелось знать, что придет день, когда она появится с чемоданом в руке, потому что всегда нужна куча вещей, когда так надолго уезжаешь, и она засмеется на пороге, обнимет его, и рот у нее будет чуть не в пол-лица.

— Все очень стараются, чтобы она вернулась. Пробуют всякие новые лекарства, так что просто нужно подождать и посмотреть, что получится.

Этого он не ожидал. Он бы и спрашивать не стал, если бы думал, что ответ будет такой расплывчатый.

Как-то он пришел из школы и увидел перед домом объявление: «Продается». Отец сказал:

— Родди, мы решили, что пора кое-что изменить.

Бабушка обняла его и сказала:

— Помнишь Бастера? Я его, бедного, так надолго оставила с соседями, а он так будет рад тебя видеть. — И еще она сказала: — Возьми с собой все, что хочешь. Все, что тебе нужно, чтобы быть как дома.

Дело было в деньгах, так сказал папа. Он решил

продать дом и еще кучу всяких вещей, потому что приходили новые счета, которых он не ожидал, и по закладной не все было выплачено.

— Что такое закладная? — спросил тогда Родди.

Потом он еще спрашивал: «А почему бабушка не может продать свой дом и переехать к нам?» и «А как же мама? Вдруг она приедет, а нас нет?». Тупо, отчетливо, беспомощно и бессмысленно повторял снова и снова: «Я не хочу ехать», или «Я не поеду», или «Вы меня не заставите». Но они, конечно, заставили.

Когда он ревел и брыкался в тот день, ему было хорошо. Это было как-то очень правильно и по делу, если бы мама так себя вела, ей сразу стало бы веселее. Бабушка прижала его к себе и так и держала, хотя он лягался и вырывался на свободу.

— Не волнуйся, — сказала она отцу. — Ничего со мной не случится. Конечно, он расстроен, а ты как думал? Лучше его оставить пока в покое.

Отец затащил в дом коробки, лампы, несколько стульев и все такое и сложил все в маленькой бабушкиной прихожей. Бабушка принесла ему пива и сказала:

— Оставь все как есть. Я понимаю, тебе сейчас нелегко, но я так рада, что снова дома.

Чуть позже из кухни донесся запах чего-то вкусного. Они поужинали, а потом Родди пошел спать в свою новую комнату под крышей, слабо освещенную голубым ночником, бросавшим отсвет на потолок. Он лежал в новой постели и злился, а потом, наверное, уснул.

На следующий день у него появились два настоящих, лучших в его жизни друга: Бастер, который его разбудил, вспрыгнув на кровать, и Майк, пришедший в гости с мамой.

А в остальном — городок был небольшой, и все всё знали. И почему они с отцом переехали к бабушке, тоже знали. Поэтому когда он пошел в школу, все было не так, как на прежнем месте. Ну, на него косились, как на психа, как будто он сейчас выкинет что-нибудь. Один наглый парень из четвертого класса подошел к нему в первый день, ткнул пальцем ему в грудь и сказал:

— Мамаша твоя — психованная. И ты небось тоже псих.

Малышня начала распевать: «Псих, псих, у него мамаша псих!» — и бегать вокруг Родди, дотрагиваясь до него на бегу и с визгом отдергивая руки, вроде как он такой страшный, а они такие смелые.

Повести себя можно было по-разному. Он

сделал так: сгреб этого, из четвертого класса, который стоял и смотрел на то, что заварил, и врезал ему. Метил в нос — и не промазал. Хлынула кровь, и хоровод замер. Потом раздался визг, и все замолчали.

Родди выгнали из школы на два дня. В первый же день выгнали.

— Нечего связываться со всякой мразью, — посоветовал отец.

Родди и сам так думал. Бабушка просто переживала. После того случая он научился ходить вразвалочку, широко расставляя ноги и прищурившись. Это вроде бы сработало. Никто к нему особо не приставал. Да и потом был еще Майк, и то, что они были вместе, здорово помогало.

Они с Майком почти все время были вместе, просто шатались по городу и здесь, по округе. Иногда, устав, бросали велосипеды в канаве, уходили в поле и валялись на земле, закинув руки за голову, обсуждали всякие планы и события, смотрели в небо.

Было здорово. Родди часто приходил сюда и один. Майку некоторые вещи не так интересны, как Родди. Например, пчелы, куда они летят и зачем, или улитка, ползущая по руке, или муравей, волочащий какого-нибудь жука, больше его

самого, в муравейник, чтобы весь муравейник его ел. На это он мог смотреть часами. Потому что вблизи эти существа были совсем не противные и не страшные. Они были удивительные. Усики и мохнатые ножки шевелились, темные фасетчатые глаза высматривали опасность и добычу. У одного было кроваво-красное брюшко, другой был зеленый с радужным отливом. Лучше всего были те, которые со временем менялись и становились кем-то совершенно другим. У кого-нибудь, кто бегал или ползал, появлялись крылья. Хвосты отваливались. Шкурки меняли цвет. Отмершие части беспокойно шелестели, встревоженные последним мгновением жизни.

Дома он бритвенным лезвием вырезал картинки с крохотными многоногими и усатыми тварями в панцирях, с членистыми телами, из библиотечных книжек, осторожно-осторожно, чтобы никто не заметил пропажу. А еще из тех книжек, которые они с Майком крали в магазинах. Ему нравится его комната под крышей, с покатым потолком, о который можно удариться головой, если резко сесть в постели. Те блестящие фотографии из книжек он развесил низко на стенах. Из некоторых получились целые истории о том, как самые интересные существа превра-

щались из ползающих в крылатых.

Отец говорил, что это гадость. Майк сказал: «Жуть». Но это потому, что фотографии были с большим увеличением. Бабушка сказала, что хорошо, что Родди всем этим интересуется, может, будет биологом или еще каким-нибудь ученым.

Ему нравился маленький серый письменный стол, за которым он делал уроки, бабушка говорила, что он еще дедушкин, и настольная лампа на гибкой ноге тоже нравилась. Когда он перестал злиться, бабушка сказала:

— Это все — твое, Родди. Делай с комнатой что хочешь.

Это было здорово, и пару лет назад он взял и перекрасит стены в черный цвет, и она ничего не сказала. Он решил, что так фотографии будут лучше смотреться, и потом ему показалось, что будет классно, как будто все время ночь. Бабушка промолчала и тогда, когда он увидел, что комната получилась жуткая и страшно унылая, и попробовал перекрасить все в желтый, а получилась грязь и разводы.

Бедная бабушка. Она и не думала, что к ней переедет ее сын со своим сыном и придется присматривать за ними, как будто никто не вырастал и не уезжал. Папа не слишком разговорчив, даже

с ней. Правда, у них с Родди по-прежнему есть что-то вроде своего языка. Проходя мимо, он похлопывает Родди по плечу или проводит рукой по его макушке. Или еще, они смотрят хоккей, и когда бывает удачный пас или гол, он кричит: «Ай, хорошо!» — и они с Родди переглядываются и улыбаются. Родди так понимает, что в душе они в этот момент пожимают друг другу руки и хлопают друг друга по спине.

Слова, в общем, не так и важны. Бабушка говорит, важно, что человек делает. Папа работает и смотрит хоккей, бабушка печет и говорит Родди, чтобы он ел, а то вон какой тощий, и никому из них нельзя полностью доверять. А мама свалила. Серьезно, совсем свалила.

Когда Родди было четырнадцать, летом, они ему в конце концов рассказали.

— Ты уже взрослый, — сказал отец.

Может, бабушка настояла. Родди ее по-прежнему иногда доставал, все думал, что может найти мать, потому что, когда он думал о ней или вытаскивал те старые фотографии, ему казалось, что ее должно беспокоить, что с ним случилось, а может, она даже ищет его и ей плохо. По ночам, когда свет нигде не горел и он мог лежать в постели, глядя на верхушку дерева, растущего перед

бабушкиным домом, он иногда представлял себе, как мама бродит по темным улицам, заглядывает в окна, останавливает прохожих, разыскивая своего сына. Он даже иногда немножко плакал, когда думал об этом.

И еще он хотел ей что-то сказать, что-то, что ее, может быть, спасет, хотя уже не помнил толком, что именно, и какая она, тоже уже не помнил, если не считать тех двух улыбающихся фотографий. И все-таки, даже если она изменилась так же сильно, как он сам и как папа, он бы ее узнал, когда увидел. А она его узнала бы? Было бы это в кино, узнала бы.

Как бы то ни было, ничего этого не произошло. Вместо этого как-то после ужина отец сказал:

— Ты уже взрослый. — И они с бабушкой уставились на него, как будто прикидывали, так ли это на самом деле.

В городе, где они раньше жили, был один мост. То есть там было много мостов, над рекой и железной дорогой, но этот был над скоростным шоссе, а не над чем-нибудь мягким, вроде воды. И туда люди шли, когда точно знали, что хотят умереть.

Мать Родди знала точно.

Больше чем за год до того, как они ему рассказали, она уже точно знала.

— Прости, сынок, — сказал папа.

— Родди, бедный ты мой, — сказала бабушка.

— Никто, — продолжал отец, хотя Родди уже не так ясно слышал, у него в голове крутились всякие слова и образы. — Никто не виноват. То ли они нужное лекарство не нашли, то ли она его не всегда принимала, и, наверное, ей было слишком плохо, она так больше не могла. Там что-то в организме меняется, какие-то вещества.

— Все пошло наперекосяк, — добавила бабушка.

Родди снова думал, что это за непонятные люди, которые решают все за других, и пробуют с ними что-то делать, и в конце концов делают не то? Если он к ним когда-нибудь попадет, остается надеяться, что ему повезет больше, чем матери.

— А почему, — спросил он, — вы ничего не сказали?

Отец опустил голову и смотрел на свои руки, лежащие на столе.

— Мы тогда думали, что не надо. Мы хотели, чтобы ты доучился спокойно, но теперь, я уже говорил, ты достаточно взрослый. Перешел в старший класс, уже можешь понять.

— Я понимаю, Родди, это тяжело, — сказала бабушка. — Твоя мама была чудесная, необык-

новенная женщина, и она так тебя любила, ты даже не представляешь как. Когда ты родился, она все время брала тебя за ручку и показывала всем, какие у тебя замечательные пальчики. Она считала, что ты лучше всех. Да ты и был лучше всех. А она была очень хорошей мамой. Ты же помнишь, как она тебя любила. А с тем, что случилось, она просто не справилась. Она так старалась ради тебя и папы и так мучилась, когда ей становилось хуже. Я помню, она говорила, что, когда ей делалось плохо, ей казалось, что ей на голову натягивают черный мешок и она не может его стряхнуть. Я хочу сказать, она бы все отдала, если бы могла по-прежнему быть с тобой, и она очень старалась. Понимаешь?

Нет.

— Да, — сказал он. И потом: — Что, и похороны были?

Отцу явно было не по себе.

— Да, были.

— Ты там был?

— Да.

— А ты? — повернувшись к бабушке.

— Да. Мало кто ее помнил и пришел, но мы с папой были.

— А я где был?

— В школе.

Значит, был обычный день. И тайком от него, ничего не сказав, папа и бабушка ушли на похороны его матери. Это было чуть ли не хуже всего, то, что они могли так поступить, утаить это, так все сделать, что он даже не догадался, что произошло что-то важное. Родди встал и сказал:

— Ладно.

Он ушел к себе в комнату, лег на кровать и лежал на спине, очень тихо. В ту ночь он не то чтобы злился, он не знал, как это называется.

Правда, он знал, как это выглядело. Он видел ее, маленькую фигурку в пальто, вдалеке, медленно-медленно идущую в темноте. Видел высокий мост, на котором никого не было ночью. Внизу, на шоссе, оживленном в любое время, днем или ночью, сверкали фары, машина за машиной. Снизу слышался шум моторов и визг покрышек.

Он увидел, как она прислонилась к железной конструкции на краю моста, слушая шум, глядя, как проносятся внизу огни. Наверное, она думала — о чем?

О том, что все эти огни что-то значат, что люди едут куда-то, торопятся туда, где их ждут, с теми или к тем, кто им нужен. Может быть, она думала об этом. Стоя на мосту, там, наверху, в темноте,

совсем одна.

Может быть, она скучала по сыну. Он подумал и об этом, хотя понимал, что могло быть и так, что о сыне она думала меньше всего на свете. Может быть, она совсем про него забыла. Но на сердце у нее точно было тяжело. Может быть, так тяжело, что она едва смогла вскарабкаться на железное ограждение моста. Может быть, так тяжело, что она думала, что оно сразу разобьется, когда она ударится о землю. Может быть, она так и хотела.

Он увидел, как она падает, как кукла, как манекен, как каскадер, который зарабатывает трюками на жизнь. Но что было у нее на сердце, он представить не мог. Он гадал, какой была ее последняя мысль, когда она падала. Может быть: «Нет». Может быть: «Наконец-то».

Сейчас, лежа на спине в высокой пшенице, глядя на темнеющее небо, усыпанное звездами, и на серьезные, внимательные морды немецких овчарок, которые совсем не выглядят злыми, слушая шаги, приближающиеся сквозь потревоженную, шуршащую траву и осторожно переговаривающиеся мужские голоса, Родди думает: «Нет».

Он сделал все, что мог. Пусть ничего не вышло, и этого было не избежать, он сделал все, что только смог.

«Все, что можно сделать — это стараться изо всех сил», — всегда говорит бабушка, хотя ничего подобного она не имела в виду.

И поэтому еще он думает: «Наконец-то».

А вообще, смешно. Родди считает, что все это — то, что он лежит здесь, и на него смотрят две собаки и тысячи звезд, и вокруг, наверное, копошится миллион всяких насекомых и невидимых тварей, — все это всерьез. Он думает, что это — очень важный момент, остановка между тем, что было, и чем-то еще, что будет дальше, совсем по-другому. И вот что смешно, чего он не ожидал: ему вдруг становится хорошо, ему нравится это остановившееся время. Он чувствует себя невесомым и свободным, как в космосе.

А еще ему больше не холодно.

Удивительно, как ему спокойно сейчас. Он всем доволен. Это так непривычно и здорово, хорошо бы оно так и осталось, навсегда. Он вздыхает, улыбается, глядя вверх, и в эту секунду он почти счастлив.

Сколько угодно времени

Лайл нехотя начинает рассказывать, и Айла наконец понемногу извлекает из памяти то, что произошло. Хотя то, что она вспоминает, и не совсем совпадает с рассказом Лайла.

«Прыгай в машину», — говорит Лайл, и Айла прыгает. Его пальцы исполняют коротенький номер на ее бедре, «подбираются к музыке», как он это называет. Ей по-прежнему нравится залезать в его старый, видавший виды пикап, такой большой, высокий, крепкий — настоящая рабочая машина для рабочего человека. Рытвины и ухабы проселка на грузовике с жесткой подвеской куда легче одолеть, чем на их машинах, хотя тех, кто сидит в кабине, швыряет из стороны в сторону. Айла чувствует себя в грузовике совсем крохотной, сидя на широком сиденье и не доставая до пола ногами, — как будто она снова ребенок, вернулась в детство; хотя и не в свое детство.

Проселок упирается в оживленное шоссе, иногда приходится долго ждать, прежде чем выехать на него. Удивительно, эта стремительная жизнь идет так близко от их дома и вместе с тем так

далека от него. К ним приезжают гости, и даже те, кто бывал здесь прежде, рано или поздно замечают с изумлением:

«Никогда бы не подумал, что здесь может быть такое. Как будто совершенно другой мир».

Так и есть. Но до ближайшего городка все равно всего ничего, а если потом выбраться на скоростное шоссе и долго ехать, будет город, и работа, и еще один совершенно другой мир.

Они выезжают с проселка на шоссе, и остается восемь минут до городка, окраина которого, потихоньку ползущая в их сторону, начинается с автостоянок и магазинов, потом идут несколько улиц, застроенных деревянными, оштукатуренными и обитыми алюминием домиками, некоторые совсем разваливаются, другие выглядят аккуратно и чистенько. Старый центр города, деловой и жилой, выстроен из кирпича, там все основательно и, судя по всему, неизменно, по крайней мере внешне. Магазины переходят из рук в руки, дома тоже иногда меняют хозяев, то ли невыгодно, то ли денег не хватает поддерживать все в должном состоянии, создавать впечатление процветания и успеха. Но Лайл и Айла делают все, что от них зависит, покупают в местных магазинах все, что могут: продукты, инструменты,

гвозди и удобрения, с которыми возится Лайл. Они примерные граждане, не то что всякие приезжие, которые жалуются на перемены.

«Мы постоянно ездим в город, — говорит Лайл гостям. — Нам нетрудно».

Они стараются поддержать местный бизнес, поэтому, когда они собрались за мороженым, не было нужды обсуждать, куда ехать, — конечно, в «Кафе Голди».

Когда-то «Кафе Голди» было настоящее кафе-мороженое, и, судя по всему, несколько десятков лет назад к нему прилагалась настоящая Голди. Теперь там продавали сигареты, газеты, марки, кое-какие товары для дома и продукты. В общем, обычный магазинчик, если бы вдоль витрины не стояли по-прежнему холодильники для мороженого — старые, большие, со стеклянными крышками, тяжелые и приземистые. Кафе уже давно нет, но подросткам, заполняющим «Кафе Голди» по вечерам и выходным, по-прежнему накладывают простые, двойные, тройные порции из глубоких контейнеров с разными сортами, которых, согласно рекламному щиту, стоящему на тротуаре у кафе, тридцать четыре. Милые старомодные детали, рекламный щит и холодильники, хотя персонал теперь с пирсингом,

татуировками и волосами, выкрашенными в немыслимые цвета.

«Кафе Голди» сейчас принадлежит вдове по имени Дорин, ей примерно столько же лет, сколько Айле, но в остальном она на Айлу совсем не похожа. Она купила кафе, когда потеряла работу на оконной фабрике, на окраине города, противоположной от Лайла и Айлы, купила на деньги, полученные по страховке мужа, который умер от инфаркта, склонившись над бильярдным столом — или, как поговаривали, потянувшись хлопнуть официантку по заду, — в баре неподалеку.

«Я оказалась в подвешенном состоянии, — любит рассказывать Дорин, — не знала, что делать. А потом подумала: „Мороженое“». И это показалось решением проблемы. Проблемы Дорин это действительно решило, она превратилась из никому не известной работницы фабрики в городскую знаменитость: грубоватая, веселая тетка с острым языком, с каждым сезоном мороженого становившаяся все более заметной фигурой — не в смысле толщины, а в смысле известности.

Айле такое развитие событий кажется очень привлекательным, разве не здорово: тебя заметили, ты вдруг выросла в глазах окружающих, да и в собственных тоже! Держаться величественно у

Айлы получилось бы запросто, но ей, на ее взгляд, не хватает непомерной благожелательности, без которой не обойтись, всеобщей веры в ее добросердечие, на которой держится репутация Дорин.

Айла считает себя жителем города. Хотя, скорее всего, в городе ее воспринимают как приезжую, появившуюся еще позже Лайла, к которому она, по общему представлению, в общем, и прилагается. Когда они с Лайлом стали жить вместе, и к ним начали относиться серьезно, ее спрашивали, чем она занимается, она говорила, что работает в рекламном агентстве, и это не вызывало никакого интереса. Могло быть и хуже, она могла признаться, что она — совладелец и вице-президент рекламного агентства, теперь, наверное, в городе об этом уже все знали, но даже то, что она работает в рекламном агентстве, было так далеко от их жизни, что в глазах ее собеседников ничего не отражалось, они кивали, и разговор шел дальше.

Айла думает, и без всякой снисходительности, что именно так к этому и нужно относиться. Раньше она не всегда так думала, но сейчас все иначе.

Ей было интересно, она считала, что так даже

лучше: быть значительной в одном мире — по крайней мере, значительной в том смысле, что у нее в подчинении люди, и она разрабатывает смелые, дорогие проекты, — и быть здесь не то что никем, но кем-то, от кого ничего не зависит. Никто на нее не рассчитывает, разве что Лайл. Она, как ей кажется, всем нравится, во всяком случае, ей не выказывают неприязни, но если она исчезнет, никто не заметит.

Вот что она думает: если ее будут хоронить в городе, где она работает и где прожила большую часть жизни, придет много народу просто потому, что так положено, или из уважения, ей хочется думать, что многие ее искренне любят, а кого-то, кто до сих пор связывает ее с Джеймсом, приведет гнусное любопытство. Здесь все это мало кого заботит, а последнее так и вовсе никого. Здешние придут просто из абстрактного уважения к жизни и еще большего к смерти, не ради связей, о которых они, слава богу, не знают, и, в общем, не ради самой Айлы.

Она почти завидует Дорин, на чьи похороны придет искренне опечаленная толпа. Когда она упоминает об этом, Лайл говорит:

«Надо же, до чего мрачно ты иногда смотришь на вещи. Похороны!»

Иногда трудно объяснить образы и символы мужчине, тем более юристу, который все понимает в прямом смысле. Хотя, с другой стороны, его прямота для нее очень важна.

«Да нет, — говорит она. — Я о том, что похороны помогают все оценить. Подвести последний итог».

«Да, а ты обращала внимание, что те, кто подводит эти итоги, чаще всего говорят о самих себе? Можно подумать, чужая смерть — это только незначительное событие их собственной жизни».

Он прав. Но ведь она говорит о метафорических похоронах, а не о настоящих.

Как бы то ни было, разговаривая об этом, они благополучно добираются до города. Бывает так, что людям больше не о чем разговаривать? Еще как бывает. У них с Джеймсом так было. А еще бывало, что случалось всего так много и столько нужно было друг другу сказать, что слов уже не хватало. Но она не может представить, что им с Лайлом будет когда-нибудь не о чем поболтать за те примерно тридцать лет, что им остались. Вот почему речь зашла о мороженом и почему, наверное, она отвлеклась на мысли о подведении итогов и похоронах: они собирались отпраздно-

вать появление новой надежды на эти тридцать с чем-то лет. Сколько бесед, сколько планов, сколько мелочей!

«Беги, — говорит он, — я не буду выключать мотор. Если поторопимся и оно не растает, можем поесть у реки».

«Какое тебе? Да, и сколько шариков — один, два, три?»

Такого рода мелочи.

«Три, конечно. По-моему, я заслужил большую порцию. С шоколадной стружкой. А потом, если место останется, возьмем что-нибудь фруктовое. На десерт, в общем».

В общем. А в частности, ей, в синем льняном костюме, предстоит нести две порции мороженого, двойную и тройную, и ехать пару минут до реки на грузовике. Ну и ладно. Костюм можно отдать в чистку; мужа, во всяком случае хорошего, не заменишь.

А в частности, она входит в кафе во время ограбления.

И как только она видит, что происходит, делать что-либо уже поздно. Только вошла, помахала Лайлу, повернулась к прилавку, к холодильнику, и парень с ружьем уже поворачивается к ней, уже вздрагивает, и она уже может его узнать.

Айла открывает рот, возможно, хочет его, Родди, по имени назвать. Он пострижен почти налысо, светленький, рыжеватый, живет в одном из тех оштукатуренных, не слишком ухоженных домов, в паре кварталов отсюда. По выходным мотается по городу с дружками, без всякой цели, они пихают друг друга, громко переговариваются. Обычные подростки. С точки зрения Айлы, ничего из ряда вон выходящего они натворить не могут. Так она полагала до тех пор, пока расширенные глаза Родди не встретились с ее собственными испуганными глазами и не случилось ужасное.

Она поворачивается, хотя в этом нет никакого смысла. Его палец дергается на спусковом крючке, хотя и в этом смысла нет.

Она думает, как все в одночасье становится нереальным. Как будто это кино, а не ее жизнь. Ей интересно, что люди думали, когда случалось что-нибудь, во что невозможно поверить, до того, как придумали кино; с чем тогда сравнивали это состояние.

Чем им казалось это покадровое прокручивание событий, плавное и неуловимое перемещение тел в пространстве и времени до того, как стало возможным опознать в нем замедленную съемку?

У нее сколько угодно времени, чтобы подумать об этом, пока ее тело продолжает поворачиваться, правая нога чуть сдвигается к двери, бедра слегка отклоняются влево, ее тело понимает, что все происходит на самом деле и резко начинает действовать, включает самозащиту, само принимает молниеносное решение бежать; в это время подбородок Родди вздергивается, глаза расширяются — какие же у него длинные ресницы при неказистой в общем-то внешности, — его спина выпрямляется, плечи разворачиваются, колени слегка сгибаются, он как будто чуть приседает, перенося вес на мыски, руки вытягиваются вперед и вверх, и неожиданное жесткое оцепенение страха делает его больше и выразительнее, делает его кем-то новым, огромным и чужим, едва похожим на подростка со слабыми костями и слабым характером, кем-то мгновенно и удивительно сформировавшимся.

Любое из этих двух тел, Родди или Айлы, могло упасть, поскользнуться, споткнуться, теряя равновесие, перенося вес и внимание, меняя направление. Но этого не произошло. Родди не падает лицом вниз, перенося вес на мыски; Айла не заваливается влево, продолжая поворачиваться к двери. Она видит сквозь стекло солнечный свет

и бетон. Лайла она не видит и грузовика тоже, потому что они припарковались слева от входа. Она знает, что нетронутая, чистая жизнь там, за дверью, где свет, где нет испуганного мальчишки с ружьем, и сама она — не охваченная паникой женщина, чье время на исходе. Несколько минут, несколько секунд разницы, и ничего этого не было бы. Как это получается, что нечто подобное становится возможным из-за того, что раньше, днем она слишком торопилась или слишком медлила и оказалась здесь слишком рано или, наоборот, слишком поздно? Возможно, Родди тоже удивляется. Где продавец? И что хочет Родди?

Наверное, уже неважно, чего хотел Родди (а хотеть он должен был денег), как неважно и то, чего хотела Айла: те два стаканчика мороженого, которые они с Лайлом съели бы у реки. Того, что изначально собирались делать Родди и Айла, больше не существует. Им предстоит нечто новое. Она отчетливо понимает, что с Родди происходит то же самое, что и с ней, и приходит к выводу, что эта способность знать, что происходит одновременно с несколькими людьми, тоже результат воздействия кино.

Она в ярости, она очень зла. Не столько на Родди, сколько на Лайла. Она привыкла на него

полагаться. Он стал совершенно незаменимым. Но когда он ей по-настоящему нужен, когда она действительно в беде — его нет рядом. Он сидит в грузовике, слушает музыку, или новости, или просто молча ждет мороженого, в любом случае, занят чем-то не тем, какой-то ерундой, вместо того чтобы быть здесь, где он ей нужен, делать то, чего она от него ждет, то есть спасать ее. Как он мог, как смел подобрать ее, поддерживать, а потом отпустить, чтобы она упала с такой высоты и так больно?

Вспоминать о Джейми и Аликс уже поздно, и, когда она о них вспоминает, это не вызывает никаких особых чувств — ни горя, ни, что, возможно, странно, прилива материнской любви. Сейчас они ничего не значат. Она ничего от них не ждет. Это от Лайла она привыкла ждать спасения, и, как оказалось, напрасно.

Он даже не дал ей переодеться. И сейчас она поворачивается, чтобы бежать, а ей мешают туфли на каблуках и облегающая синяя льняная юбка, стесняющая ее бедра.

Палец Родди напрягается. Она поворачивается, но по-прежнему видит его очень ясно, как будто у нее глаза на затылке.

«И не думай, что можешь вытворять что хо-

чешь, если я не смотрю, — говорила ее мама. — У меня и на затылке есть глаза».

Может быть, ей это передалось.

А что передалось Родди? Желание рисковать? Мышечное напряжение, которое в особых обстоятельствах заставляет палец плотнее прилегать к спусковому крючку? Беспримесная, слепая, тупая склонность к неповиновению — духа, чувств, тела?

Она не знает этого мальчика. Ей нечего ему сказать. Кажется, что времени на всякие мысли предостаточно, но нет времени говорить.

А что, если она крикнет: «Не надо!», или «Ради бога!», или «Нет!».

Но уже слишком поздно. Только одно успевает прозвучать после того, как Айла ахает и Родди судорожно втягивает воздух, и это не слова.

Ей приходит в голову, что должно быть какое-то соответствие между значением события и его продолжительностью. Ничтожные, дурацкие дела, вроде дороги домой из города, отнимают целую вечность. На стрижку газона и прополку сада уходит чуть ли не вся жизнь. Даже кино, которое смотришь зимним вечером — в руке стакан, ноги на кофейном столике, миска попкорна между ними с Лайлом, — длится по меньшей

мере полтора часа, иногда больше двух.

А сейчас — на какое-то очень долгое мгновение мир останавливается, ее тело зависает в воздухе, маленькая темная точка разрастается и разрастается, пока не остается лишь серебристая полоска света слева, а потом и она пропадает, тьма и тишина сливаются, и все сводится, все сворачивается в одно.

Перемотка

У Лайла своя версия. Не то что менее стремительная и катастрофическая, чем у нее, но — его ведь там не было. Его сведения получены из вторых, а то и третьих рук, что-то он узнал, пока бежал от грузовика в «Кафе Голди», что-то от экспертов: врачей «скорой», полицейских, медсестер, врачей в больнице. Он, похоже, обречен играть роль наблюдателя в ужасных событиях, происходящих с его женами. Возможно, это его угнетает, возможно, бесит. Может быть, он испытывает облегчение, смешанное с виной. В любом случае роль у него, с его взволнованным взглядом и трясущимися губами, невелика: рассказчик, повествователь, не виноватый и не пострадавший.

Может быть, ему просто повезло.

— Ты только вошла, — говорит он. — Мы думали, это не займет много времени, в кои-то веки там никого не было, ни велосипедов, ни машин на стоянке. Ты только вышла из грузовика. Махнула мне, не оборачиваясь, я услышал колокольчик над дверью, когда ты вошла. И подумал еще, как все здорово: солнце, лето, еду к реке есть мороже-

ное, здоров, и ты, и дом — ради таких мгновений, лучших в жизни, и живешь, они одни спасают.

Пусть надеется, что это их спасет. Как мило с его стороны: у него лучшее мгновение в жизни, когда в нее стреляют.

— Я сначала не понял, что это за звук. Думал, что-то взорвалось. Газовый баллон? Не знаю. Близко и громко, и это был не выхлоп, потому что явно донесся из кафе. Я выпрыгнул из грузовика, вбежал внутрь. И увидел. Ну, понимаешь. Тебя.

Нет, она не понимает. Не слишком связный рассказ для юриста.

— Я глазам своим не поверил. Нет, в прямом смысле, не верил, что это на самом деле. Мне раньше клиенты так говорили, я думал, что понимаю, что они имеют в виду, но оказалось, что не понимал. Какой-то другой уровень сознания, все вдруг становится таким четким, ярким, и наступает абсолютная тишина. И полная неподвижность. И все кажется совершенно нереальным. Казалось, что это навсегда, я не знал, как сделать, чтобы оно закончилось. Просто хотел, чтобы этого не было, хотел перемотать этот день обратно.

Возможно, у нее получается издать какой-то звук, выражающий нетерпение, во всяком случае он поднимает на нее глаза, говорит: извини.

— Ты лежала на боку, у моих ног, прямо за дверью. Голова была так близко, я чуть о нее не споткнулся. И еще кровь. Ты, наверное, думаешь, что я и раньше видел кровь, всякие кровавые происшествия, но нет, никогда. А если бы и видел, все равно это было бы не то. Это была бы не ты.

И этот пацан. Такой веснушчатый, с коротким ежиком, рыжеватый, мы его видели много раз. Обычный пацан, если бы не ружье в руках. Правда, держал он его дулом вниз. Даже не держал, оно как-то висело у него в руках. Он смотрел на тебя. Я даже не уверен, что он меня заметил. Вид у него был такой, как будто он сейчас в обморок упадет, в лице ни кровинки.

Я не знаю, что я думал. Может быть, думал, что если я не шевельнусь и не заговорю, то все это будет не на самом деле. Знаешь, как в кошмарном сне. Может быть, и он так думал. Похоже было, что он ничего такого не ожидал, не собирался ничего такого делать, и сам не верил, что так вышло.

Полицейские меня потом спрашивали, сколько времени прошло, прежде чем их вызвали, а я понятия не имел. Мы могли там стоять, глядя на тебя, несколько секунд или несколько часов — я совершенно потерял чувство времени. Но,

конечно, это были секунды. По-моему, даже колокольчик еще не замолк, когда продавец выглянул из-за прилавка, и как только он шевельнулся, все кончилось. Продавец тоже еще совсем пацан. Имя забыл. Я, по-моему, вообще все имена забыл, кроме наших. Хотя, погоди, он сказал что-то вроде: «Блин, Родди, ты что?» Так что, наверное, его Родди зовут. Тот парень постарше, продавец, трясся, как сумасшедший, но вышел из-за прилавка и отнял ружье. Просто взял и отнял. Так что он лучше соображал, чем я. И смелый, наверное. Чудо, что эта дрянь не выстрелила, так у него руки тряслись.

А тот, другой парень, Родди, или как его, даже не пытался удержать ружье, ничего не пытался сделать. Выпустил ружье, согнулся пополам, и его вырвало. А потом побежал. Развернулся и вылетел через черный ход, мы только услышали, как дверь хлопнула.

Мне было наплевать, куда он побежал, и вообще в тот момент было на него наплевать. У меня прорезался голос, я заорал на продавца, чтобы вызывал полицию, «скорую», пожарных, кого угодно, и стал на колени рядом с тобой, посмотреть, как ты, заговорил с тобой. Я видел, что ты ранена, была кровь, но оказалось, не так много.

Ну, не лужа, ничего такого. И ты была жива, дышала. Я не мог понять, куда тебя ранило, но знал, что нужно быть осторожнее и не ворочать тебя.

Сам он ворочается на стуле рядом с кроватью. Везет ему, сидит, наклоняется. Двигается. Чувствует неудобство.

Ничего из того, что он рассказывает, она не помнит; да, но ведь, как он сказал, она была без сознания. Она думает, что готова его пожалеть: это ему пришлось сначала чуть ли не споткнуться о ее голову, потом испугаться вида крови, потом приходить в себя.

Когда это случится с ней?

— Мне казалось, прошла целая вечность, прежде чем кто-то появился, но сейчас я понимаю, что это заняло меньше четырех минут. В тот момент это была вечность. Тот парень, продавец, плакал, так поскуливал возле прилавка. Мне хотелось лечь на пол рядом с тобой и обнять тебя, но дотронуться, чтобы не причинить тебе вреда, можно было только до лица. По-моему, я с тобой говорил, но помню только, что гладил твой лоб и волосы. Я не знал, чувствуешь ты что-нибудь или ты совсем отключилась.

На мгновение он теряется, как будто допустил какой-то промах. Что из этого он не хотел гово-

рить?

— Сначала завыла «скорая». Я боялся, что они на тебя наступят, и вышел, чтобы их встретить. Через пару секунд приехала полиция. Двое выпрыгнули из джипа, с оружием наперевес, это было как-то страшновато. Вряд ли им тут приходилось заниматься чем-то действительно серьезным. Глаза у обоих, во всяком случае, были бешеные, и, прежде чем они приняли меня за преступника, я им махнул, сказал, что тебя ранили, парень, который стрелял, убежал, продавец все видел, и я тоже кое-что видел, и, наверное, я так спокойно говорил, что один из них сказал: «Вы неплохо держитесь для того, чью жену ранили», — как будто я сам это сделал.

«Да кого это интересует? — хочет крикнуть Айла. — Кого это, на хер, интересует? Про меня расскажи!» Но все, что у нее получается, это протестующий шепот, которого Лайл или не слышит, или не понимает.

— Когда полицейские вошли, парни со «скорой» тебя уже пристегнули к носилкам и собирались положить на каталку. Копы изозлились, можно подумать, тебя нужно было там и оставить. Хотя, может, я и не прав, я тогда слишком остро все воспринимал. Все казалось таким ярким и таким

ясным. Не громким, но ясным.

Я сказал, что поеду с тобой, и один, которого с самого начала все бесило, стал возражать, что-то вроде: «Вы — свидетель, мы должны вас опросить». Но второй сказал: «Поговорим с ним потом, сейчас все равно надо продавца допросить, и вообще дел до черта». Как будто это работа по дому. Он смотрел на пол, где ты лежала. На кровь.

Лайл передергивается.

Сколько времени с тех пор прошло? Совсем немного, и Лайл все еще в шоке? Свидетели и близкие тоже испытывают шок или это происходит только с самими жертвами?

Айла никакого шока не чувствует. Она вообще ничего не чувствует, кроме ярости.

— Я сказал: «Тут и расследовать нечего, вы наверняка знаете этого парня, продавец его знает. Он убежал через черный ход, но вряд ли его будет трудно найти. Где-то метр семьдесят пять, конопатый, худой. Да и напуганный». Я хотел, чтобы они знали, что он испуган, это, может быть, значит, что он жалеет о том, что сделал. Не знаю, более или менее опасным он стал от испуга, но ружье лежало на прилавке, другого оружия у него, скорее всего, не было, а я не хотел, чтобы они распсиховались и стали по нему палить,

когда найдут.

Какое безграничное милосердие. А как же месть? Как же преданность? Айла сама бы пристрелила этого сукина сына, если бы это могло что-нибудь исправить. Если бы это поставило ее на ноги, она бы его пристрелила. Хотя бы для того, чтобы просто сквитаться: равноценный обмен.

Она надеется, что этого парня будет вечно мучить совесть, если она у него есть, что с ним навсегда останутся те ослепительные секунды в «Кафе Голди», когда инстинкт, или желание, или ужас заставили его сделать выбор. Потому что это — выбор, и неважно, как поспешно и необдуманно ты его делаешь. Выбор означает ответственность, она в этом убеждена, это не просто прихоть; по крайней мере, не только прихоть.

Неужели такие, как он, думают, что такие, как она, ходят по улицам в бронежилетах и с оружием? Они что, думают, никто не пострадает? Если они не хотят никому зла, то зла и не будет? Не может быть? Они что, считают, что имеют право так поступать? Она в ярости. В невыразимом бешенстве. Столько несчастий и настоящих предательств за сорок девять лет — может, не так и много, но каждое из них для нее невыносимо, — и вот теперь «Кафе Голди».

— Мне казалось, — голос у Лайла озадаченный, — что для тебя будет нехорошо, если копы что-нибудь не то сделают с этим парнем. Все и так плохо, но мне казалось, если мы можем сделать так, чтобы не стало еще хуже, все можно как-нибудь поправить.

Можно? Поправить? Бога ради, Лайл!

— Что потом было, я не знаю. Не слышал, поймали его или нет. Нас увезла «скорая», в больнице нам только сказали, что лучше отвезти тебя в другое место, мы сейчас в Северной, тут, говорят, лучшие специалисты. Так что ты в хороших руках.

Он улыбается обнадеживающей улыбкой или пытается выглядеть любящим.

Да, но на один вопрос она теперь знает ответ: где. Значит, она в огромной клинике, в северной части города, совсем, к слову, близко от ее работы. Она все время ездит мимо Северной клиники, иногда читает в газетах об исследовательских проектах и всяких чудесах, но ей никогда не приходилось бывать внутри. Время от времени они собирают средства на какой-нибудь проект. Наверное, нужно было что-нибудь пожертвовать.

— Когда?

— Что когда?

Господи, ну куда понятнее?

— То есть сколько сейчас времени или когда все это случилось? Сейчас утро. Ты довольно долго была без сознания, а потом тебе что-то вкололи, чтобы ты спала, пока они брали анализы и осматривали.

Она бы содрогнулась, если бы могла, думая о том, что кто-то брал анализы и осматривал ее, когда она была беспомощна. Да, но даже если бы была она в сознании, с ней можно делать все что угодно.

Утро. У нее назначены встречи, хотя сейчас она не помнит, с кем, по какому поводу, да и какая разница? Вчера это могло быть важно, сегодня ни черта не значит. Лайлу нужно было быть в суде. Он совершенно вымотан. На мгновение зажигается слабенькая, в сорок ватт, лампочка сочувствия: ей, несмотря ни на что, хотелось бы взять его за руку, в благодарность за то, что он здесь.

Насколько она понимает, они сейчас держатся за руки.

— Полицейские хотят с тобой поговорить, когда ты будешь готова. Им нужно все уточнить.

А ей какое дело до полицейских и того, что им нужно?

— Врачи, — шепчет она с раздражением. Он же юрист, должен понимать, что важно в рассказе, в деле, а что нет. В своем рекламном бизнесе она такой ошибки никогда не допустит. Там у тебя есть совсем чуть-чуть места или эфира, чтобы сказать самое главное, и все, время вышло.

Он сомневается, глаза у него бегают. Не похож на человека, который собирается сообщить что-то хорошее.

— Я тебе уже, в общем, рассказал, что говорят врачи: подождем, потом, скорее всего, будут оперировать, и шансы, что все сложится удачно, очень велики. Просто тебе нужно набраться сил и терпения, и все.

Ну нет, это вряд ли все.

— По делу, — говорит она. Потом получается добавить: — В подробностях.

Интересно наблюдать, как кто-то на твоих глазах принимает решение. Она видит, как его лицо раскрывается и проясняется, губы слегка дергаются, расслабляясь, потом сужаются ноздри и расширяются глаза, поднимаются брови. Мелкие морщины на лбу разглаживаются, складки у рта становятся глубже. Он смотрит на нее так, как обычно смотрит в сложной и напряженной ситуации. В выражении его лица в эти моменты,

пожалуй, больше уважения, чем любви.

Это вселяет определенные надежды. Она снова стала для него Айлой, человеком, а не пациентом, или женой, или ответственностью, или обузой, или проблемой.

Во всяком случае, не калекой.

Откуда выплыло это запретное слово?

— Хорошо, — говорит он. — Сейчас они могут сказать, что пуля зацепила позвоночник. Довольно высоко. И еще, на самом деле, тебе повезло, потому что, будь угол немножко другим, она бы пробила мягкие ткани и задела какой-нибудь жизненно важный орган. А если бы она вошла повыше, то повредила бы мозг.

Можно подумать, мозг — не жизненно важный орган.

— Очень хорошо, что ты как раз повернулась, когда он выстрелил.

И значит, очень плохо, что не повернулась чуть больше, чуть резче или быстрее. Тогда пуля, не причинив никому вреда, расплющилась бы о дверной косяк, или о холодильник, или об пол.

— Вот, и когда она вошла в позвоночник, судя по всему, пострадал спинной мозг, но они пока не знают, в чем там дело, потому что пуля раскололась, или как там это называется, и какая-то ее

часть, осколок, я так думаю, все еще там. Но он может сам выйти, когда твое состояние станет более стабильным, нам нужно подождать.

Айле кажется, что более стабильной, чем она сейчас, быть уже невозможно. Стабильнее неподвижности может быть разве что смерть. Она хмурится или думает, что хмурится, хочет нахмуриться, глядя на него.

Да, но он опять сказал «нам». Он здесь, лицо у него опечаленное, и сердце наверняка тоже.

Да, но он может говорить «мы», «нам» сколько угодно, но это не у него осколок пули в позвоночнике и повреждение спинного мозга, приведшее к параличу.

— Паралич? — спрашивает она.

Он не смотрит ей в глаза.

— Пока да. Но я уже сказал, нужно потерпеть. Набирайся сил. Тогда мы сможем узнать больше. Все выяснить.

Осторожнее с вопросами, снова вспоминает она. Потому что ответы могут быть не те, которые хочешь услышать или даже можешь вынести. Эту правду она выучила, благодаря Джеймсу хорошо выучила, вызубрила, и сейчас она стала чем-то вроде лозунга или девиза.

— То, — продолжает Лайл, — что ты можешь

говорить, очень хороший признак. Это значит, что с легкими все более-менее в порядке. И то, что мышцы лица у тебя немножко работают, тоже. Например, ты можешь моргать. Могла бы даже, — какое милое и полное надежды лицо, — улыбнуться, если бы захотела.

Она, как ей кажется, может и прищуриться. Повезло ему, что она не может подняться с постели. «Какого черта я буду улыбаться?» — вот что она хотела бы сказать.

— С чего? — это все, что у нее получается. Этого достаточно, чтобы он смутился.

Но он же здесь. Он старается. Она должна быть ему благодарна.

Нет. Благодарность выглядит жалко, она не может так унижаться. И он так долго не сможет.

Это не может быть надолго. С ней, с такими, как она, не должны происходить такие вещи.

Но происходят. Из толпы людей без особых проблем постоянно выхватывают кого-то, без всякой системы, наобум, выхватывают и швыряют в настоящий ад. Почему не ее?

Потому. Потому что разве нет какой-нибудь нормы несчастий? Разве она свою уже не выполнила и Лайл тоже? Потому что она только-только снова начала радоваться жизни, с ним, всего

несколько спокойных лет. Так кто ведет учет, что за садист, который ни считать, ни оценивать толком не умеет? Просто не верится, она бы покачала головой, но как раз этого не может — и многого, многого другого.

Что она тогда может? Злиться. Помнить. Самые глубокие потрясения остаются с тобой навсегда, — это она тоже знает благодаря Джеймсу. То, что она знает о нем, до сих пор бьет ее, как током, и сила этого тока снова и снова ее удивляет. Когда люди говорят о событиях, от которых содрогается земля, они имеют в виду что-то большое или ужасное. Как военные преступления, или убийство, ураган, рождение ребенка, откровение. Откровение в почти библейском смысле, апокалипсис. Судный день. Как пуля.

Вот это мгновение у дверей «Кафе Голди». Настоящий апокалипсис.

Почему запоминаются вещи потише, которые трудно определить, неизвестно: разговор, жест, цвет, образ; что-то запоминаешь, потому что внутри звучит как приказ: *Не забывай. Запомни все до мелочей.*

Нужно верить, что все это временно. Нужно убеждать себя в этом.

Итак, когда она снова встанет на ноги, нужно

будет помнить, что прожить обычный, предсказуемый, невыразительный день — уже благословение. Она должна будет помнить, *осознавать*, как любит выражаться Аликс, чего она достигла, что заслужила и чего хочет, что у нее сейчас отнято.

Она привыкнет помнить, что об этом нужно помнить. Небольшой план, но в этой ситуации хоть какой-то план — уже чудо. Она зубами в него вцепится; если бы она чувствовала свои зубы, если бы могла во что-нибудь ими вцепиться. Пока она может только скалить их, улыбаясь Лайлу, как волк из постели бабушки Красной Шапочки, но только, хочется ей верить, немного добрее.

Простой план

Они все расспрашивают, что там было.

— Расскажи, что ты натворил, сынок, — говорит тот, который повыше и постарше. Это тот, который там, в поле, когда Родди смотрел снизу на безразличных собак и звезды, счастливый до чертиков, вдруг появился в поле его зрения, держа в напряженных вытянутых руках пистолет, нацеленный на Родди.

«Не шевелись, парень, — сказал он. — Просто не делай лишних движений. Понимаешь, что я говорю? Скажи, что не будешь дергаться. Давай. Скажи».

«Ладно», — сказал Родди.

«Спокойно», — произнес другой голос, и собаки отбежали в сторону. Но недалеко. Он слышал, как они дышат.

Другой, помоложе, стал на колени возле Родди, внимательно его осмотрел. Осторожно обыскал, едва касаясь тела Родди. Кивнул другому, и тот сказал:

«Хорошо, теперь вставай, очень медленно».

Совсем как старик. Ему было почти больно

перекатываться, упираться руками и коленками, чтобы встать. И то, что, пока он сидел на земле, молодой завел его руки за спину и надел что-то на запястья, задачу не облегчило. Щелчка не было. На ощупь — пластик, не металл. Родди подумал, что все не так, как по телевизору. Полицейский взял его за локоть и поднял. Родди чуть не упал, когда наконец оказался на ногах.

Другой коп, который назвал его «сынок», отошел назад. Он по-прежнему целился в него из пистолета: черное отверстие. Родди хотел сказать, не надо оружия, но подумал, что говорить, наверное, ничего нельзя. Он не знал, как они поступят. Страшно ему не было, потому что не могло это все происходить на самом деле, слишком нереально было, чтобы бояться. Просто все было так странно: открытое поле, ночь, и молодой коп светит на него фонариком, как будто это на сцене, как прожектор, как в пьесе.

«Пошли».

Обратный путь через поле к дороге, освещенный теперь уже двумя фонариками, был нелегким. Особенно когда руки за спиной, трудно удержать равновесие, не спотыкаться. В этом маленьком путешествии поля, их мелкие бугорки и низинки, незаметные ямки и камни, стали ему

чужими, враждебными.

Полицейские, идущие по обе стороны от него и на шаг позади, то и дело покряхтывают. Он слышит тяжелое дыхание того, который постарше, и топот собачьих лап. Шли молча. Молча добрались до машины. Молодой коп положил Родди руку на макушку и усадил его на заднее сиденье, в наручниках, одного.

Дорога, казалось ему, идет по незнакомой местности, как будто он тут впервые. Окраина города, ряды домов, фонари — все это было как в другой стране, может, в Европе, где он никогда не был. Проезжая мимо улицы, ведущей к дому, где он жил еще несколько часов назад, он подумал: «Там бабушка, всего в квартале отсюда, и папа». Но казалось, что на самом деле они где-то в параллельном мире.

А на самом деле они были в полицейском участке: толстая, расстроенная бабушка с покрасневшими глазами, бледный здоровенный отец. Они поднялись со стульев одновременно, как привязанные друг к другу, как марионетки. Только папа остался на месте, а бабушка шагнула к Родди. Но полицейские сказали: «Нет», — и повели Родди дальше, держа его с двух сторон за локти. Он даже не пытался оглянуться. Зачем?

Они пришли, но им наверняка кажется, что они его совсем не знают.

Сейчас с ним в комнате двое полицейских и еще один тип, адвокат, которого вызвал отец. Адвокат ему сказал:

— Ты не обязан ничего говорить. Я советую — ни слова.

Родди просто помотал головой.

Когда полицейский говорит: «Расскажи, что ты натворил, сынок, как все было», — Родди молчит не потому, что отказывается говорить. Он молчит, потому что не знает, что сказать. Все было так понятно раньше, когда они только строили планы.

Та женщина. Ее лицо. И потом голос Майка. Слишком поздно, все было слишком поздно, как будто время разладилось и несколько секунд шло назад или наизнанку.

Теперь оно идет, как положено, но это уже совсем другое время.

— Где ты взял ружье?

Ну, это просто. Ружье папино. Папа каждый год берет отпуск на пару недель и уезжает на охоту с сослуживцами. Ни разу, правда, ничего не подстрелил. Пытается, наверное, но не попадает.

Не то, что Родди. Ему вдруг опять становится

холодно, он начинает трястись.

— У вас тут есть чем его укрыть? — спрашивает адвокат. — Одеяло какое-нибудь? По-моему, ему нехорошо.

— Еще бы! — говорит тот, который помоложе. — Нет у нас ничего.

Адвокат пожимает плечами.

— Если ему плохо, если он заболеет, то, учтите, это случится во время вашего дежурства. Вам это расхлебывать. Я не знаю, может, уже пора вызывать врача. У него, может быть, шок. Это все очень серьезно.

— Дай ему одеяло, Том, — говорит тот, который постарше.

Внимание Родди переключается с одного на другого. Как будто смотришь спектакль. Мистер Сильветти, учитель английского, в общем, единственный учитель, который Родди нравится, говорит, что в пьесе каждое слово служит определенной цели. Приводит к развитию сюжета. На взгляд Родди, эти разговоры полицейских с юристом ни к чему привести не могут. С другой стороны, ему самому сказать нечего. Но все не так, как было там, в поле. Там он был счастлив, ему хотелось, чтобы так оставалось всегда и можно было и дальше быть счастливым. А здесь

слишком яркий свет, стул слишком жесткий, и лица, даже у адвоката, слишком суровые.

Ему кажется, что все это началось в другой, безмятежной жизни, когда они с Майком сидели в начале лета у пруда в парке. Строили планы или мечтали, он не помнит. Они сидели у пруда, но не купались. Было прохладно, они были в свитерах и джинсах, просто решили пройтись.

Множатся тайны и желания. Значит, что-то должно завершиться. Майк сказал:

— Мы хотим уехать в сентябре, так? А где взять деньги?

Родди почти уверен, что это сказал Майк, хотя и сам мог это сказать. Они столько говорили о том, что уедут, постоянно.

Сначала найдут квартиру в городе, где раньше жил Родди. В высотном доме, чтобы видны были огни на мили и мили вокруг. Родди нравилось думать о высотном доме. Казалось, это так благородно и шикарно — ехать на лифте домой или вниз. Нашли бы какую-нибудь работу. Город весь в огнях, здорово. Все эти улицы и улочки, бары, концерты, новые знакомства. Девушки. Это было чуть ли не главным: предполагаемое загадочное, многообещающее разнообразие девушек.

Но Родди не знал, как они это устроят, хотя оста-

валось всего два-три месяца. Наверное, думал, что случится чудо. Он подрабатывал — стриг газоны, полол клумбы — и думал, что эти деньги будут не лишними. Майк второе лето подряд работал в «Кафе Голди». Его мать дружила с хозяйкой.

— А платят все равно дерьмово. Деньги никакие, но ей и тех жалко, каждый раз с таким видом отдает, как будто я ее граблю. Меня это бесит. Я ведь не просто так там сижу. Если покупателей нет, мы должны полы мыть или кладовку убирать, даже пыль вытирать, и попробуй только не сделай — она так вызверится!

— Да, но у тебя все-таки работа есть. Какие-то деньги.

— А ты сам себе хозяин. И потом, если плата почасовая, можно ведь целый день газон стричь, а?

Майк вроде как шутил. Родди сказал:

— А что, можно.

— Смысл в том, что сколько бы мы с тобой ни заработали — это не деньги. Их не хватит, по-любому. Надо что-то придумать, иначе мы отсюда никогда не уедем.

Повисла тоскливая тишина. Так бывало часто. Сама мысль, что можно отсюда никогда не уехать, была невыносима, хотя, что именно было здесь плохо, они сказать не могли. Просто это беспокой-

ное состояние причиняло острую, постоянную боль. Мучило.

Майку никогда не приходилось начинать заново. Он прожил тут всю жизнь. Ему казалось, что новая жизнь начнется с чистого листа, даже воспоминаний никаких не останется. А Родди думал, что, конечно, все будет по-новому, но еще будет так, как должно было складываться изначально, если бы не пришлось переезжать, если бы он жил там, где все началось.

Все будет не так, как здесь. Во-первых, они будут сами по себе. Родди подумывал о том, что в новых обстоятельствах можно и выглядеть по-новому:

— Может, я усы отпущу.

Майк, хотя и фыркнул, кивнул, как будто понял, что Родди имеет в виду.

Дело было не только в том, что он не очень хорошо представлял себе, что его ждет, он и в том, что уже было, был не слишком уверен. Иногда, конечно, дома его доставали, и бабушка в последнее время чаще раздражалась, чем раньше, и он раздражался в ответ. Так, сколько раз ему приходилось говорить: «Это никого не касается, это мое дело».

Это могло быть чем угодно, начиная с того, сделал ли он уроки, и заканчивая тем, куда он

идет или где был. «Так, — говорил он. — Нигде».

А от отца и десяти слов за день не услышишь. Как будто ему больше нечего сказать, и все, что он может, это похлопать Родди по плечу, проходя мимо, ласково потрепать его волосы.

Да, но бабушка заклеивала ему коленки пластырем, если он расшибался, когда был маленький, и читала ему вслух, когда он болел, и возилась на кухне, пекла что-нибудь сладкое, и еще говорила: «Ну что, Родди, сыграем в криббедж, пока ты дома?»

И она смотрела на него с такой обидой и поджимала губы, когда он с ней не разговаривал или орал на нее. Она в ответ почти никогда не орала. Просто отворачивалась. Он, как сейчас, видит ее плечи и спину, согнувшиеся под тяжестью, которую он на них взвалил.

От этого было так плохо, что хотелось убежать куда-то, где этого не будет.

Что за дебил. Что за тупой козел.

Он вдруг понимает, что они с Майком никуда бы не уехали, и выпрямляется на стуле, вздрогнув от этого внезапного, ясного знания. Пошли бы осенью в школу и продолжали бы сочинять себе будущее, а оно бы так и оставалось будущим, оставалось и оставалось, пока, наверное, не пришло

бы его время. Он бы закончил школу. Бабушка и даже отец пришли бы на выпускной. Он никогда не был одним из лучших учеников, но был не хуже других. Они бы его фотографировали. Они бы с Майком потом пошли куда-нибудь с какими-нибудь девчонками. Он бы надел темный костюм. Бабушка бы плакала. Она все время плачет, даже когда смотрит какую-нибудь дурацкую рекламу. Говорит:

— Поплачу, и мне так хорошо.

Сейчас она плакала по-настоящему. Он, наверное, с ума сошел на пару месяцев, тихо так, тайно и спокойно сошел с ума. Как будто ничего, кроме самого себя и своих мыслей, не воспринимал; как будто закрылся в холодной, жесткой коробке внутри собственной головы. Как будто за ее стенками ничего не было.

Сейчас, при свете, видно, что у него на руках кровь. Он смотрит на свои освобожденные руки. На них действительно есть следы крови, хотя это, похоже, его собственная кровь, он ведь падал и обдирался, пока бежал, как ненормальный.

Он этими руками почти ничего и не сделал. Пару раз тискал девчонок, и все, несколько нервозных, напряженных свиданий, прошедших более-менее успешно, но обещавших в будущем

больше. Его пальцы сжимали ручки и рычаги газонокосилки, переворачивали страницы, мыли посуду. У него красивые пальцы, длинные. Он ими почти не пользовался.

«Я еще маленький» — вот что ему хочется им сказать. «Это не считается. Я не хотел. Разве не важно, что я просто сглупил, что я этого не хотел?» Он понимает, глядя на эту пустую маленькую комнату, на яркий свет, на лица вокруг, что считается, и еще как.

Сейчас он уже должен был быть в своей комнате, в постели, спрятав деньги под кровать. Он должен был сразу отнести их домой, а когда через пару дней все успокоится, должен был прийти Майк, и они сказали бы, что пойдут наверх, к Родди, смотреть видак, и только тогда достали бы деньги, сосчитали бы, сколько там, и прикинули, на сколько им этого хватит в их новой жизни.

— Сразу уезжать нельзя, — сказал Майк, он умный. — Это будет выглядеть подозрительно. Нужно просто вести себя, как обычно, еще несколько недель, а потом все, мы свободны.

Они поклялись друг друга не выдавать и ни словом не обмолвиться никому о своих планах. Обещали друг другу не делать никаких глупостей, ну вроде, ни доллара не тратить, сразу разделить

деньги, хотя Майк не должен был брать свою половину, пока они не уедут. Ясное дело, ему к деньгам приближаться было небезопасно.

Обещать было легко. С чего бы они облажались из-за какой-нибудь ерунды, спустили деньги на кино или еще на что-нибудь в этом духе? Ни один из них не запросил бы больше, чем ему причиталось. В этом они были уверены, потому что им в голову не приходило, что могло быть по-другому. Они столько всего делали вдвоем, они все друг про друга знают.

И еще они точно знают, что деньги будут неплохие, потому что уже четвертый день, как Дорин, хозяйка «Кафе Голди», уехала к сестре.

— Пока она не вернется, всю выручку просто складывают в коробку под прилавком, — сообщил Майк. — Так же было прошлым летом, когда уезжала на несколько дней, потому что она хочет все сама проверить, прежде чем отнести в банк. — Он пожал плечами. — Дура. Сама напросилась.

Родди кажется, что Майк считает эти деньги чем-то вроде компенсации за несправедливо низкую зарплату. А сам Родди как считал? Нет, он не думал, что это его деньги, конечно нет. Но Дорин ведь их не заработала, она даже «Кафе Голди» не заработала, она же купила его на деньги от

страховки старого Джека, так что деньги иногда просто сваливаются людям под ноги, и люди получают, что хотят, и им хорошо, и с ним тоже такое может случиться.

Наверное, ему казалось, что так будет по-честному, хотя сейчас он не может понять, какую несправедливость собирался таким образом исправить.

У них был такой продуманный, такой простой план.

Майк пойдет на работу, как всегда, его смена с трех часов. Все будет как обычно. Покупатели приходят и уходят. В пять уйдет второй продавец, и Майк останется один. И будет ждать.

Когда Майк придет на работу, Родди тихонько вытащит из сейфа в подвале отцовское ружье, а из ящика стола в спальне отца — патроны. В это время отец на работе, а бабушка или по магазинам ходит, или в гости, или дремлет в своей комнате. Родди отнесет ружье и патроны к себе. Через пару часов, когда Майк будет вовсю работать и все в городе будут ехать домой ужинать, Родди высунется из окна своей комнаты, перегнется через козырек под окном и бросит ружье в петунии, которые растут внизу. Папа и бабушка будут в это время на кухне, доедать ужин. Родди

быстро ест, он уйдет из-за стола раньше.

Патроны он сунет в задний карман джинсов. Спустится по лестнице, выйдет на улицу, крикнув им: «Я ушел, скоро буду».

Потом он обойдет дом, достанет ружье и засунет его в штанину джинсов. И пройдет, пусть и по-дурацки, как будто у него нога затекла, но все-таки не слишком приметной походкой, три квартала до «Кафе Голди».

Черный ход будет не заперт. Он зайдет в кладовку, достанет ружье. Зарядит его. Прислушается. Если услышит голоса, молча подождет. Если нет, он тихонько засвистит, несколько тактов из музыки к «Плохому, хорошему, злому», старому фильму, который они с Майком часто берут в прокате. Если все будет нормально, Майк просвистит в ответ еще несколько тактов. Родди зайдет в кафе. Майк будет за прилавком, как обычно.

Все так и получилось. Легко, как в танце. Даже пройти три квартала до кафе с ружьем в штанине оказалось не так сложно, и на него никто не обратил внимания.

А дальше Родди должен был подойти почти вплотную к прилавку и — вот это было рискованно — один раз выстрелить в стену, по полкам. Тут тихо никак не получится. Дело в том, что

Майк сказал:

— Должна быть угроза, должно быть ясно, почему я отдал деньги и дал себя связать.

Потому что это был следующий шаг. Пока Родди будет разбираться с ружьем, Майк, положив коробку с выручкой в обычный пакет, будет завязывать себе рот носовым платком и связывать щиколотки. И ляжет на пол, чтобы Родди замотал ему руки.

Они репетировали это снова и снова. В результате на все, от выстрела до рук, уходило двенадцать секунд.

Родди быстро вернется в кладовку, опять сунет ружье в штанину и пойдет домой, с обыкновенным пакетом в руке. Через пару минут он будет у себя в комнате, не зайдя ни к бабушке на кухню, ни к отцу в гостиную. Деньги, не трогая, не пересчитывая и не вынимая из коробки, он спрячет под кровать. И ружье тоже. На следующий день, когда папа уйдет на работу и бабушка куда-нибудь выйдет, Родди отнесет его назад, в сейф в подвале. Никто не узнает. Никто даже не станет искать. Кому придет в голову?

А Майк тем временем, лежа под прилавком в «Кафе Голди», будет ждать. И когда наконец кто-нибудь войдет и зазвенит колокольчик, он

начнет ворочаться и стонать. Его найдут и развяжут. Вызовут полицию. Майк будет расстроен и растерян. Скажет, что на грабителе была лыжная маска, тяжелые ботинки, джинсы и черная майка. Скажет, что он был высокий, широкоплечий, пузатый.

— Может, пусть у него будет татуировка или родимое пятно, — предложил Родди. И не только для того, чтобы сделать его поинтереснее, ни на кого не похожим, — иногда, когда они его обсуждали, этот налетчик вставал перед ними как живой, — но и для того, чтобы кто-нибудь, примерно подходящий под описание, не попал в тюрьму.

— Хорошая мысль.

Они придумали ему татуировку в виде зеленой змеи на правом предплечье и родимое пятно на тыльной стороне левой руки. А глаза, которые были видны в прорезь в маске, они решили сделать синими.

Майка будут снова и снова расспрашивать. Ему придется рассказывать все много раз.

— Ничего не добавляй, — предупреждал Родди. — Говори просто.

Родители наверняка поведут его к врачу или даже в больницу, чтобы его осмотрели.

У каждого из них была интересная роль, у Родди до и во время всего, у Майка во время всего и потом. Было как будто два действия, когда они репетировали. Родди играл роль покупателя, который найдет Майка, полицейских, родителей, врачей, которые будут Майка расспрашивать. Разговоры эти могли принять разный оборот. Они отрепетировали все варианты, какие смогли придумать. Они все выучили и были ко всему готовы. Все должно было пройти прекрасно.

Но уже первая стадия, когда пришлось пойти в подвал и достать ружье, поразила Родди тем, насколько отличается разговор о чем-то от самого поступка. Он не то чтобы передумал. Передумать он не мог, хотя бы из-за Майка, у них был уговор, и теперь все было неизбежно. Но все-таки он себя как-то странно чувствовал и в подвале, и поднимаясь к себе. И потом, в ожидании назначенного времени, за ужином, когда вел себя как будто ничего не произошло и поел очень быстро, и всю дорогу до кладовки.

Все, как они спланировали.

Он добрался до самого прилавка. Видел, что коробка с деньгами уже в пакете. Майк все подготовил, и платок, чтобы завязать рот, был у него в руке, и рулон монтажной ленты, чтобы замо-

тать щиколотки и запястья. Глаза у Майка были испуганными и восторженными, глаза человека, делающего что-то серьезное. Родди думал, что и у него такие же.

Они не разговаривали. Майк мотнул головой в сторону полок у себя за спиной, и Родди начал поднимать ружье. Это было самое сложное: потом нужно действовать очень быстро, потому что кто-нибудь может услышать выстрел.

Он увидел, как глаза Майка, смотревшего ему за спину, расширились и стали бессмысленными, и тут же услышал, как открылась дверь и звякнул колокольчик. У Майка челюсть отвисла. Возможно, и у него тоже. Он поворачивался, держа в руках ружье. Женщина в тесном и мятом синем костюме тоже поворачивалась, но сначала он увидел ее глаза. Совершенно пустые глаза. Какое бы выражение у них ни было, когда она входила в «Кафе Голди», оно исчезло, и его место заняла абсолютная пустота. Звук колокольчика еще не затих.

Ну почему им не пришло в голову *закрыть дверь*?

Его тело само приподнялось на мысках и слегка сгорбилось. Он чувствовал каждую мышцу: икры, бедра, живот, плечи. И пальцы, напрягаю-

щиеся все больше. Это длилось целую вечность и заняло лишь мгновение. Остановить это было невозможно.

Она поворачивалась, поворачивалась, а потом он увидел ее на полу, как будто она сдулась. И что-то красное. В дверях появился мужчина. Это было слишком, он слишком много видел, так нельзя. Он услышал голос Майка, знакомый и чужой одновременно:

— Блин, Родди, ты что? — увидел глаза Майка. Почувствовал, как Майк забирает у него ружье.

Он понял, что это из-за тяжести ружья он не мог сдвинуться с места, а теперь его ничего не держит. Он наклонился, и весь его ранний ужин оказался на потертом полу «Кафе Голди». Теперь он был легким, он мог бежать. И он побежал. Он бежал и бежал, через черный ход, по улицам, через заборы, через поля. Он был как ветер, как птица, он какое-то время летел над землей. Какое-то время он себя не помнил. А потом пришло счастье, которое могло бы длиться всегда, но кончилось. Он совсем не этого хотел. Он совсем не такой. Он давно уже не ревел, но ведь можно поплакать, просто поплакать обо всем, что он потерял; и он плачет.

Миссис Лот и миссис Иов

Айлу всегда влекло к худым мужчинам. И к словам вроде «влечение», «одержимость», словам, чьи оттенки варьировались от голода до ненасытности, словам, которые применимы были и к другому: к тому, как зарываешься лицом в животик ребенка, мягкий, как зефир; как окунаешь горячее тело в прохладную воду озера; как висишь на руках отца-железнодорожника в пространстве между набирающими скорость вагонами поезда, и ветер так плотно и холодно прижимает кожу к лицу, что на глазах выступают слезы.

К любым запредельно счастливым ощущениям.

Как больно это потерять.

Если бы она могла, она бы выпрыгнула из этой бледной кожи, освободилась от этих бесполезных мышц и костей, от онемевших нервов. Вены, и артерии, и мельчайшие капилляры, должно быть, все еще открываются, пропуская кровь, но она этого не чувствует. А раньше чувствовала? Раньше она не придавала этому значения. Теперь она

бы вела себя не так. Да, она многое будет знать теперь, это точно. Она уже измучена знанием. Слишком много нужно знать.

Мужчины начинались для нее с влечения: увидела Джеймса, пришедшего из университета в магазин канцелярских принадлежностей его отца, где она подрабатывала; столкнулась с Лайлом нос к носу во вращающихся дверях отеля. С каждым из них влечение переросло в одержимость, расцвело, разрослось, стало почти зависимостью; потом, в случае с Джеймсом, выродилось в безразличие, потом — да, в отвращение, хотя и это тоже род эмоциональной зависимости.

Лайл покрепче. Он переносит одержимость на удивление хорошо.

Все дело в ребрах, в том, что они прощупываются. В длинных бедренных костях. Узких ступнях, изящном развороте ключиц, в плечах не просто широких, но с заметным костяком, прямо под кожей. Это ей особенно нравится.

Вкус скорее соленый, чем сладкий. Вкус голубоватых глыб соли, которые отец много лет назад доставал летом для скотины, и большие, толстые, шершавые языки облизывали их, терпеливо вылизывали, пока не оставалась тоненькая пластинка. Вкус горячей картошки фри на ярмарке,

вкус солнца и летнего озера, который смываешь зимой в ванной. Вкус пота мамы, склонившейся над глажкой в облаке островатого аромата духов, которыми она пользовалась, когда собиралась куда-то, и вкус пота отца, устанавливающего трубы под новой раковиной, его железнодорожной формы, брошенной в кучу грязного белья. Ее вкус, как ни противно вспоминать, на губах Джеймса, и наоборот. Вкус Лайла у нее на языке, и наоборот.

Нет, лучший вкус — соленый. История Лотовой жены всегда казалась ей бессмысленной и, уж конечно, не настолько страшной, чтобы принимать на веру то, чему, как ей казалось, эта история учит: не оглядывайся, ни о чем не жалей, оставь все, что тебе дорого, забудь то, к чему привыкла и привязалась, откажись от желаний. Вместо этого смотри вперед, непреклонно и — это самое главное — послушно.

Она сочувствовала Лотовой жене.

И потом, если соляной столб, в который превратилась Лотова жена, в конце концов источили и разрушили силы природы, чем это отличается от судьбы, которая ждала бы ее, если бы она непреклонно и послушно смотрела вперед и не оглядывалась? Ее бы все равно точили и разруша-

ли силы природы, ее муж Лот, дети, обязанности, и трудности, и хозяйство, и радости, и годы.

Если бы Лотова жена смотрела вперед, на долгую дорогу прочь от дома, что бы она увидела, кроме черных скал, крутых склонов, скудной пустыни, чужих суровых мужчин, чужих усталых женщин? Неудивительно, что она предпочла оглянуться.

Конечно, ей было о чем жалеть, конечно, она оглянулась, потому что желала чего-то. Айла может жалеть о том, что встретила Джеймса. Она жалеет о том, что прыгнула в грузовик Лайла и выпрыгнула из него, счастливая, у «Кафе Голди». Кто бы не жалел об этом?

Интересно, Лотова жена разозлилась, когда ее превратили в соляной столб только за то, что она согрешила сожалением, за то, что повела себя по-человечески?

Айла в бешенстве.

Это не лучшее настроение, чтобы дожидаться, когда из щели в кости выйдет осколок пули, и набираться сил для операции, которая обещает быть и сложной, и рискованной, и от которой зависит все. С другой стороны, ярость на вкус соленая, в ней нет сладости. Может быть, сейчас как раз лучший момент, чтобы лечь на операци-

онный стол, если учесть, что в ярости она сильна, как никогда. Только она знает и то, что ярость растет из тоски, слабого и ненадежного основания.

«Выбирайте, чем травиться», — обычно говорил отец, когда собиралась компания и он смешивал напитки. Айла все время выбирает злость и сожаление.

Мать Айлы, Мэдилейн, хотя и не склонна к унынию, иногда впадает в тоску: в основном из-за того, что хотела, чтобы у нее было много детей, маленьких тел, которые можно обнять, но что-то пошло не так или чего-то не хватало ей или отцу Айлы. Айла так и не знает, в чем дело, но в результате «ты», говорит мама, «уже была чудом». Быть чудом, конечно, потрясающе и прекрасно, но еще и сложно, потому что нужно быть чудесной.

Отец Айлы работал на железной дороге, кондуктором, его часто не бывало дома, и, возвращаясь домой, он сохранял особый ритм в походке, по-особому ставил ноги. Было очарование в его неведомых приключениях, в том, как он носился по стране, встречался с незнакомыми людьми, заботился о них, выслушивал их. Иногда, возвращаясь домой, он говорил, что устал не только оттого, что все время был на ногах, но и оттого, что все время улыбался. Он все время привозил

всякие истории, которые рассказывал разными голосами, с разной интонацией, так что казалось, все происходит прямо у них на глазах. Для Айлы каждое слово его было значимым, потому что он знал обо всем, о хорошем и плохом, что творится в мире. Иногда казалось странным, что он знает все это и всех этих людей, а они с мамой не знали и никогда не узнают, и самым странным в этом было то, что он все равно возвращался домой, к ней и маме, как будто они были ему интересны, как будто они были главной историей.

Была замечательная история о том, как женщина родила в поезде, и весь вагон ее подбадривал, и все сошли с поезда смеясь, счастливые оттого, что присутствовали при начале удивительной жизни, пришедшей вне расписания. Она помнит, что мама не улыбнулась, когда он рассказывал, а отец этого не заметил. Не потому, что его не интересовали мамины чувства, Айла знала, что интересовали, он просто не знал. Откуда?

Он привозил и страшные рассказы. Поезда были такими огромными, а люди такими маленькими. Людей сбивали, когда они шли вдоль путей, им отрезали конечности, врезались в их жизнь. Машины и грузовики застревали на рельсах. Некоторые люди специально бросались

на машинах и грузовиках под поезд, давили на педаль газа в последней, страшной гонке.

«Этот звук, — говорил он, встряхивая головой, как будто мог стряхнуть этот звук, — ни на что не похож».

Поезда так шумели, Айле казалось невероятным, что сквозь шум их колес и двигателей можно что-то услышать, но он говорил, что можно. Говорил, что слышно металл, а если прислушаться, то и тело:

«Машинистам хуже всех, они видят, что должно случиться, но ничего не могут сделать. Говорят, от этого невозможно оправиться, от чувства неизбежной катастрофы».

Да, невозможно. Иногда ей снились кошмары, в которых что-то большое неотвратимо катилось навстречу чему-то столь же большому. Иногда она просыпалась от того, что слышала в этих снах.

Когда она была совсем маленькая, отец кружил ее на руках до тех пор, пока она не переставала понимать, где верх, а где низ. Он носил ее на плечах, когда идти было далеко. Мама предпочитала держать ее за руку, в людных местах, вроде ярмарки, держала очень крепко, потому что вокруг было столько всяких людей, а Айла была ее чудом. Они

вместе катались на колесе обозрения, а потом садились в разные машинки на аттракционе и со всего маху врезались друг в друга. На пляжах они купались и смотрели на закаты. Иногда по ночам она слышала, как родители ссорятся, но нечасто. Они часто обнимались или просто дотрагивались друг до друга.

Честное слово, она думала, что все семьи такие. Неудивительно, что она усвоила эту идею счастья, что она уверилась в том, что если оно может кончиться, то только трагически, смертью, как смерть ее отца от рака легких, когда ей было шестнадцать. Неудивительно, что Джеймс стал таким потрясением. За ним последовали другие потрясения, спасибо ее ангелочкам, ее обузам, ее Джейми и Аликс.

Теперь это.

История Иова, как ей кажется, показывает Бога в еще худшем свете, чем история Лотовой жены. Не любящий Создатель, а самодовольный ребенок, склонный к жестоким играм. Что ее особенно выводило из себя, даже когда она первый раз услышала историю Иова, когда была еще совсем девчонкой, так это то, что, хотя предметом дурацкого пари между Сатаной и Богом была вера Иова, все вокруг Иова тоже страдали. Его

дети. Его жена. Как будто они не имели значения, были просто абстрактными потерями в войне за верность Иова.

И то, что Иов сам к этому относился, в общем, так же, только он не знал про пари, не знал, что все его потери лишены смысла.

Иову она сочувствовать не могла.

Хотя она видела, как рушатся жизни. Она, конечно, знает, что такое происходит: одна ошибка, одна неожиданность, и другие ошибки и неожиданности сыплются следом, пока не начинает казаться, что ничего хорошего больше не будет; что любое решение, или перемена, или движение приведет к тому, что станет только хуже. Она не ощущала, что такое происходит с ней, но, возможно, последние восемь счастливых лет были лишь кочкой на пути вниз.

Нет, она не может в это поверить. Сейчас ей нелегко, но не настолько, чтобы она не пробилась.

Ну, не совсем пробилась, конечно.

— Айла?

Над ней возникает лицо Лайла. Господи, нельзя так пугать людей.

— Дети скоро будут здесь. Ты готова?

Он что, ждет, что она кивнет?

Дети ее, не его. Его дети не обязаны бросать все и бежать к ней; ее — обязаны.

Бедный Лайл, ему теперь придется иметь дело не только с этим кошмаром, но и с ее детьми, которые доведут кого угодно, он не виноват, что они такие, а значит, не должен из-за них страдать. Они были бы совсем другими, Джейми и Аликс, если бы их отцом был Лайл и, может быть, если бы их матерью была Сэнди. Кто знает? Сыновья Лайла, Билл и Роберт, близнецы, которые были еще подростками, когда умерла их мать, такими же, как Айла, когда умер ее отец, теперь добропорядочные граждане. Билл — медик, работает в исследовательском институте, Роберт пишет диссертацию по многоуровневым взаимоотношениям средств массовой информации и политики. Айле есть о чем поговорить с Робертом. Разговоры с Биллом чем-то похожи на разговоры с Аликс: глубокое погружение в загадочный и невообразимый мир со своим загадочным и невообразимым языком.

В общем, за сыновей Лайла не стыдно. Они надежные, не легковерные. Они не ждут быстрого успеха, не ждут, что им что-то достанется просто так. При виде препятствия они не ищут легких обходных путей. Эти их достоинства Джейми и

Аликс, наверное, трудно вынести. Айла сама с ними едва справляется.

— Как я выгляжу? — шепчет она Лайлу. — Жуть? Страшная?

— Хорошо выглядишь.

Нужно будет снова поговорить с ним о лжи. Хуже лжи ничего нет, и пусть намерения у него благие, сейчас не время забывать об этом. Она, наверное, все еще ни на что не похожа, особенно в этом безжалостном освещении — смесь дневного света с люминесцентной лампой. Господи, а еще — какая нелепая, отвратительная система к ней подключена, чтобы опорожнять ее тело? Или наполнять его? Она любит поесть, и так странно не быть голодной. А может быть, она голодна. Просто голод — еще одна вещь из множества других, которых она не чувствует.

Есть о чем подумать, есть о чем заботиться. Достаточно ли в доме чистых простыней и полотенец для детей, которых она не ждала? У двери будет сброшена чужая обувь, чужие кремы и шампуни появятся на полочках в ванной. Тонкие платья Аликс (форма Корпуса Умиротворения), свежевыстиранные, будут развешаны на бельевых веревках. В чудесный дом Лайла и Айлы вторгнется беспокойство, кризис, смятение. Лай-

лу это не понравится. Он бережет свой рай на земле.

— Честно, — говорит Лайл. — Я бы не пустил к тебе детей, если бы на тебя больно было смотреть. Поверь. Они ведь в холле сейчас, ждут.

Ох. Вот оно как. Она не ожидала, что все произойдет так сразу, она даже растеряна. И еще она с болью вспоминает, что не может махнуть рукой, дескать, ладно, зови. Этот молчаливый, выразительный язык ей больше недоступен.

Как же сказать детям, что она любит их и, как бы ужасно она ни выглядела, пугаться не нужно? Если она не сможет обнять Джейми и погладить непокорные, сверкающие рыжие волосы Аликс, так похожие на волосы Айлы в том же возрасте, как им понять, что все будет хорошо, что это лишь временно — ужасно, невыносимо, угнетающе, но временно? Несмотря ни на что, она всегда их обнимала, хотя, конечно, и орала, ругалась, выговаривала, хлопала дверьми. Но она всегда, всегда пыталась обнять их. Потому что даже тому, чья жизнь беспорядочна, нужен какой-то порядок. Нужно быть в чем-то уверенным.

Она не знает, чего ждать. Ее дети полны неожиданностей. Другие молодые люди выдерживают потрясения, не разваливаясь на части, так поче-

му ее дети не могут? Джейми двадцать пять, и он бесконечно стар. Его чудесное лицо, лицо маленького мальчика, уже никогда не расправится и не разгладится, возвращаясь к невинности. Что он сделал! Что сделали с ним!

И Аликс — доверчивая, глупая Аликс дала обет умиротворения. В буквальном смысле, дала обет верности чему-то, называющемуся Корпусом Умиротворения, обет послушания и почтения коренастому немолодому мужику со слишком голубыми глазами, который зовет себя Мастер Эмброуз. Аликс теперь называет себя Сияние Звезд, хотя за пределами Корпуса Умиротворения это не прижилось. Даже с учетом всех выпавших на их долю потрясений, Айла не понимает, как она могла вырастить кого-то, кто называет себя Сиянием Звезд.

Во всяком случае, Аликс не может внятно объяснить все это Айле. Аликс невнятно жестикулировала тонкими руками с длинными пальцами, широко распахивала свои невероятные глаза, глядя из-под волны замечательных рыжих волос, говорила о вселенских законах и силах, обществе, где есть забота о других, смысл и любовь. Но что это за смысл? Что за любовь? Уже три года Айла смутно ждет, что кто-то позвонит,

постучит в дверь и скажет, что Аликс, аккуратно сложив ручки и ножки, умерла, пытаясь обрести спасение на лучшей, более доброй и сияющей планете.

Что-то в этом роде.

Аликс двадцать два. Она слишком взрослая, чтобы верить в эту чушь, и слишком молода, чтобы умереть.

Как же все это могло случиться с теми милыми, умными, чудесными малышами, младенцами, детьми? Наследственность, возможно. Жгучая жажда, которая может охватить любого, но именно у них нашедшая объект и пробурившая их насквозь, так что беда забила фонтаном. Случился Джеймс, открывший этот фонтан, когда его дети были в самом нежном, уязвимом и неуклюжем возрасте. Айла была готова его убить, правда готова.

Так почему не убила, когда могла? Она легко могла выследить его и убить, сколько угодно за эти последние десять лет. Легко сказать, что была готова, сейчас, когда ничего не можешь. Но у матерей нет времени на убийства, правда? И вряд ли от этого стало бы лучше.

Теперь, когда она, по крайней мере пока, не может встать на их защиту, интересно, смогут ли

они встать на ее защиту, эти молодые люди, ее дети, искавшие забвения или спасения в непонятных и чудовищных местах.

Может быть, они просто хотели от всего сбежать. Она бы и сама не возражала двинуться в этом направлении. Двинуться в любом направлении, если на то пошло.

Готовы они или нет, но они здесь.

— Мам. — Аликс внезапно склоняется над ней с огромными от страха глазами и кожей, прозрачной от жалости. — Мама.

А может быть, кожа у нее прозрачная от голода. Она всегда была худенькой, но сейчас выглядит истощенной. Этот сукин сын, Мастер Эмброуз, он что, морит ее дочь голодом? Летучие волосы Аликс касаются ее щек, колышутся в воздухе. Эта роскошь у нее от природы, а вот длина до плеч — по уставу, так стригутся все женщины в Корпусе Умиротворения, наверное, это самая умиротворяющая длина. Еще им полагается коричневатое полотняное платье, свободное и почти прозрачное. Айле кажется, что из этих больших глаз смотрит странная, потерянная, мятущаяся душа. Когда Аликс двигается, подходит, чтобы наклониться к матери, отступает назад, чтобы пропустить брата, на ум приходит слово

«дуновение».

У Джейми глаза колючие, лицо напряженное, ничего по нему не прочтешь.

— Мам, ну чем ты думала, разве можно так подставляться под пулю?

А, понятно. Он решил быть веселым, обратить все в шутку; как будто всплеск веселья в комнате поднимет ее, поставит ее на ноги; как Христос, если бы он сотворил чудо с Лазарем с помощью одной только жизненной силы и энергии.

Джейми, когда был маленьким, все время бегал. Как только встал на ноги, сразу побежал: ушибаясь о мебель, проносясь по комнатам, карабкаясь по лестницам, втыкаясь в двери, мчался сломя голову по лужайкам и тротуарам. Айла все бежала и бежала за ним, ловила, хватала за какую-нибудь движущуюся часть, тащила домой.

Он бежал за чем-то или от чего-то, что его пугало? Во сне его ножки дергались под одеялом, как у спящего щенка, ручки молотили по подушке. Ему снились кошмары, он просыпался в слезах. Что так пугало во сне ребенка, который, она могла поклясться, ничего страшного наяву не видел? Айла ложилась рядом с ним и обнимала его, пока он не успокаивался и снова не засыпал. Иногда она засыпала сама, и утром Джеймс выходил из

себя, говорил:

«Ты его испортишь. Вырастет слишком мягким».

Если бы.

«Он еще маленький. Он просто хочет, чтобы его приласкали. Разве можно испортить кого-то, просто приласкав?»

В борьбе между тем, чего хотел муж, и тем, что было нужно ребенку, несомненный перевес всегда был на одной стороне. Но она не сразу поняла, что идет борьба, что Джеймс видит в этом борьбу. Кто ожидал такого от взрослого мужчины? Не Айла.

Джейми все бежал и бежал, и рос скорее слишком жестким, чем слишком мягким. Его пухлые щечки срослись с костями, большие глаза с длинными ресницами стали еще больше, как у Аликс, лицо постепенно сужалось и становилось все менее и менее невинным. Теперь он сухой, жесткий и, вероятно, хорош собой, но матери об этом судить сложно. Ресницы у него все те же, женщинам они должны нравиться. Дети у нее, оба, невероятно красивые и привлекательные, если смотреть на них под этим углом, снизу и искоса, несмотря на то, что Аликс такая худая, а Джейми такой жесткий. Оба они не слишком похожи

на отца, и на нее не слишком, и друг на друга тоже. Она рада, что у них нет явного сходства с Джеймсом, и ей неважно, что их с Джеймсом черты смешались и сложились по-новому, так, что сходство с ней тоже пропало.

Когда-то, очень недолго, они были зациклены на своем отце. Может быть, это и до сих пор так, но в семейных беседах о нем не упоминают, по крайней мере с тех пор, как появился Лайл. Интересно, разговаривают они с ним когда-нибудь? Наверняка нет. Хотя о нем, скорее всего, говорят. Едва ли это пятно можно полностью стереть из памяти. Никого стереть нельзя, и потом дети, как преданные собаки, всегда ждут любви.

— Да, не подумала я, — отвечает она Джейми, надеясь, что улыбается, что глаза у нее веселые и обнадеживающие. — Но все будет хорошо. Лайл наверняка сказал.

— Да. — Джейми кивает. — А этот урод, который это сделал, он где? Его взяли?

Это он о том пареньке. Джейми склоняется к ней с неловкой нежностью, стараясь, как ей кажется, не задеть аппаратуру, к которой она подключена. Но он хочет ее обнять; милый, смелый. Его руки обхватывают то, что должно быть ею, его щека прижимается к ее щеке. Ее сын, ее

слабовольный, ненасытный Джейми, который, по крайней мере какое-то время, не знал, чего хочет, и выбрал не то.

Надо же, слеза! Катится у нее по щеке на подушку, она чувствует!

У Джейми, склонившегося так близко, немножко пахнет изо рта; не стерильно, и это, как ни странно, приятно.

— Если копы его не достали, я достану. Я этого козла в порошок сотру.

Вот это решимость.

Но это только решимость. Без страшных, лишающих разума наркотиков он никому не причинит вреда, ведь так? Он понес наказание и, более того, вылечился. Но кто он такой, чтобы называть другого малолетнего преступника уродом и козлом?

Но даже в худшие моменты у него не было оружия. Даже в худшие моменты он не был Родди.

Лайл делает шаг вперед и кладет руку на плечо Джейми.

— Нет, — говорит он спокойным тоном. — Полиция его или уже задержала, или скоро задержит. Все знают, кто он, все известно. Так что пусть им занимается полиция, а мы будем заботиться о твоей маме.

Это, конечно, правильно. Лайл понимает, как

важно отвлечь человека, и знает, как это делается. И все же есть что-то в преданной и мстительной ярости Джейми что-то желанное и верное, чего так не хватает Лайлу.

— Нам всем нелегко, мы все расстроены, но думать нужно только о маме, о том, что может ей помочь, что сделает ее сильнее.

Он такой мудрый. Ей так повезло.

В чем-то, по крайней мере, повезло.

Неожиданности — это по части Аликс. Она вдруг откликается, как будто Лайл произнес нечто судьбоносное, озаряя Айлу непонятно просветленным взглядом.

— Да, — говорит она, — именно так.

Вид у нее — может ли это быть? — счастливый. Как будто Лайл напомнил ей о чем-то хорошем, что выскользнуло у нее из памяти.

У Аликс теперь очень многое выскальзывает из памяти. Джейми хотя бы излечился от своего пристрастия, от влечения, от явной потребности в наркотиках со страшными, леденящими кровь названиями. По крайней мере страх, наказание и любовь благополучно привели его к надежному, хотя и не такому яркому, менее шаткому, менее отчаянному восприятию мира. Но Аликс — Аликс попалась на крючок веры, и это пристрастие,

возможно, еще труднее одолеть.

Вот как раз об этом Айла и думала: Иов, судьба, рок, случай.

Лайл считает, что надежда есть, потому что они по-прежнему могут вступить с Аликс в контакт, хотя бы дотронуться до нее, и он, в общем, прав. Например, то, что ему удалось поговорить с Аликс об Айле, и то, что Аликс смогла приехать, — это хороший знак. Может быть, Корпус Умиротворения — это секта (по мнению Айлы, так оно и есть), которой пока не удалось совсем оторвать последователей от их семей.

Три года назад Айла и Лайл впервые услышали имя «Мастер Эмброуз», и уже три года, как они перестали понимать, что девочка говорит.

— Не парьтесь, — советует Джейми. — Это просто дурь. Я со своей справился, и она справится.

Но Джейми не стоит забывать, что со своей дурью он справился не без ущерба для себя и не только своими силами. Не то что он вдруг сам решил: хватит, пора завязывать. И все получилось само собой, не было ни юристов, ни тюрьмы, ни страданий, ни его собственного пота и рвоты. Всего этого.

Когда Аликс объявила, что принесла обет Мастеру Эмброузу, Айла поехала прямиком на

умиротворенную ферму, расположенную километрах в семидесяти к северу, далеко от дороги, и едва ли пригодную даже для выращивания скудного умиротворяющего пропитания. Аликс, с жутким новым выражением блаженства на лице, говорила:

— Все дело в преданности друг другу. Община состоит из людей, преданных одной идее. По-настоящему преданных. Потому что, достигая умиротворения, достигаешь главной цели в жизни. Но это нелегко, поэтому нужно держаться вместе. Может быть, не нужно, но так лучше всего, потому что мы все помогаем друг другу сосредоточиться на умиротворении, постоянно, что бы ни делали.

Аликс вышла к воротам фермы, на которых не было никакой вывески, встретить Айлу.

— Пожалуйста, постарайся понять, мама, — сказала она. — Я понимаю, тебе все это кажется странным, но попытайся посмотреть на все моими глазами.

Она выглядела и взволнованной, и гордой, знакомя Айлу и Мастера Эмброуза, который ждал их в саду в своем коричневом одеянии с улыбкой на пухлом лице.

— К моему сожалению, — сказал он, — мы не

приглашаем посторонних внутрь. Взыскание умиротворения требует сосредоточенности, мы не можем допустить, чтобы равновесие в нашей общине было как-либо нарушено.

Он, правда, предложил ей чаю. Она отказалась.

Айла сама не знала, зачем приехала, разве что посмотреть, что это за место. Вцепись она в глотку этому мужику, что ей больше всего и хотелось сделать, Аликс бы это не помогло.

— Сияние Звезд, — говорил этот самоуверенный ублюдок, — на самом деле не была в вашей жизни ребенком. У нее древний дух, ее душа прожила много жизней.

Да как он смеет?

Он продолжал в том же духе, Аликс не сводила с него широко раскрытых обожающих глаз. «Ах ты, злобная жаба», — хотелось сказать Айле и добавить что-то мелодраматическое, например: «Отпусти мою дочь». Но было очевидно, что Аликс не хочет, чтобы ее отпускали. Ее завлекли, очаровали, околдовали, привязали. И Айла молча уехала. Они с Аликс не обнялись на прощание. Аликс уклонилась от ее рук, сказав:

— Прости, но я чувствую, сколько в тебе гнева, а мне пока нельзя прикасаться к кому-то, кого не коснулось умиротворение. Мое умиротворение

пока не так устойчиво.

Вот как.

Кому же не приятно услышать, что душа у него древняя и соответственно мудрая? Чудный комплимент (Айла это понимала), но от кого: от человека, который для начала мог выбрать любое имя и назвался Эмброузом. Это что-нибудь да говорит, но что, кроме того, что он органически не способен воспринимать красоту и благозвучие?

Первая поездка Айлы оказалась бессмысленной, следующие тоже ни к чему не привели. Непреклонная Аликс по-прежнему говорит о Мастере Эмброузе с той же интонацией, с какой, как полагает Айла, Джейми мог бы говорить о своих наркотиках, если бы в то время вообще мог говорить об этом лихорадочном и напряженном пристрастии. Еще Аликс рассуждает о вещах вроде яркого сияния внутреннего огня.

— Глубина, — изрекает она. — Чистое знание.

В глазах Мастера Эмброуза Аликс, судя по всему, видит освобождение и любовь, чистоту, и мир, и спасение. Айла видит хищную, острую жажду обладания юными душами. И не позволяет себе думать о жажде обладания юными телами.

Конечно, она судит необъективно. Так же необъективно, как о том, кто впервые дал Джей-

ми наркотики.

И вот она, эта девушка, склонившаяся над поручнями кровати с улыбкой счастливой сумасшедшей. Вот она, Аликс, двадцати двух лет от роду, называет себя Сияние Звезд и забивает себе голову идиотским вероучением. Айла дала бы ей подзатыльник, дурочке. Схватила бы ее, трясла и обнимала до тех пор, пока эта потерянная, худая девочка не почувствовала, как ее мама, черт возьми, любит ее, — каждым нервом, каждой косточкой почувствовала. Господи!

Но ничего этого Айла сделать не может, поэтому она отвечает на счастливую улыбку дочери самой суровой гримасой, которую может состроить.

Видимо, это ей не удается или не оказывает должного воздействия.

— Давай я тебе расскажу, что было, — говорит Аликс. — Когда Лайл позвонил и все рассказал, — она поводит рукой над Айлой, объясняя, судя по всему, что хотела сказать этим «все», — я так расстроилась. Это было так ужасно.

Было и есть, и не столько для Аликс, сколько для Айлы. И все-таки Айлу это трогает. Она представляет, как Аликс плачет, хватается за голову, за эти чудесные волосы, показывая свое горе всем этим людям, у которых высшей добродетелью,

похоже, считается не чувствовать ничего, что можно показать.

Она пытается придать лицу ласковое выражение, но дальше Аликс говорит:

— А потом я подумала: чему же меня научили поиски умиротворения, если меня так легко расстроить?

Легко! У Айлы, как ей кажется, от изумления открывается рот.

— И наверное, кто-то позвал Мастера Эмброуза. И он пришел! Он подошел ко мне. И заговорил со мной, отвел меня в сторону, а это такая честь.

Аликс сияет, ожидая, что Айла проникнется тем, насколько знаменательный это был момент. Ну еще бы. Для нее.

— И мы пошли в Комнату Покоя, только мы вдвоем.

Господи, что за комната покоя? И как тогда называются остальные комнаты в Корпусе Умиротворения?

— Он сел рядом со мной, взял меня за руки и велел сидеть тихо, сколько потребуется, вдыхать и выдыхать, считая вдохи. Это вообще-то упражнение для начинающих, и я почти расстроилась, что он меня считает начинающей, но я так и сделала, и это помогло. Я начала себя контроли-

ровать, как нас учили.

Что она пытается рассказать Айле? Может быть, это касается причин и взаимосвязей?

— Так мы сидели, я глубоко дышала и смотрела ему в глаза, а потом он кивнул и спросил меня, что случилось. И я ему сказала, что тебя парализовало, и еще, что ты не такая старая, чтобы просто лежать тут всю оставшуюся жизнь, всегда.

А что, есть какой-то возраст, когда это в порядке вещей?

Всю оставшуюся… об этом Айла даже думать не желает.

— Я сказала, что мне нужно ехать, потому что ты же моя мама.

О, радость!

— Вообще-то мы должны освобождаться от привязанностей, то есть мы должны быть привязаны ко всему в равной степени и в то же время от всего свободны. Я даже боялась, что он во мне разочаруется, но он был таким добрым. То есть он всегда добрый, но тут он просто кивнул, как будто все понимает. Что я все-таки привязана к тебе. Ты ведь моя мамочка.

В глазах у нее слезы. И у Айлы, как ни странно, тоже. Отчасти оттого, как по-детски Аликс произнесла «мамочка». Отчасти от ярости: эти

люди, кто бы они ни были, и ее собственная дочь считают, что освобождение от привязанностей или равная привязанность ко всему и свобода от всего могут быть высшей целью, каким-то достижением.

Эта идея подразумевает такое строгое и стерильное воздержание и вместе с тем такую порочность, требует такого извращения и подавления чувств и мыслей, что она не может не калечить. Так вот как Мастер Эмброуз обращается со своими последователями: он впивается в них, когда их отчаявшиеся или тоскующие души ищут мира и покоя, а потом обрекает их на путь, на котором невозможно достичь мира и покоя.

Похоже, он забирает у них все; Айла не имеет в виду деньги.

Разве она не понимала этого раньше? Все, что Аликс рассказывала о Корпусе Умиротворения и Мастере Эмброузе, было камнем в огород Айлы. Потому что Аликс так говорила о *любви, поддержке* и *семье,* как будто прежде ничего подобного не видела. Вот так удар.

Есть какой-то смысл, пусть и очень горький, в том, что она лежит здесь и все это выслушивает.

— Он сказал, что все понимает, и что иногда для того, чтобы понять, в чем суть привязанности,

нужно действовать как она подсказывает. И мне можно поехать.

Можно? Ей нужно было разрешение этого жирного ублюдка?

Джейми говорит:

— Бога ради, Аликс, кому какое дело? Речь не о тебе и твоей чокнутой компании, речь о маме.

Когда-то они с Аликс были близки. Может быть, они и сейчас близки, как-то иначе, по-своему. Может быть, только брат — уж точно не мать — имеет право говорить такие вещи.

Аликс качает головой, и ее волосы слегка разлетаются.

— Сияние Звезд. И я знаю, что речь о маме. Из-за этого я здесь. И из-за того, что сказал Мастер Эмброуз, что, может быть, очень хорошо, что так случилось.

Мастер Эмброуз и Аликс снова лишают Айлу дара речи. Ей даже трудно дышать. Аппаратура неподалеку тоже начинает звучать иначе, что-то ускоряет ритм.

— Твою мать, — говорит Джейми.

— Нет, правда. Послушайте. Когда он заговорил, все стало так ясно. Конечно, я знала, что так и должно быть, я просто еще недостаточно продвинулась по этому пути, чтобы самой понять, но я

стараюсь, я учусь понимать, потому что иногда нужно просто прислушаться к истине, чтобы в следующий раз узнать ее самому.

В следующий раз. Какая прелесть. К Айле возвращается способность дышать, аппаратура начинает звучать ритмичнее. Было ли это опасно? Нужно ли быть осторожнее? Например, спокойно считать вдохи, чтобы достичь умиротворения?

— Он сказал, что это не так ужасно. Что это на самом деле потрясающая возможность, и что печаль и беда на самом деле могут быть благословением. И что, если не можешь двигаться, можно углубиться в себя и открыть духовную истину. Потому что для того, чтобы ощутить внутренний огонь истинного умиротворения, нужно замереть и не шевелиться, а ты как раз не шевелишься, хотя я знаю, что ты этого не хотела, но так получилось, и можно этим воспользоваться, не относиться к этому как к увечью и беде, понять, что это не так ужасно, что это — потрясающая возможность.

Аликс задыхается. Ничего удивительного. Это было бы смешно, если бы Аликс была дочерью кого-то другого, если бы кто-то другой вырастил из нее дуру. Как себя чувствует сейчас мать этого

парня, этого конопатого стрелка, Родди? Кажется ли ей тоже, что ее ребенок оказался кем-то другим, отдалился от нее, стал совсем чужим? Вот эти сжатые белые ручки, это напряженное лицо, такое родное, дочкина нежная кожа, которую Айла трогала, гладила, заклеивала пластырем и обожала, — и все это принадлежит кому-то незнакомому.

Даже у Мастера Эмброуза должна быть мать. Она, наверное, тоже не ожидала, что у сына возникнут такие странные, неодолимые потребности, которые приведут к такой странной, неодолимой власти. Но, возможно, ее это не удивило, возможно, именно она его всему научила. Может быть, она тоже своего рода проповедник. Сложно вообразить себе мать Мастера Эмброуза.

— Он говорит, что для того, чтобы загорелось пламя умиротворения, необходим покой, каким бы образом он ни был достигнут. В каком-то смысле тебе повезло больше, чем мне, потому что я все пытаюсь и пытаюсь, но не могу достичь нужного покоя. Так что, если ты посмотришь на все с этой точки зрения, это на самом деле благословение, потому что ты ничего не сделала, оно само к тебе пришло.

— Аликс, — говорит Джейми. Он тянет ее за

руку пытаясь сдвинуть с места, отодвинуть прочь. — Бога ради.

— Нет, правда.

Она вырывает руку. Они боролись, когда были маленькими, то в гостиной, то на газоне перед домом, ему было, наверное, лет восемь, а ей пять, или девять и шесть, или десять и семь. А потом перестали. Возможно, более осознанно стали воспринимать свои тела, разницу между ними, неловкость.

— Это важно. То, что он говорит, так совершенно, так истинно. Я не слишком посвящена, чтобы правильно объяснить, но он сказал, что, если я запомню его слова, ведь он прошел этот путь много лет назад, так вот, если я запомню, я смогу помочь и тебе пройти этот путь. Правда, мам, возможно, тебе очень повезло. Быть озаренной, даже не прилагая усилий, — это удивительно.

Еще как. Все молчат. Потому что, считает Айла, в ответ на это явное, по-своему невинное безумие сказать нечего.

В конце концов Лайл, умница, делает шаг вперед. Он кладет большие руки с длинными и умелыми пальцами на плечи Аликс.

— По-моему, — почти ласково говорит он, — хватит. Маме нужно побольше отдыхать. Почему

бы нам втроем не устроить перерыв, не пойти попить кофе?

Перерыв? Как будто Айла — это тяжкий труд, с которым нелегко справиться, вроде работы в угольной шахте или строительства железной дороги? Но к чему злиться на Лайла? Это не он тут распространялся о том, как ей повезло, что ее озарило пламя паралича.

Он и Джейми переглядываются за спиной Аликс. Они, наверное, по-своему близки. Айла иногда задумывается, не злится ли Джейми на Лайла, просто за то, что тот о нем столько знает? Тяжело, когда тебя не спасают, но, должно быть, когда спасают, тоже в чем-то нелегко.

— Но, — Аликс настаивает, — сейчас самое время.

— А по-моему, нет, — говорит Лайл и более решительно разворачивает ее к двери.

— Мама, — произносит Аликс.

Как знакомо: маленькая Аликс, споткнувшаяся о бордюрный камень, разбившая дивные круглые коленки; Аликс постарше, упавшая с велосипеда, оцарапавшая нежный локоток и ободравшая гладкую, ровную, витаминизированную ножку; Аликс-подросток с губами, искривленными от плача — из-за отца, из-за брата, из-за себя самой.

Все эти Аликс, зовущие: «Мама».

Айла вдыхает и выдыхает, считает до десяти, еще и еще. Упражнение для начинающих? Вот и хорошо. За это нужно быть благодарной, нужно не забывать о том, что сантиметр туда, сантиметр сюда — и она могла бы сейчас не дышать? В самом деле удивительно.

— Иди с Лайлом, солнышко, — говорит она, — а я пока посчитаю вдохи. Это так хорошо, так успокаивает, правда?

Посмотрите на эту осторожную, робкую улыбку, на глаза, наполнившиеся надеждой, на благодарный трепет — такой щедрый отклик на такую малость. Как Аликс научилась надеяться, откуда узнала о тоске по чему-то?

Джейми снова склоняется к Айле:

— Прости. Я не знал, как ее остановить. Но жалко ее, да? Ты отдыхай и забудь всю эту хрень. Мы попозже придем.

Он прикасается (или делает вид, что прикасается) к ее правой руке или к чему-то, чего она не видит. Видимо, он еще не совсем понимает, как обстоит дело, что она на самом деле ничего не чувствует.

Как-то вечером, через много лет после Джеймса, уже встретив Лайла, но еще не выйдя за него

замуж, когда они, Айла, Джейми и Аликс, жили одни в доме, который она для них сняла, после ужина, к которому дети едва притронулись, Айла загружала в посудомоечную машину тарелки, и вдруг Аликс с воем скатилась с лестницы, ворвалась на кухню, рухнула на стул и уронила голову на руки.

Потому что наткнулась в ванной на Джейми со шприцем в руке, с кровавым следом на том месте, куда он попытался уколоться, но не сумел. Айла возилась с посудой, а Джейми в это время возился со шприцем. Так мало она знала тогда, так далека была от всего. Айла услышала, как он заорал: «Пошла на хер отсюда!» — уронила тарелку. И вот уже Аликс рыдает за кухонным столом.

Разбитая тарелка, рыдающая Аликс, Джейми наверху, воткнувший иголку в вену. Айла позвонила Лайлу. Тогда, наверное, она впервые позвала его на помощь. И он пришел.

К рассвету он обзвонил кучу всяких мест, уложил Джейми на заднее сиденье своей машины и умчал в частный реабилитационный центр. К рассвету Аликс наконец заснула в своей комнате, а Айла упала на диван в гостиной. Может быть, не нужно было спать. Может быть, нужно было разбудить Аликс, говорить и дышать, говорить

и дышать, чтобы стало яснее что к чему. Может быть, у нее уже вошло в привычку отключаться в критический момент, пережидать его во сне. Такое случилось не в первый раз.

— Люблю, — говорит Айла, когда они уходят. Она хочет сказать: всех троих.

Лайл оборачивается, показывает ей большой палец. Он добрый, он хороший, от этого невозможно отгородиться.

Ясно одно: Аликс и Джейми совсем не такие дети, о каких мечтают матери из среднего класса, разведенные и замужние, вице-президенты и совладельцы серьезных фирм. Если женщина вроде Айлы и ждет от детей чего-то исключительного, то предполагает, что они будут исключительно хороши и умны. Такие женщины ожидают устойчивости, талантов, безопасности, уверенности, того, что естественно получается в результате их добрых намерений и не слишком наказывает их за просчеты. И уж конечно, они не думают, что вырастят детей с такими дырами в душе, что в них можно засунуть кулак.

Дышать осторожно, дышать медленно, считать вдохи.

В палату влетает медсестра. Все, кто здесь работает, вечно торопятся. Везет им.

— Вот и хорошо, что вы одна. Нужно, чтобы вы отдыхали, я вам сейчас дам лекарство, и вы поспите, хорошо?

Как будто у женщины, которая не может ни двигаться, ни чувствовать, есть выбор.

По крайней мере, уколы безболезненны. Интересно, не это ли называется «посмотреть на вещи с другой стороны», со стороны, одобренной Аликс?

Как странно было бы верить во что-то, во что угодно, так, как Аликс. Какого прыжка в неизвестность это потребует? По работе Айла много читала о теории убеждения, но все это применимо только к методам воздействия, не к вере. Вера — это совсем другое. Вера ей непонятна.

Хорошо, а надежда?

А сон? Перед глазами у нее все плывет, странный, но приятный, уютный покой обволакивает все мысли, проносящиеся в ее голове. Может быть, и с Джейми было так в те ужасные годы. Только он худел и зверел, трясся и дрожал от яростного желания успокоиться. Айла, смутно понимающая, как легко от этого становится, как спокойно, насколько защищенным себя чувствуешь и насколько может не хотеться выходить из этого состояния, думает, что Джейми все же

был отважен и очень силен, раз выбрался. Нужно будет не забыть спросить его об этом. Она думает: «Как хорошо, неудивительно, что ему это так нравилось», — и снова тихо соскальзывает в темноту.

Нужно выкручиваться

Родди поверить не может, что плакал. При людях. При мужчинах. Он не плакал с тех пор, как ему рассказали про маму, а тогда да, плакал, но в своей комнате, один. Отчасти о ней, о той, которую помнил, но больше о том, что теперь уже поздно: ей найти его, ему найти ее, поговорить, что-то сказать друг другу. Чтобы ей стало лучше, чтобы она была в конце концов счастлива. Все это уже невозможно.

Он, наверное, плакал, когда был маленький. Когда была мама, как все маленькие плачут. А потом иногда у бабушки, но больше из-за того, что, например, падал с велосипеда, как тогда, когда руку разбил, перелетев через бордюрный камень. Но не от расстройства. И уж конечно, не при мужчинах, вроде директора школы или даже Майка — особенно Майка. И не при отце. Отцу было бы неловко, он бы не знал, что делать, что сказать, увидев Родди в слезах.

А сейчас он так опозорился перед двумя полицейскими и адвокатом. Как ребенок. А он же, блин, вооруженный грабитель, это понимать

надо!

«Я — вооруженный грабитель», — говорит он себе, думая, что это придаст ему сил и заставит распрямить спину; но вооруженный грабитель — это куда больше того, к чему он стремился. Вот об этом он тоже не думал раньше, о словах. Они такие серьезные и большие, а он и не серьезный, и не большой.

Майк — тот большой, и говорил он очень серьезно, когда все затевалось, да, но и Родди тогда тоже был серьезным, но ни один из них не думал, что все выйдет настолько серьезно. Родди здесь. Эта женщина. И Майк — где он?

— Твой дружок, — говорит старший полицейский, как будто слышит, что Родди думает, — и сообщник, если хочешь знать, тоже здесь, в другой комнате. И если хочешь знать, он говорит, что никакого отношения ко всему этому не имеет, что это все твоя идея, ты облажался. Что ты по этому поводу думаешь?

Родди думает: «Нет». И еще: «Неужели правда?»

Майк всегда был его другом. Как-то в прошлом году их даже подразнить решили из-за этого.

«Гомики», — сказал один парень, у которого отец служил в армии и только что вышел в от-

ставку, и они переехали в город с военной базы. Тот парень вырос на военных базах. Может, поэтому стал таким кретином. С ними почти никто не связывался, особенно с Майком, такой он был здоровый, но и с Родди тоже, он, если надо, бил снизу, бил больно. Майк начал становиться просто здоровенным, не только высоким, но и крепким, лет в четырнадцать, а Родди к тому времени уже понял, что недостаток роста нужно восполнять быстротой, так что они были командой. Майк развернулся и врезал тому парню, четко, правой. А когда тот поднялся, Родди ударил его головой в живот. Родди и Майк стукнулись кулаками в воздухе. Потому что они никакие не гомики, они друзья, правильно этот полицейский сказал, хотя он и не то имел в виду.

Они друг за друга стеной. Они кое-что повидали.

Их обоих исключили. На две недели.

«Научись просто не обращать внимания на таких, — сказала бабушка. — Просто не отвечай. Уходи».

Но она не понимала, что говорит. Если он просто уйдет, его по стене размажут. Майк сказал, что его родители говорят, что запретят ему общаться с Родди. Можно подумать, сказал Майк, они могут

решать, кому с кем общаться.

Когда они были помладше, все в их семьях только и говорили, как здорово, что они друзья, и как здорово, что им есть с кем общаться. Никто не был против, все думали, что все в порядке, что они друг за другом присмотрят, и никто не волновался, когда они уходили побродить, шатались по окрестным дорогам, собирали пивные бутылки, чтобы сдать, или даже находили мертвых птиц, которых потом приносили домой, копались в них, разрезали на части и хоронили.

Неужели Майк и правда сейчас здесь, в другой комнате, говорит полицейским, что он ни в чем не виноват, и это все Родди, а он тут ни при чем? Они так и планировали, что он как будто не имеет к этому отношения, но предполагалось, что он скажет, что это был незнакомый мужик с татуировкой на руке и родимым пятном на тыльной стороне ладони. Про Родди речи не должно было быть, с чего бы.

«Они будут меня проверять, — сказал Майк, и Родди кивнул. Они видели по телевизору и в кино, как это делается. — Но зацепить не смогут. Подозревать, наверное, будут какое-то время, но ничего не докажут».

А Родди и след простынет, деньги будут под

кроватью, ружье — снова в сейфе в подвале.

«А то, что мы друзья? — спросил Родди. — Если они тебя будут проверять, может, и меня тоже?»

«Ну и что? Пускай проверяют. Приедут к тебе, а ты зеваешь, только встал».

Родди по сценарию полагалось, услышав, в чем дело, разволноваться, спрашивать про Майка, он же его друг: что с ним, не ранили его, как он, вообще?

«Ничего особенного. Просто говори то, что сказал бы, если бы все так и было на самом деле».

Это они тоже отрепетировали, Майк играл полицейского, Родди изображал, как он переживает за друга.

И все впустую. Теперь нужно выкручиваться, как сумеешь.

Они вместе дрались, плавали, катались на велосипедах, курили, ходили в кино и на танцы и, если на то пошло, воровали в магазинах. В основном CD. И книжки о природе, с фотографиями крохотных прекрасных существ, для Родди. Они и с другими общались, но на самом деле всегда были вдвоем. Может, это объяснялось тем, что Майк и его мать первыми пришли в гости, когда Родди с отцом переехали к бабушке, но это уже неважно. Просто так случилось. Случается, как

теперь понимает Родди, и хорошее, и плохое.

Но в то, что Майк его сдал, поверить трудно.

Если Майк его сдал, это значит, никому верить нельзя. Тогда нужно будет ко всему относиться не так, как раньше.

Но это, наверное, в любом случае придется сделать.

Когда они с отцом переехали сюда и Майк с матерью пришли в гости, почему Майк захотел с ним дружить? Как это получилось, что у него до этого не было друзей? Родди знает, почему он захотел дружить с Майком, но почему и тот тоже?

— Ну так что ты по этому поводу думаешь? — спрашивает тот полицейский, который пониже. — Твой дружок говорит, что это все ты, а он в шоке, как и все остальные. Знаешь, что он говорит? Что он ужас как расстроен, потому что ты воспользовался тем, что он там работает. И ты знал про деньги, потому что он тебе об этом сам сказал, как другу. А еще, к слову, что это он отнял у тебя ружье. Что, кстати, подтверждает муж той женщины, в которую ты выстрелил.

Майк правда забрал ружье, Родди помнит, как он вынул его у него из рук. Но все было не так, как говорят полицейские, как будто они за него боролись, как будто Майк такой смелый.

Женщина, в которую ты выстрелил.

Вооруженный грабитель — это еще не все, есть слова похуже.

И ее глаза. И кровь.

И тот мужик в дверях. Наверное, ее муж, который видел, как Майк забрал ружье.

Даже завернувшись в колючее одеяло в красночерную полоску, которое они ему дали, он все равно дрожит.

То, что, по словам полицейских, сказал Майк, мог сказать только тот, кто изо всех сил старается выкрутиться: что Родди им воспользовался, что он в шоке, как все.

Они не отрепетировали, как быть, если их поймают, вот в чем беда. Они не думали, что их могут поймать. Но в том, чтобы Майку свалить все на Родди, как ни страшно, есть смысл. Потому что Родди уже в дерьме по уши, а Майк может спастись.

Он пожимает плечами и говорит:

— Ну и ладно.

Тот полицейский, что помоложе, багровеет и бьет кулаком по столу между ними. Родди и его адвокат вздрагивают. Он знает, как они поступают, плохой полицейский, хороший полицейский, все знают, но разве можно нарочно так покрас-

неть?

— Ах ты урод, что значит «ну и ладно»? Ты в таком дерьме, что и представить себе не можешь, так что никаких мне тут «ну и ладно», мразь.

— Эй, полегче, — говорит адвокат Родди. — Вы не имеете права так с ним разговаривать.

— Имею, мать его. Слушай, ты знаешь, сколько денег ты бы взял? — И он наклоняется над столом, кожа у него на шее натягивается, и жилка стучит, и вряд ли так бывает, если по-настоящему не разозлишься. — Триста сорок два доллара. Это, конечно, куча попкорна и пива для такого урода, но ты за триста сорок два доллара, которые так и не получил, застрелил человека. Что скажешь?

Майк говорил, там будет пара тысяч, может, и больше. В чем дело?

— Ты, наверное, не знал, но Дорин позвонила и велела другому продавцу отнести всю выручку, какая была в коробке, в банк. Не так, как в прошлом году, понял? Не так, как тебе рассказывал твой дружок, когда вы, двое, все это затевали?

Родди смотрит себе под ноги. Ему нечего сказать.

Конечно, полицейский зовет ее Дорин. В этом городе все друг друга знают. Может, из-за этого они с Майком так и хотели уехать: жить, чтобы

никто не знал. Даже что-нибудь хорошее страшно достает. Какая-нибудь тетка останавливает его в магазине и говорит что-то вроде: «Бабушка говорит, ты хорошо учишься». Вот это их с Майком просто бесит. Или какой-нибудь мужик из ее церкви проходит мимо на улице и говорит: «Ну и прическа у тебя, парень».

Как будто кого-то касается, что Родди носит ежик, сквозь который кожа просвечивает. Крутая прическа. Клевая. Вроде с ним шутки плохи. Где-нибудь в другом месте люди посмотрят, но ничего не скажут, потому что не знают его. И папу его, и бабушку тоже не знают. Он будет свободен. И Майк тоже. Майк говорит, за ними в магазинах приглядывают, как будто знают, что они отвлекают внимание, когда воруют, но ничего не делают, просто смотрят.

Да и не брали они ничего большого и дорогого, ни одежды, ничего, что им и так покупают. Так, мелочи, и еще пару раз таскали деньги из кошельков, которые всякие богатые девчонки бросают в школе где попало. Немного денег, ничего страшного, хотя и хорошего, наверное, было бы мало, если бы их застукали. Но их не застукали, хотя директор их вызывал по одному и звонил родителям, сообщить, что могут быть проблемы.

Родди сказал бабушке и отцу:

«Не знаю я, с чего они взяли, что это мы. Мистер Догерти вообще козел, и мы ему не нравимся, и те девчонки, у которых украли деньги, богатые, а мы нет, вот он и решил, что может нас обвинять».

Богатых никто не любит. Всем на них наплевать. Майк сказал:

«Непохоже, что им стало хуже», — имея в виду богатых девчонок и магазины тоже. Даже Дорин, не облажайся он, ничего бы не потеряла. «У нее же страховка, — сказал Майк. — Ей все вернут. Им это ничего не стоит».

Мелочи. Так, попробовать, вроде игры, ничего такого, ничего серьезного, хотя люди вроде бабушки Родди и отца отнеслись бы ко всему очень серьезно, если бы узнали. Если бы их поймали, бабушке было бы очень стыдно.

О господи, он опять забыл. Сидит здесь и все никак не поймет до конца, что произошло.

— Так, — говорит тот полицейский, что помоложе, проверяя диктофон и сурово глядя на Родди, как бы говоря: хватит дурака валять. — Теперь твоя очередь рассказывать. Начиная с полудня. Все, что ты делал. Шаг за шагом. Если съел бутерброд с ветчиной, и об этом рассказывай. В подробностях: с горчицей или без, с черным или

белым хлебом. Понял? Каждый шаг.

Они предъявили ему обвинение? Есть какая-то разница между тем, просто тебя задержали или предъявили обвинение, но он не совсем знает, в чем она, и не совсем точно помнит, что ему говорили. Но для этого, он так думает, отец и нанял адвоката, чтобы он разбирался с такими вещами; только когда Родди на него смотрит, пытаясь получить какую-то подсказку, что делать, тот просто кивает. Серьезный дядька, немолодой, худой, не очень хорошо пострижен. Не выглядит он преуспевающим, вот что думает Родди.

И не выглядит счастливым оттого, что Родди — его клиент. Сочувствующим не выглядит. Непохоже, что Родди ему нравится и что ему вообще есть дело до того, что с ним будет.

Блин, если его адвокат так себя ведет, то что говорить об остальных? Он в этом городе больше на улицу выйти не сможет. Все будут шептаться, глазеть, будут как этот коп, который его уродом зовет. Бояться будут. *Вооруженный грабитель.*

Опять он забыл. Можно подумать, он будет и дальше ходить по городу. Это бабушке придется, и отцу тоже.

И Майку?

Ладно, он им расскажет шаг за шагом, что сего-

дня делал. Когда доберется до ужина, до того, как быстро поел, встал из-за стола и поднялся в свою комнату, что-нибудь придумает, как он попал из комнаты сразу в поле, не заходя в «Кафе Голди». Что они могут доказать?

Да, наверное, все. Кроме Майка есть тот мужик в дверях. Муж.

Может, и та женщина. Господи, он надеется, что и она.

Он озирается по сторонам, видит только мужчин, серые стены и яркий свет. Выхода нет, отсюда не выбраться. Трое мужчин напрягаются. Он чувствует, как их мышцы заполняют все больше места в комнате.

Думай. Думай.

Ладно, думает он, пошло бы оно.

Пошло бы оно, и все. Плевать, что там говорит Майк, нет никаких причин топить еще кого-то в дерьме, Родди не сволочь. Ему очень хочется не быть сволочью, что-то говорит ему, пусть только ему, что он не совсем сволочь.

Такое впечатление, что он не один, а два или три человека. Один смотрит на все как будто сверху, из угла или сбоку, другой сидит на жестком металлическом стуле посреди комнаты.

Тот, кому повезло, как они и планировали,

спит у себя в комнате, ему тепло, хорошо и не страшно.

— Рассказывай, — говорит тот полицейский, что постарше.

— Ты не обязан, — говорит адвокат, хотя до этого кивал, похоже, он тоже хочет, чтобы Родди заговорил. Уже поздно. Ему, наверное, домой хочется.

Ладно, выхода нет. Молчать можно до посинения, это не поможет. И он начинает. Ему кажется, что он говорит понятно, по порядку рассказывает, что случилось за день, шаг за шагом. Он внимательно следит за тем, чтобы не сказать лишнего, но ему кажется, что это не он говорит. Его собственный голос слегка жужжит у него в ушах. Он как пьяный, только это страшнее. Пьяный, он обычно хочет спать, а сейчас он не спит, просто он разделился на того, кто говорит, и того, кто слушает. И еще одного, которого не поймали. Странно.

Может, он с ума сошел.

Может, нужно было с моста спрыгнуть.

Сейчас уже поздно.

Он даже рассказывает, что у них было на ужин: была свиная отбивная с картофельным пюре и горошком. Время от времени один из полицей-

ских прерывает его и спрашивает:

— В котором часу это было?

Или:

— Когда ты выбросил ружье из окна своей комнаты, откуда ты знал, что тебя никто не видит?

Или еще:

— За какой куст ты зашел, чтобы спрятать ружье в штанину?

Но в основном он просто рассказывает.

Нужно быть осторожнее, когда доберешься до кладовки в «Кафе Голди». Например, нельзя говорить о том, что он просвистел мотив из «Хорошего, плохого, злого», нужно сказать, что Майк сначала ему обрадовался, думал, что он просто так заглянул, а потом испугался, увидев ружье. Нужно так все рассказать, как будто Майк на самом деле мог его испугаться.

— Я не знаю, что он подумал. Но похоже, он боялся, что я в него правда выстрелю.

— А ты бы выстрелил?

Родди чувствует, что пожимает плечами.

— Не знаю.

— Он сам хотел отдать тебе деньги?

— Не знаю. До этого не дошло. Я просто видел, что он расстроен.

Это, как ему кажется, лучшее, что он может сде-

лать для Майка. Интересно, а что Майк для него делает? Хотя что он может сделать? Даже если бы он хотел, Родди ему все равно не вытащить.

Просто интересно, насколько Майк этого хочет.

— А потом?

Он видит, как расширяются глаза Майка, и тут же слышит, как открывается дверь. Он снова поворачивается. Слышит колокольчик, видит лицо женщины, с которого страх стер всякое выражение. Видит синий костюм, помятый на бедрах. Она поворачивается, а его руки, переставшие быть частью тела, не подчиняющиеся мозгу, поднимают ружье. Палец предательски напрягается.

— Я не хотел, — кричит он. — Это случайно.

Случайно не совсем верное слово. Он просто не может найти нужное. Просто:

— Нет, правда, так не должно было получиться. Она меня напугала, я просто дернулся. Я даже стрелять не умею по-настоящему. Я не знал. Я не хотел.

Он слышит, что его голос звучит все громче и громче. Если заставить их услышать, если докричаться до них, они не смогут не понять, что он ни в чем не виноват, что это не считается. Они смотрят на него так, как будто думают: «Ну ты и

дурак». А он не дурак! Они что, никогда нечаянно не делали ничего ужасного? Неужели у них никогда не бывало так, что они чего-то отчаянно не хотели, а оно все равно случалось, и ничего нельзя было исправить или вернуть обратно?

— Ладно, — большой коп поднимается так резко, что стул отъезжает назад. — Хватит.

Родди переводит взгляд с одного лица на другое. Его адвокат и другой коп тоже встают, но медленнее. Похоже, никто не замечает, что Родди не понимает, в чем дело.

— Что? — спрашивает он.

— Что? — говорит адвокат. — А, тебя отправляют в камеру. Увидимся утром, в суде. Я поговорю с твоими о залоге, но особо надеяться не советую. С таким обвинением шансы невелики.

Когда Родди был помладше, они с бабушкой и отцом часто сидели на диване, смотрели телевизор и ели попкорн. Он сидел между ними, сжатый их боками. Бабушка время от времени похлопывала его по коленке или подталкивала локтем в бок, если ей казалось, что показывают что-то смешное или интересное. Он сидел в пижаме. Он обо всем этом долго не вспоминал. Может, не так часто это и случалось, может, всего пару раз, просто запомнилось. Но было так приятно

втискиваться между ними, это он точно помнит.

Он бы все теперь сделал по-другому, почти все.

Может быть, мама видела будущее. Может, когда с ней все было в порядке или когда ей было так хорошо, как только могло быть, она смотрела вперед и видела перемены к худшему, видела, как все хорошее искажается и разваливается. И, не дожидаясь этого, прыгнула.

— Обвинение? — выговаривает он.

— Вооруженное ограбление, — рявкает полицейский поменьше. — Покушение на убийство. Мы тебе это с самого начала сказали.

Да? Наверное, и правда сказали.

— Ты этого не помнишь? — спрашивает адвокат, как будто ему на самом деле интересно.

Родди пожимает плечами. Адвокат вздыхает. Один из полицейских тянет Родди за руку. Родди пытается высвободиться. Полицейский усиливает хватку, и все снова напрягаются, опять расширяются мышцы.

Они не так поняли. Они думают, что он опасен.

Но во всем этом было и нечто хорошее: там не просто *убийство,* а *покушение на убийство.*

Женщина в синем костюме, в крови, жива. Он никого не убил. Он упал бы обратно на стул, таким слабым и текучим становится все его тело, если

бы его не тянула вверх крепкая жесткая рука.

— Пошли.

— А можно, — спрашивает адвокат, — его семье с ним увидеться прежде, чем вы его уведете?

— Увидятся утром в суде. Туда же могут принести все, что ему нужно. Вы знаете, как это делается.

Он даже благодарен, что сейчас их не увидит. Когда-нибудь придется, но хотя бы не сегодня.

— Не забывайте, он несовершеннолетний, — говорит адвокат предупреждающим тоном.

— Не волнуйтесь. Мы, мать его, не забудем.

С таким отвращением. Это нелегко.

В коридоре Родди озирается по сторонам, заглядывает в двери, ища Майка, но его нет. Может быть, он уже дома. Может быть, он выкрутился.

С помощью Родди. Может, Родди и вооруженный грабитель, и даже покушался на убийство, но он не предатель. Об этом никому нельзя рассказывать, и по сравнению со всем остальным это не так и много, но он думает, что это в любом случае хорошо.

Казаки-разбойники

Было время, давным-давно, когда Айла всего дважды сталкивалась с полицией: однажды, когда ее остановили за превышение скорости, и еще, когда она не совсем затормозила под знаком. Невинные были времена. Лица полицейских, с которыми она общалась, были если и не дружелюбными, то не враждебными, не тревожно-пустыми. Сегодня полицейские, пришедшие к ней, ведут себя — как бы это получше сказать? — деловито, но с сочувствием. В глазах у них сострадательная жалость, в голосе звучат человеческие нотки. Как будто они пытаются ей таким образом показать, что они на ее стороне. И это с их стороны мило. Ей не за что на них сердиться, хотя они и не выполнили того, в чем, в общем-то, и заключается их работа: не дать никого застрелить.

Глядя вверх, она видит волоски в ноздрях одного из полицейских, шевелящиеся при дыхании.

— Мы задержали подозреваемого, — говорит он. — Он пытался скрыться, но по-глупому и далеко не у шел. Мы предъявили ему обвинение в

покушении на убийство и вооруженном ограблении, и он во всем сознался, по крайней мере в том, что касается его участия. Продавец в «Кафе Голди» — его приятель, и у нас есть серьезное подозрение, что он тоже замешан, но пока этот парень его не сдает. Но мы просто хотели, чтобы вы знали, что тот, кто в вас стрелял, задержан, и бояться нечего.

Ей или ему нечего бояться?

Покушение на убийство. Да, наверное. Непохоже было, что он на что-то покушался, но нельзя предъявить обвинение в стрельбе от испуга, неожиданности и растерянности. В глазах у того парня, как теперь вспоминает Айла, были ярость и ужас — нехорошее сочетание. Наверное, хорошо, что его поймали, упрятали в тюрьму, что он ничего больше не натворит. Но все это слишком удобно. Она бы предпочла долгую, более опасную, пугающую и грозную погоню.

— Какой он? — спрашивает она и замечает, как они переглядываются, двое мужчин в синих формах, со всеми этими значками и ремнями.

Тот, что постарше и повыше, неопределенно пожимает плечами. Бугай, вот как таких называют. Есть люди, которые, как ей кажется, неплохо бы смотрелись на прилавке мясника: разделан-

ные на бочок, филе и отбивные. Этот — сочный. Много замечательного мяса с прослойками жира. Не то что тот парень, тощий, кожа да кости.

— У него уже были неприятности, — говорит большой полицейский. — Кое в чем его подозревали, подворовывал, в магазинах воровал, дрался, всякое такое. Правда, ни в чем его не обвиняли, и ничего серьезного он не натворил. Ничего, что давало бы основания ждать от него чего-то вроде этого.

Ей тоже так казалось, когда она видела, как он слоняется по городу с друзьями. Просто мальчишка, у которого на уме ничего особенного и ничего плохого тоже.

— По-моему, он, как бы это сказать, *удивлен.* Тем, насколько плохо все сложилось. Тем, как серьезно для него все обернулось.

Интересно, а он понимает, как удивлена Айла? Как плохо все сложилось для нее, как серьезно все обернулось?

— Сколько ему?

— Семнадцать. Что-то случилось с матерью, они с отцом переехали к бабушке. Они от него ничего такого тоже не ждали.

Айла знает, как это бывает. Иногда кто-то слишком близок к тебе, так близок, что расплывается

перед глазами. И начинаешь додумывать и, возможно, теряешь осмотрительность. И в результате — то, чего не ждешь.

— Он, в общем, почти во всем сознался, так что нам скорее всего не придется вас тревожить. Просто мы хотели, чтобы вы знали, что парня задержали, дело сомнений не вызывает, так что можете не волноваться из-за этого, просто постарайтесь поскорее поправиться.

Он немного смущен; возможно, понимает, что многие слова, например *волноваться*, теперь к ней неприменимы и выходят за пределы ее возможностей. Теперь все мучаются со словами, обнаруживая (иногда слишком поздно), что глаголы, обозначающие действие, пусть даже приглушенное действие, как *волноваться* или *стараться*, использовать нельзя. Ей уже приходилось бывать в ситуациях, когда окружающие не знали, какие слова можно безопасно употреблять. Если точнее, то Джеймс заставил всех замолчать, по крайней мере вокруг нее.

Что хуже — та беда или эта? Нет, это все равно что выбирать: апельсины или яблоки. Если бы стреляли в Джеймса, а не в нее, были бы, наверное, яблоки и яблоки.

— Спасибо, — говорит она полицейским, — что

пришли.

— Да, мы вас будем держать в курсе дела. И — удачи.

В семнадцать все такие глупые. Едва угадывают вдали уступы и обрывы причинно-следственных связей. Совершенно не ощущают близость смерти, даже когда, как у Айлы, отец умирает почти у них на глазах. Если думают о надежде, то она расплывчато-розовая. В семнадцать все безжалостны. Остальной мир просто не существует. Некоторые взрослеют и перерастают это, некоторые нет. Сейчас она сама, как семнадцатилетняя, больше всего занята собой, и ей нет дела до кого-либо еще.

Хотя этот парнишка, который попался и признался, и сейчас, наверное, сидит там, в шоке от того, что произошло, — вот он ей интересен. Какое-то воспоминание. Какая-то связь, если и не привязанность.

Траекторию пули едва ли можно счесть привязанностью.

Когда Айле исполнилось семнадцать, отец уже умер. Медленно, мучительно, всего в сорок пять лет, слишком молодой. Айла, которой в то время было только пятнадцать и шестнадцать, не переживавшая прежде ни расставаний, ни тем более

потерь, с тупым интересом следила за тем, что происходило. Оно ползло и ползло. Симптомы и состояния накладывались друг на друга, перекрывали друг друга. Айла старалась не верить. Ей казалось, как может казаться запутавшемуся, невежественному подростку, что, отказываясь нечто принимать, она это предотвращает, отгораживается от этого.

Конечно, она ошибалась.

Отец начал временами присаживаться и кашлять. Потом он стал кашлять так сильно, что выкашливал кусочки себя самого в салфетки, которые постоянно носил с собой. Потом он перестал ходить на работу и целыми днями лежал в постели. Иногда он задыхался, и глаза у него делались огромными и безумными. Но все равно, когда ее усадили на родительскую кровать и сказали, что ему пора в больницу, это было неожиданно. Они не ожидали, что для нее это будет неожиданностью. Она не понимала, что значит *пора.* Он взял ее за руку, рука у него была худая и хрупкая. Она очень многого не могла толком понять.

После школы она чаще всего шла к нему в больницу и видела, как ему все реже удается улыбнуться, заговорить или даже приподняться,

а потом все пропало в наркотическом тумане. И конце концов ее вызвали из класса в кабинет директора. Там ее ждала мама. Она обняла Айлу и сказала:

— Прости, лапонька. Папа умер. У него был сердечный приступ. Мы такого не ожидали. Мы думали, что у него только это, что еще есть время.

Это означало рак.

— Что? — Айла вырвалась из рук Мэдилейн, потому что о чем та думала? Почему никто не сказал: «Смотри, вот что произойдет. Смотри. Смотри. Смотри».

Может быть, кто-нибудь и говорил.

— Все случилось сразу, — сказала Мэдилейн. Она, конечно, плакала, но еще она довольно скоро как-то посветлела, как будто избавилась от невыносимой тяжести. Это Айлу тоже потрясло.

Но, слушая, как мама плачет ночами, Айла понимала, что не так много знала о своих родителях. Об их собственной жизни, о той, что была только для них двоих. Это для нее было ново.

Его смерть была как фокус, где неуловимым движением кистей выдергивают скатерть из-под тарелок и столовых приборов, которые, звякнув, остаются почти на том же месте. Хотя она знала,

что все было на самом деле совсем иначе. Она знала, что это не было внезапно, что она одна была так изумлена случившимся.

На жизнь нельзя полагаться. Это было сложно усвоить, и она какое-то время ходила с каменным лицом, отстраненная и холодная. Ей никак не удавалось осознать невосполнимость потери, но сделать это было нужно.

И маме тоже.

— Жизнь продолжается, — в конце концов сказала Мэдилейн. Она постарела и похудела. — Должна продолжаться. Выбора нет.

И вот она уже работает в магазине женской одежды, продает платья и блузки, свитера и брюки, шарфы и бюстгальтеры. А потом, через год или около того, глядя на семнадцатилетнюю Айлу за воскресным ужином, через стол, накрытый только для них двоих, она сказала с изумленным, почти счастливым лицом:

— Знаешь, а мне это нравится. Правда, нравится целый день быть с людьми, помогать им подбирать что-нибудь, в чем они хорошо выглядят, или, — она рассмеялась, — хотя бы не так ужасно. Нравится, когда рассказывают, по какому поводу покупают обновку: к свадьбе, к конференции, получив новую работу, для первого свидания,

нравится наблюдать, как они смотрятся в зеркало, решая, что выбрать.

Она и сама похорошела. Каждую неделю делала прическу, снова начала красить ногти. Подружилась в клубе игроков в бридж, куда недавно записалась, со славным мужчиной по имени Берт.

То, что жизнь продолжалась, было правдой и казалось неверностью со стороны мамы и Айлы. Оставались пустоты и провалы, утраченные привычки и обыкновения, несбывшиеся объятия, истории, звуки и мгновения, от которых сложно оправиться, но у Айлы были еще и уроки, экзамены, танцы, друзья. В семнадцать она начала подрабатывать в магазине канцелярских принадлежностей, которым владел отец Джеймса, хотя тогда она не знала, что главным в нем было то, что он — отец Джеймса.

Она продавала ручки, блокноты, скрепки, папки и разные школьные принадлежности, вроде ранцев с героями мультяшек для малышей. Ей стало нравиться прикасаться к бумаге, к пластиковым папкам, к блокнотам. Она продолжала там подрабатывать, когда поступила в университет, во время невнятной учебы, готовясь к невнятной карьере. В будущем, сказала ей мама, а уж мама

точно знала, ей придется рассчитывать только на себя, к этому нужно готовиться. Отвечать за себя.

Айла это понимала. Она ждала, ей казалось, что что-нибудь появится в аудитории, во время неожиданного собеседования, что-нибудь увлекательное и интересное, чем можно заняться. Мир, в котором жил ее отец, истории, которые он рассказывал, ей были интересны слова, все, что связано со словами, но она вполне могла подождать, что из этого выйдет. Но еще она понимала, что, как и говорила мама, нельзя терять время, и ей хотелось поскорее начать свою настоящую, свободную жизнь.

— Мы с папой, наверное, в чем-то поступали бы иначе, если бы знали, как немного времени нам отпущено, — сказала Мэдилейн. Она упомянула о более далеких, более интересных путешествиях, о большем внимании к повседневным мелочам. — Цени то, что есть, — посоветовала она, и Айла подумала, что, в общем, так и делает.

Айла работала в магазине по субботам. И как-то в субботу и навсегда появился Джеймс.

Он учился в университете на другом побережье, изучал бизнес. Он вернулся домой нахальным и нахватанным выпускником. Он был худым и носил на работу костюмы, плотно облегавшие

его тело. Айла никогда раньше не замечала привлекательности и красоты в костюмах, но теперь заметила. Он был старше ее на пять лет и двигался в своих костюмах по магазину, как медленный, опасный поток. Когда он пригласил ее на свидание, это даже не было просьбой. Он сказал:

— Я хотел бы поужинать с тобой в пятницу.

Они пошли в ресторан с белыми льняными скатертями, услужливыми официантами и уютными столиками, на которых горели свечи в стеклянных светильниках: *серьезный* ресторан, подумала она. Он говорил о том, какие у него планы относительно отцовского бизнеса, и высказывал он их не как надежды или намерения, а именно как планы. Такая уверенность ее потрясла, и когда он спросил:

— А ты чем собираешься заниматься? — она смутилась от неопределенности своих планов.

Она пожала плечами, ощутив тонкую, почти прозрачную ткань нового платья. Платье ей купила Мэдилейн, у которой была скидка в магазине, где она работала. В основном там продавали дорогую одежду для женщин среднего возраста, но иногда попадались симпатичные вещи для молодых, вроде этого платья, бледно-голубого, без пояса, с мелкими желтоватыми цветочками.

— Пока не знаю. Мне, в общем, нравятся слова, и то, как их можно использовать.

Ни он, ни она, скорее всего, не понимали, что она хотела сказать, хотя правда в этом была. Возможно, ни его, ни ее это особенно и не интересовало.

Известно, что власть возбуждает. Даже скромная власть Джеймса в бизнесе была велика для девушки, для молодой женщины, которая всего лишь работала в магазине. И потом у него был подбородок, который можно было гладить, как кошачий, густые темные волосы, глубокие глаза и длинные, длинные бедра. Она изумлялась тому, какой он разный, как ни в чем не знает меры. Его внимание к ней не ограничивалось серьезным, напряженным интересом, но охватывало и его бледный рельефный торс, и эти длинные бедра, его всего. И она нравилась ему, это так сказывалось в явном наслаждении, с которым он прикасался и тянулся к ней, гладил ее.

— Ты красивая, — говорил он ей, и казалось, что, когда он на нее смотрит, она на самом деле красивая, не просто хорошенькая, не всего лишь привлекательная. Она считала эту похвалу, это сильное желание чем-то совершенно иным, нежели то, что случалось с ней до сих пор, чем-то

несокрушимо взрослым. Когда он прикасался к ней, это было так по-настоящему.

Жизнь коротка. Любовь бесценна.

Пока Айла продолжала свой медленный путь к диплому и какому-нибудь будущему, Джеймс следовал своим, довольно быстрым путем. Он скорее сразу, чем постепенно, оттеснил отца от дел бизнеса. Мир офисов стремительно менялся. Джеймс это понимал и доказывал, что отец не понимает, не может понять, что только молодые могут идти в ногу с переменами. Этот захват власти в компании не показался ему жестоким, не показался он особенно жестоким и Айле, так было нужно, так сказал Джеймс. Она была на его стороне и по убеждению, и тогда еще по любви.

Отцу Джеймса это, конечно же, показалось жестоким, и он отказался принимать Джеймса у себя дома, матери, возможно, тоже, она переживала, желая счастья и мужу, и сыну и, не исключено, волнуясь за свою безопасность в материальном отношении. Некоторые из прежних партнеров и друзей, старый поставщик и банкир, обидевшись за отца Джеймса, чинили всякие препятствия, но Джеймс сказал:

— Пройдет. Просто пока буду осторожнее.

И еще он сказал:

— Старик смирится, он увидит, что я был прав, — казалось, его не волнует, что родители не хотят его видеть. Он был прав, они смирились. Или не смирились, но хотя бы пережили. На свадьбе Айлы и Джеймса друг Мэдилейн, Берг, радостно вел ее к алтарю, и родители Джеймса тоже были. Его мать плакала, как и Мэдилейн. Это для матерей в порядке вещей. На приеме отец Джеймса пожал сыну руку и положил руку на плечо Айлы:

— Счастья вам, молодые, — сказал он.

Она была молода. Она была невероятно счастлива выйти замуж за Джеймса.

А когда появился Джейми, она чуть с ума не сошла. Эта кожа! Эти крохотные, округленные, работающие губки! Эти шелковистые, мягкие, темные волосы! Семья снова собралась, объединенная магией Джейми.

— Чем ты займешься, когда он подрастет? — спросила Мэдилейн, для которой Айла всегда была важнее, чем семья Айлы.

Айла пожала плечами.

— Может, рекламой, — сказала она, чтобы хоть что-нибудь сказать, но чувствовала она себя все еще слишком молодой и ни к чему не готовой. Правда, она смотрела телевизор и читала жур-

налы, обращая больше внимания на рекламу, чем на программы и статьи. Ей была интересна структура, дизайн, способы привлечь клиента; как можно рассмешить, растрогать аудиторию, обратиться к ней просто и по-деловому. Ей казалось, что она продолжает как-то бессистемно учиться, готовиться к какому-то будущему за пределами собственного дома.

Дом их был выстроен из кирпича с шоколадного цвета наличниками вокруг окон и дверей, красивым садом и тенистыми деревьями. Для такой молодой семьи они удивительно удачно от всего отстранились. Некоторые называли это по-другому — «хорошо устроились». Походы по магазинам, иногда с Джеймсом, поиски нужной мебели, выбор ваз, свечей, ковриков, статуэток и других мелочей — все это было похоже на игру в дом. Казалось, они что-то создают вместе, в добавление к Джейми. Возвращаясь из супермаркета с покупками в машине, с Джейми, пристегнутым ремнем, въезжая на мощенную кирпичом дорожку к гаражу, Айла иногда думала, что дом похож на необычайно привлекательную крепость, идеально защищающую от всего неприятного, угнетающего, от того, что приносит несчастье и боль.

Бизнес Джеймса процветал. Он гораздо быстрее, чем это удалось бы его отцу, продвигался на рынке компьютеров, нового программного обеспечения, добиваясь контрактов на поставки в школы и офисы с решительностью, о которой отец и мечтать не мог. Он по-прежнему носил свои облегающие костюмы, но перестал двигаться плавно и текуче, как вода, он был слишком занят, чтобы быть красивым. Она восхищалась его умением рисковать.

«Или растешь, или умираешь», — обычно говорил он. Ему постоянно были нужны новые, большие цели. Стимулы. А сама она ждала. Ее дни были достаточно насыщенны, только иногда, когда она оставалась вдвоем с Джейми, удивительно скучны и тупы.

Когда Джеймс поворачивался к ней ночами, энергичный и целеустремленный, с доверительным и нежным взглядом, или она сама прикасалась к нему и гладила до тех пор, пока он не поворачивался, ей казалось, что это — хороший способ поговорить, если речь идет об основном предмете сделки, которым, судя по всему, была любовь. Она предполагала, что они оба понимают немой язык, на котором общаются их тела, и, конечно, не ожидала, что может ока-

заться совсем иначе.

Джейми было два года с небольшим, он уже бегал, ему уже снились кошмары, когда Айла снова забеременела. Джеймс разрабатывал план открытия небольшой торговой сети, которая тогда казалась очень большой. И его, и ее предприятия, разумеется, были отчасти рискованными и опасными, но она никак не ожидала, что он воспримет ее планы как угрозу своим.

— Бога ради, чем ты думала? С Джейми едва справляемся, куда еще одного, — ответил он, когда она ему сказала.

Он был зол и какое-то время совсем не похож на нежного мужчину, восторженного и расчувствовавшегося, каким был, когда она сказала, что у нее будет ребенок, которым оказался Джейми.

— Ты же знаешь, какое сейчас ненадежное время.

Он употребил слово «саботаж».

Ее огорчение мгновенно превратилось в обиду и тут же стало яростью.

— Я думаю, ты знаешь, почему женщины беременеют? Это уже довольно давно известно, хотя я так понимаю, было время — неандертальское, наверное, — когда причинно-следственную связь не могли установить. Так вот, это требует обоюд-

ных усилий. Одно дело два участника, ты знаешь, как это бывает.

Он посмотрел на нее так, как будто она была ему неприятна, как будто едва мог вынести ее присутствие. Она даже представить не могла, как смотрит на него сама.

Он отвел взгляд первым, отошел к бару, налил себе виски.

— Извини. Я не хотел, — сказал он без всякого чувства в голосе.

— И я.

Ей казалось, что они не просят друг у друга прощения, просто выражают сожаление, что состоялся этот неприятный разговор. Возможно, они имели в виду еще и печаль о том, что только что разрушили и подорвали нечто, на что оба полагались.

Аликс Айла рожала намного дольше, чем Джейми, пятнадцать часов, что было неожиданно, ей казалось, что должно быть наоборот. Джеймс был рядом, хотя иногда вид у него был слишком усталый, и, приходя временами в себя, она думала, что это вполне естественно: она занята, а он просто ждет, от этого очень устаешь. Когда родилась Аликс, они оба были уже без сил, но ненадолго ожили и обрадовались, увидев ее. Сморщенная

красная кожа, тонкие рыжие кудряшки! Пухленькие пальчики на руках и ножках! Зажмуренные глаза, крохотный, прожорливый рот!

— Она прелесть, — сказал Джеймс.

— Совершенство, — кивнула Айла и тут же заснула мертвым сном от усталости.

Когда у тебя больше одного ребенка, жизнь становится совсем иной. Это она обнаружила через пару месяцев. Когда только один, жизнь все еще кажется гибкой, как будто не все решения приняты, есть выбор, есть еще масса возможностей. Когда детей двое, дверь закрыта и заперта.

И это было в порядке вещей: просто пришлось принять кое-какие решения.

Джейми, как оказалось, был не так уж счастлив, что у него появилась сестра. Этого можно было ожидать, хотя Айле казалось, что она довольно долго его готовила и успокаивала. Тем не менее, когда он брался играть с пальчиками Аликс, ей приходилось следить, чтобы он не начал бить ее по щекам или не стиснул собственными маленькими ручками ее нежное горло.

«Ненавижу ее», — пару раз говорил он без обиняков. И Айла думала, что он по крайней мере честен. Но он был еще и совершенно зачарован, мог часами смотреть на Аликс, как будто она

появилась по волшебству, и он хотел понять, как это чудо случилось. И еще он иногда прикасался к ней с невероятной, серьезной нежностью.

Айла думала, что у него, как у всякого растущего человеческого существа, колоссальный запас противоречий. Он мог испытывать два-три очень сильных чувства, противоречащих друг другу, или два-три чувства противоречивых, но не столь явных, смешанных, — но он был способен к двум-трем чувствам одновременно, и Айле казалось, что этим можно гордиться.

Самой большой неожиданностью оказался Джеймс.

— Ангелочек мой, — мурлыкал он. — Лапочка моя.

Кто бы не откликнулся на такую нежность? Айла и сама бы откликнулась, и, конечно, Аликс не могла устоять.

Его торговая сеть расширялась: три, пять, восемь магазинов по всей стране. Он часто уезжал на несколько дней. Айла с некоторым удивлением обнаружила, что ей не одиноко. У нее были друзья и семья. Ей нравилось проводить время с Джейми и Аликс. Аликс очень рано начала говорить, возможно, подражая Джейми, потому что одной из первых фраз, сказанных ею, наряду

с более приятными была: «Ненавижу тебя».

Айла бывала достаточно счастлива, когда возвращался Джеймс, приносивший свежий воздух в ее мир, иногда казавшийся слишком замкнутым. Она помнила, что так же было с отцом, врывавшимся со своими историями о большом мире в их с мамой жизнь. Она надеялась, что Джейми и Аликс не будут думать, как иногда думала она о Мэдилейн, что их мама — довольно жалкое существо.

Возвращаясь домой, Джеймс читал Аликс и Джейми, если тот был рядом, но Джейми уже подрос, и у него были свои друзья. Аликс каталась на плечах Джеймса и вопила, когда он раскачивал ее на качелях или ловил у подножия горки. Он тащил домой кипы бумаги из центрального магазина, цветные карандаши и мелки из магазина школьных принадлежностей, ставшего к тому времени самостоятельным. У детей были все альбомы, карандаши и краски, о которых только можно мечтать, и Айла боялась, что они станут слишком легко к этому относиться. Джеймс наблюдал, как они рисуют, и пытался играть в крестики-нолики с Аликс. В его домашнем кабинете они играли во всякие простые игры на компьютере. Ночами Аликс лежала спокойно,

как тряпичная кукла, распластавшись на спине, раскидав руки и ноги, открыв рот, и глубоко дышала, погрузившись в самый глубокий, самый мирный и самый свободный от кошмаров сон.

Иногда Джеймс говорил об учетах, расширениях, новых товарах, многообещающих контрактах. Айле нравилось, как стремительно все меняется, как быстро нужно усваивать новые слова, такие, как *эргономика* и *вирус*, привыкать к ним и использовать их. А так ему было нечего сказать. Это она тоже понимала. Он уставал, и наверняка в его жизни было много такого, о чем она не знала, что было бы ей неинтересно, что было долго и незачем объяснять. То же было и с ее стороны: слишком много мелких, изматывающих деталей.

Иногда он приглашал обедать тех, с кем вел дела. Когда Джейми было шесть, а Аликс три, одним из этих гостей оказался Мартин Эймери.

— Вам будет о чем поговорить, — сказал Джеймс, знакомя их. — Мартин занимается рекламой, начинает собственное дело. Мы думаем, что можем помочь друг другу набрать обороты.

Мартину он объяснил:

— Моя жена всегда интересовалась рекламой. Говорила об этом даже на первом свидании.

Да? Думал ли он, что это к чему-то приведет? Нет. Он просто хотел дать им тему для разговора за столом, большего он, разумеется, не предполагал. Но ей понравился Мартин, он показался ей серьезным и энергичным человеком, с серьезными и энергичными устремлениями, чем-то похожим на Джеймса, но, поскольку Мартин был низкорослым, толстоватым и блондинистым, сходство было явно не внешним. Более того, он воспринял ее всерьез. Он позвонил на следующей неделе и предложил встретиться.

— Если вам интересно, — сказал он. — У меня тут один проект, на который вы, возможно, захотите взглянуть.

И она захотела. Дверь отворилась — теперь ей казалось, что она просто готовила плацдарм, с которого можно вести действия во внешнем мире.

Мэдилейн сказала, что Айле повезло, что она получила возможность «на тарелочке», и она была права. Кто говорит: «Нет», — когда удача падает с неба прямо к твоим ногам?

Например, Джеймс.

— Ты хочешь заняться *чем?* — спросил он, резко выпрямляясь. Дети уже спали, они с Айлой сидели вдвоем в гостиной, она на мягком диване с цветочным рисунком в пастельных тонах, он

в таком же кресле по другую сторону кофейного столика. — Когда ты это придумала?

— За ланчем. Из этого может ничего не выйти, может, у меня таланта нет, или мы не сработаемся, или я зря думаю, что мне это интересно, но я хочу чем-то заняться, и мне показалось, что это будет в самый раз.

— Кто будет сидеть с детьми?

— Дети сами все больше времени будут проводить вне дома. Просто нужно будет нанять няню на то время, пока нас с тобой не будет.

Она думала, что нужно как-то дать ему понять, что у него тоже появится больше возможностей, что не нужно будет сидеть и играть с ними. Ей казалось, что это пойдет на пользу им всем, Джеймсу не в последнюю очередь. Он намека не понял. Или проигнорировал его.

— Но если ты будешь работать на Мартина, которому я поручил все свои дела, это будет как-то нехорошо. Это уже нехорошо. Я не хочу, чтобы он думал, что я его не оставлю, если дело не пойдет. Не хочу, чтобы он думал, что у него есть какое-то преимущество. Ты не думала, почему он тобой на самом деле заинтересовался? У тебя никакого опыта работы.

— Да, я об этом думала. Мы об этом говорили.

Только она не подумала о том, как расстроится Джеймс и на что его можно будет уговорить.

— Опыта я как раз и наберусь. А буду я потом продолжать, или не буду, или вообще брошу — кто знает? Или он прогорит. По-моему, никому и в голову не приходило думать о каком-то преимуществе перед тобой. Он просто начинает работать на свой страх и риск, и я тоже, и мы вроде бы неплохо ладим, так что мы решили, что можем бояться и рисковать вместе.

Это было не очень удачно сказано, но она надеялась, что Джеймс ее поймет.

— А ты не думала, что нужно поговорить об этом со мной?

— Мы и говорим.

— Но ты уже решила, что в любом случае этим займешься?

— Не знаю насчет «любого случая», по-всякому может повернуться.

Она не сердилась и не обижалась. Ей хотелось, чтобы и Джеймс не испытывал этих чувств. Она протянула руку поверх кофейного столика и положила пальцы ему на колено.

— Слушай. Мне нужно чем-то заняться, или скоро я перестану нравиться нам обоим.

— Есть же общественная работа. Можно учить-

ся. Есть, в конце концов, другие рекламные агентства.

— Есть. — согласилась она.

Он вздохнул.

— Ясно, ты все решила и советоваться ни с кем не собираешься. Так что удачи тебе, но когда все рухнет прямо тебе на голову, не приходи ко мне плакаться.

— Не приду.

Она гордилась собой, ей казалось, что она в этой беседе проявила профессиональные качества, которые ей в дальнейшем понадобятся. На самом деле Джеймс ее разочаровал; не только тем, что был против, но еще и тем, насколько легко было с ним спорить, насколько предсказуемой была его реакция. Когда ночью в постели он стал ласкать ее грудь, они занялись любовью с непривычной страстью, почти яростью. Это ей понравилось.

И работа тоже. Начав писать маленькие рекламные объявления, она обнаружила, что у нее талант по части прилагательных: это описывали слова «незаменимый» и «проницательный». Талант к глаголам она также развивала, хотя глаголы в рекламе оказались не так важны, по крайней мере в печатной рекламе, без них можно было вовсе обойтись. Она сказала Джеймсу:

— У меня такое чувство, что я упражняю какую-то часть мозга, о наличии которой даже не подозревала. То есть буквально упражняю, как на пробежке или в тренажерном зале.

Джеймс был не единственным клиентом Мартина. И не самым важным. Когда Мартин начал собственное дело, он увел некоторых серьезных клиентов из агентства, в котором прежде работал, и усиленно работал, чтобы приобрести новых. Айла наблюдала за ним и думала, что это помогает ей понять, как строится рабочий день Джеймса. Мартин внимательно изучал работу Айлы и часто говорил, что нужно сделать все заново. Каждую пятницу за долгим обедом они обсуждали клиентов, обменивались слоганами и идеями кампаний. Было очень приятно, когда продажи резко подскакивали в результате удачной кампании. Одна голова хорошо, а две лучше. Мартин, художник, покрывал салфетки рисуночками, демонстрируя ей образы и сюжеты и то, как вокруг них или между ними вписываются слова. Он говорил, что, по отзывам клиентов, с ней легко разговаривать, она умная, находчивая, но при этом с ней спокойно.

— Ты разозлишься, если я скажу, что у тебя материнский темперамент?

Разумеется, она не ходила на встречи Мартина с Джеймсом. Ей казалось, что Джеймс теперь даже доволен, что она занимается чем-то, что ей интересно, и приходит домой оживленная и усталая, как он сам, рассказывает что-нибудь забавное — в общем, его это не удручало и не слишком напрягало. К тому же она стала зарабатывать, что могло не иметь значения для него, но для нее, к ее собственному удивлению, оказалось очень важно. Дети, казалось, тоже не были против. Она где-то читала, что успешно вырастить детей означает красиво перенести длинную череду прощаний. Сначала ей показалось, что это невыразимо грустно, она представила, как снова и снова разбивается ее сердце, когда она бесконечно машет чему-то вслед.

Мэдилейн сказала:

— Твой отец обожал бы этих детей, он был бы счастлив видеть, как хорошо ты со всем справляешься.

Как Мэдилейн вынесла потерю мужа? Иногда Айла глядела на Джеймса, когда он смотрел ночные новости или спал рядом, и думала, что она почувствует, если он вдруг исчезнет. Думала, что ей будет не хватать его напора, целеустремленности и нетерпения. Каких-то привычных

вещей. Тепла в постели. Сознания того, что есть что-то, кто-то, к кому можно прислониться, если это потребуется.

Мэдилейн была слишком занята работой и Бертом, а вот родители Джеймса готовы были взять на себя заботу о Джейми и Аликс, но Айла сочла это неразумным.

— Зачем вам няня, если есть мы? — спрашивала мать Джеймса, и на это не было хорошего, доброго ответа.

Айла сказала:

— Спасибо, я так рада, что вы это предложили, но мы хотим, чтобы они после школы были поближе к дому, к тому же у Мэвис полон дом детей, это им на пользу.

Мэвис, жившая на той же улице, была толстой, краснолицей, ела очень много шоколада — пристрастие, куда более приемлемое, чем многие другие, нечто вроде веселой привязанности к сладкому. Айле казалось, что такие, как Мэвис, любят детей, крепко обнимают их, но не обидят и не испортят. С родителями Джеймса такой гарантии не было, они, в конце концов, вырастили Джеймса, который развернулся и оттолкнул отца.

Айла понимала, что это больше не кажется ей

ни достойным восхищения, ни неизбежным. Наверное, теперь она смотрела на это как родитель, а не как ребенок; как кто-то уязвимый, не как тот, кому суждено победить.

Тем не менее десятилетний Джейми был под присмотром Мэвис в тот вечер, когда носился с толпой мальчишек по заднему двору Мэвис и упал. Мэвис позвонила Айле из отделения «Скорой помощи»:

— С ним все хорошо, но могло быть хуже. Тебе лучше приехать.

Мартин сказал:

— Поезжай.

Она подумала, что попробует дозвониться Джеймсу из больницы, чтобы не терять времени.

Мэвис обнимала беспокойную, расстроенную семилетнюю Аликс и одновременно пыталась удержать своего собственного восьмилетнего Тима, когда Айла ворвалась в приемный покой.

— Я им сказала, чтобы не бегали с палками в руках, — сказала Мэвис. — Но они, я так понимаю, все равно бегали. Он упал. Рассадил лоб, но в глаз вроде бы не попал. Сейчас, наверное, его как раз зашивают. Айла, прости. Я им сказала, чтобы бросили палки. Они говорили, что это ружья.

Ошибка Айлы. Она не купила ему игрушечный

автомат, считала, что этих ужасных компьютерных игр больше чем достаточно, и по глупости не предусмотрела, что Джейми найдет, из чего сделать воображаемое оружие.

— Ты не виновата, — сказала она Мэвис, потому что, хотя вина Мэвис в этом и была, то же самое могло случиться у них во дворе.

— Успокойся, Аликс, пожалуйста, ты мешаешь.

Джейми наложили восемнадцать швов. Весь его лоб превратился в распухшую, темную, страшную рану. Все это обрушилось на Джеймса, когда он вернутся домой, потому что в больничной суете Айла так и забыла ему позвонить, упущение, которое нелегко было объяснить.

— Господи, Айла, — сказал он ей, а Джейми он сказал: — Будешь теперь осторожнее, научишься делать то, что тебе говорят. Правила придумывают не просто так. Может, в следующий раз будешь слушаться.

Он обнял Аликс и посадил ее себе на колени:

— Ты ведь не будешь делать глупостей, правда?

Она с серьезным видом покачала головой. Она польщена, подумала Айла. И немножко подлизывается.

— Это урок нам всем, — сказала Айла и обняла

безутешного Джейми. — Серьезный урок, да, милый?

На следующий день на работе Мартин спросил:

— Все хорошо? — И Айла кивнула.

У него самого было четверо детей, поэтому он сказал:

— Всякое бывает, да? До смерти страшно, что не всегда можешь их уберечь.

И тема была исчерпана.

Джейми и Аликс продолжали меняться. Казалось, что так родители и учатся постоянно прощаться и расставаться с чем-то. Еще недавно, еще на днях, еще вчера Джейми был шумным и неуклюжим, стоило ему пошевелиться, и что-нибудь падало со стола, валилось со стены, и вдруг он притих, его движения стали точными, тело — управляемым, даже когда он бегал. На подбородке у него вскочил прыщ, голос сломался и изменился, он снова стал неуклюжим, но тихим, говорил коротко и часто дулся. Айла думала, что в этом есть какой-то ритм. Главное, что нужно было усвоить, — ничто не длится вечно.

Аликс уверенно летала, сидя верхом на отцовских плечах, потом ненадолго стала осторожной и робкой. К ней приходила толпа шумных по-

дружек, беспомощно хихикавших в подвале, повизгивавших в девчоночьем восторге, а потом она целыми унылыми выходными валялась на диване, погруженная в свои печали, о которых отказывалась говорить.

Они оба, хотя всегда в разное время, отталкивались от радости, впадали в тоску, погружались в немое раздражение и снова выныривали веселыми. О них обоих сложно было судить, немногое можно было сказать наверняка. Айла думала, что Джейми, пожалуй, задумчивее и, возможно, добрее и ответственнее. У Аликс, казалось ей, будет нежное сердце, но еще ей будет казаться, что она получит все, что только пожелает. Она полагала, что в конце концов люди из них получатся разные, но обоих она будет счастлива знать.

Столько надежд, столько труда, столько любви… Она скорее умерла бы, чем допустила, чтобы с ними случилось что-нибудь дурное. У Джейми на лбу был бледный, но различимый белый рубец, напоминавший о том, как близка беда, если ты беспечен и неосторожен.

«Мы везучие», — говаривал Джеймс, и она стучала по дереву, думая, что лучше бы ему помолчать.

Она гадала, не приходит ли ему в голову, что

его дети могут однажды взглянуть на него и сказать что-то вроде: «Ты уже старый. Уйди с дороги». Ей казалось, что нет. Если бы он об этом думал, то относился бы к ним настороженно и подозрительно.

Его собственный отец ничего такого не ожидал.

Теперь у Джеймса было десять магазинов, и временами становилось неспокойно, когда он подходил слишком близко к краю. Даже если он не рассказывал, что происходит, она всегда понимала, когда случалось нечто подобное. Он чаще и крепче стискивал зубы, выходил из себя не только с ней и иногда с Джейми, но даже с Аликс. Когда он начинал огрызаться, она понимала, что они могут вот-вот потерять все.

Хотя все они потерять не могли, потому что у нее тоже была работа. Подкопив и взяв относительно небольшой кредит, она выкупила часть агентства и стала партнером Мартина. Они увеличили штат. Они, как и Джеймс, взлетели, хотя несколько ниже над землей. С Мартином они виделись в основном на работе. У них обоих были свои заботы и потребности, но она видела, что они хорошо друг к другу относятся и доверяют друг другу, и уж, конечно, они хорошо сработались.

Возможно, то, что ни в каком ином отношении они друг друга не интересовали, очень способствовало. И еще то, что темп сбавлять было нельзя. И то, что постоянно приходилось учиться, создавать что-то, придумывать и разрабатывать в тех областях, где до сих пор ничего не было сделано. Им сопутствовал успех, и это повышало адреналин, давало драгоценное воодушевление. Айла ощущала себя счастливой и удачливой оттого, что все это свалилось ей прямо под ноги: на тарелочке, как сказала Мэдилейн.

Непохоже было, что Джеймс постоянно доволен. Его подбородок, который было так приятно гладить, стал тяжелее, длинные бедра утолщились. Стать толстым ему не грозило, но брюшко у него выросло, и он не всегда его втягивал. Если искать во всем что-то хорошее, то он выглядел основательно.

Она тоже менялась, животик у нее отвисал, если она о нем забывала, у глаз и рта прорисовались отчетливые складки. В темно-рыжих волосах появлялась седина, но она не планировала с этим ничего делать, только если седина пойдет некрасивыми клочьями. Она записалась в фитнес-клуб и вставала на полчаса раньше, чтобы успеть позаниматься. Бедра у нее после

родов немного раздались, но это было вроде почетного знака, вроде ордена, так она полагала, и не лишено привлекательности.

Она начала представлять, как все будет через десять лет или около того, когда дети вырастут и уедут и они с Джеймсом останутся вдвоем. Думала, что особой страсти, накала и обновления чувств ждать не приходится, но скорее всего все будет вполне терпимо. Дело будет только в том, достаточно ли этого терпимо, и она подозревала, что, когда придет время, она решит, что недостаточно. Иногда они ссорились так же мерзко, как тогда, когда он не хотел, чтобы она работала, но в основном по обычным житейским поводам: когда им ехать в отпуск, кто пойдет на родительское собрание. Она считала, что они партнеры, такие же, как она с Мартином, хотя менее внимательные и вежливые, и в совсем другом деле.

Когда дети вырастут и уедут, она найдет чем заняться. А пока они с Джеймсом время от времени по-прежнему занимались любовью, и оба в этих случаях говорили: «Я люблю тебя», — хотя с ее стороны это больше не было правдой, по крайней мере в прежнем, надежном, всеобъемлющем смысле. Он был рядом. Одно из преимуществ ее теории двери, закрытой двери: они просто были

рядом.

Мартин завел роман с одной из клиенток. То ли потому, что она была клиенткой, то ли потому, что трудно было умолчать о чем-то столь волнующем, он рассказал все Айле. Она сказала: «Осторожнее». Не только потому, что это могло повредить компании, если все пойдет не так, но и потому, что Мартин любил свою семью и был не из тех, кто может долго наслаждаться преодолением трудностей. Преодоление трудностей — это совсем не то же самое, что возбуждение. Айла прикинула, не добавит ли роман на стороне красок ее собственной жизни. Мартин от своего любовного приключения помолодел и засиял. Но она не могла придумать, с кем завести роман, кто будет стоить затраченных усилий и риска. Не говоря о том, что в ее расписание столь важное событие не вписывалось.

И потом неверность ее не интересовала, даже несмотря на то, что розовое, электрическое омоложение Мартина служило явной рекламой ее преимуществ.

Секс, мысли о сексе — в лучшие дни, возможно, о любви — витали в воздухе, рой гормонов возникал и обновлялся, туманя зрение, волнуя воздух, распространяя волны жара, вызывавшие

миражи, оазисы на горизонте. Шел пар, не хватало воздуха — все в таком духе. И дело было не только в Мартине. Не только в размышлениях самой Айлы, которые, к тому же, не приводили к настоящим желаниям. Чего бы ни искал Джейми в пятнадцать лет, возможно, это были лишь надежды, искал он этого вне дома, с трепетом и растерянностью влюбившись первый раз в худенькую, плоскогрудую, остроглазую девочку с мягким выговором, которую звали Бетани. Она иногда обедала с ними или делала уроки за обеденным столом вместе с Джейми, но редко смотрела Айле в глаза. Было трудно, да и неразумно, представить, что ее маленький, вечно бегущий мальчик занимается сексом, но приходилось признать, что, даже если у них с Бетани ничего нет, он хочет этого, стремится к этому. От него стало остро и резко пахнуть, изменились химические реакции в организме, и казалось, он не может ни скрыть это, ни контролировать.

У Аликс в двенадцать лет были свои представления обо всем. Айла ей ничего не подсказывала. Из полагающегося разговора о биологии, влечении и привязанности Аликс явно не вынесла для себя ничего нового. Да и с чего бы? Айла хотела объяснить ей, что кроме подбородков, которые

можно гладить, и длинных бедер есть еще нечто, но услышала, как ее собственный голос слабеет, как будто ей в этом вопросе полностью доверять нельзя.

— Я знаю, — с усталой терпеливостью сказала Аликс.

Может быть, и знала. Но знала, однако, не настолько хорошо, чтобы последовать примеру Джейми, уходившему из дома.

Джеймс был дома. Они только что пообедали. Джейми ушел куда-то с Бетани. Аликс была в подвале с Тимом, сыном Мэвис, с которым она играла с тех пор, как Айла устроилась на работу. Они играли в дом, в компьютерные игры, в футбол, бегали, дрались и секретничали. «Вот как нужно расти, — думала Айла, глядя на них. — Так, чтобы не было никаких тайн, из-за которых ни с того ни с сего теряешь голову». Раз уж Аликс так дружна с Тимом и пользуется одной ванной с Джейми, то и всяким дурацким бредням насчет привлекательности мужского пола завестись у нее будет не с чего.

Она явно была не права.

Она услышала рев у себя под ногами. Когда она сбежала по лестнице в подвал, Джеймс выволакивал бледного, худого Тима из-под бильярдного

стола, с такой яростью дергая его за руку, что Тим бился о стол головой. Аликс была под столом.

— В чем дело? — крикнула Айла, хотя видела, в чем дело, и просто хотела отвлечь Джеймса, ослабить его хватку.

Еще мгновение, пока мальчишка вставал на ноги, Джеймс сжимал его руку. Отпустив его, он освободил обе руки и, налетев на Тима, наотмашь стал бить его ладонями по голове, так что она дергалась из стороны в сторону. Тим, сам на себя не похожий в этом слабо освещенном драматическом представлении, путался в спущенных, расстегнутых штанах. Он увернулся и нырнул под руку Джеймса, подтянул пояс брюк и побежал. В панике, с единственным желанием — удрать, он пронесся мимо Айлы и с грохотом взлетел по лестнице, вон, прочь из дома.

Аликс выползала из-под стола куда медленнее. Джеймс задыхался. Аликс спокойно воззрилась на отца, волосы у нее против света горели, как у огненного ангела. Ее любимая, поношенная зеленая клетчатая рубашка была вытащена из брюк и наполовину расстегнута. У нее даже грудь еще не выросла! За что Тим ее лапал, если он ее лапал?

Джеймса трясло. Когда он стал орать, его слова слились в ушах у Айлы в сплошной рев. У Аликс,

наверное, тоже, она смотрела на него серьезно и пристально, не двигаясь и не говоря ни слова, пока он не выдохся. Потом она кивнула, обошла его, обошла Айлу, поднялась по лестнице и молча ушла в свою комнату. Айла, которая не могла придумать, что сказать, тоже пошла наверх. Она слушала, как Джеймс ходит по подвалу, бьет кулаком в стены. Она была изумлена его яростью, его гневом, но еще больше ее поразила Аликс.

Позднее, в постели, все еще в ярости, Джеймс сказал:

— Сделай что-нибудь. И не давай ей видеться с этим мальчишкой.

— Нет, боюсь, не получится. Они так давно дружат. Ничего не выйдет.

— Сделай так, чтобы вышло. Ты видела, чем они занимались?

Она вздохнула:

— Им любопытно. С ней нужно разговаривать, но знаешь, это ведь только начало. Впереди столько гормональных всплесков. И ты с ней тоже мог бы поговорить, я хочу сказать, не орать и не выходить из себя. Это ведь не только мое дело.

Если честно, она не знала, что можно сказать Аликс. Ее беспокоила не похоть Аликс, но то нежное, отстраненное выражение, с которым

она смотрела на отца. В тот момент она казалась совершенно незнакомой. До нее не дотронешься.

Если Тим смог дотронуться… дай ему бог, подумала Айла и хихикнула, так что Джеймс повернулся в постели посмотреть на нее.

— Ничего смешного, — рявкнул он.

«Может быть, и нет», — подумала она.

— Я просто пытаюсь вспомнить, как себя чувствуешь в двенадцать лет. Насколько я помню, всего так смущаешься. Кажется, что увяз. Застрял между детством и взрослой жизнью.

— Мне не показалось, что она смущалась.

Ну да, его дочь не смутишь. А Тима, бедного?

— По-моему, он достаточно испугался, чтобы какое-то время не распускать руки. И все остальное тоже. — Она услышала, что снова хихикает, и Джеймс опять бросил на нее косой взгляд. — Но Аликс не очень-то оробела, заметил? Как она на тебя посмотрела! — Айла услышала в собственном голосе удовлетворенные нотки, это еще почему? — Наверное, нужно с этим разобраться, но, Джеймс, нельзя все вешать на меня.

Он грустно заворочался.

— Я просто думал, вы обе — женщины, тебе будет проще с ней об этом говорить.

— О сексе? О влечении? О чем? Я говорила. Воз-

можно, ей не мешало бы послушать, что скажет мужчина. О том, что было на уме у Тима, о том, чего следует в дальнейшем остерегаться. Может быть, именно об этом с ней нужно поговорить.

Но вскоре их жизнь резко переменилась, и что бы Айла ни имела в виду, говоря, что Аликс нужно будет чего-то остерегаться, это оказалось совсем не то, о чем она думала. И для нее тоже, и для Джейми, и не в последнюю очередь для Джеймса.

Как ему это удалось? Как у него не лопнула голова, набитая зловонными, гнилыми маленькими тайнами? Какое редкое самообладание: вести обычную жизнь, расширять бизнес, переживать по поводу больших и мелких деловых проблем, обедать, иногда ходить с детьми в кино, иногда проверять, как они сделали уроки, иногда поворачиваться к Айле в постели — и ни намека, ни единого знака.

Уже потом он сказал, что это была совершенно отдельная и очень небольшая часть его жизни. Может быть, для него так и было, но уже то, что он так это воспринимал, казалось — каким? Совершенно омерзительным.

Помимо того, что это была отдельная и небольшая часть его жизни, это было противозаконно.

Не говоря о том, что это было гадко, безнравственно — эти слова не часто употребляли у них в доме, да и во многих других домах, насколько ей было известно. Он должен был это понимать, он был чудовищно глуп, если не понимал.

Тогда она в третий раз в жизни столкнулась с полицией.

Вот что она имела в виду, говоря, какие все глупые в семнадцать.

Такие глупые, что их влечет, тянет к мужчинам, которые через много лет заканчивают как Джеймс.

Другие в семнадцать лет глупы до того, что, пытаясь вычеркнуть из жизни такого отца, как Джеймс, начинают накачиваться кошмарным дерьмом или отправляются в неведомые путешествия в поисках нелепой, непонятной веры.

А еще они, глупые, стреляют в кого-то, хотя на самом деле не собирались и не хотели этого делать.

Такие глупые, думает она, что их просто нельзя не пожалеть. Они беззащитны в своей глупости, и невежественны из-за нее. Они не знают, как это быть матерью тридцати девяти лет, пытающейся привыкнуть к унижению и ужасу, или сорокадевятилетней женщиной, пытающейся

привыкнуть к счастью, и им наплевать.

Они искалечены и опасны.

Их нужно обнимать, их нужно крепко держать и сдерживать. Их нужно ограждать от беды, пока опасность не минует. Они беспечны и глупы, за ними нужно присматривать. У Айлы это не получилось. У других, которых она не знает, тоже явно не получилось, и теперь, снова встретившись с полицией, она лучше всех осознает горестные итоги этих неудач.

Наказание так наказание

Родди думал, что в тюрьме в основном просто сидишь, ничего не делаешь, только расслабляться нельзя, но все оказалось не так. Тут все внезапно, страшновато и громко, и уж точно не расслабишься. Да, и это не тюрьма, это — следственный изолятор. Эд Конрад, адвокат, которого нашел отец, объяснил, что некоторые тут свой срок и отбывают, те, кого взяли за незначительные преступления, незаконное проникновение, или что-то в этом роде, но не за покушение на убийство и вооруженное ограбление. А остальных, таких, как Родди, здесь держат, пока идет суд, и вина не установлена — еще не установлена. Их или не отпускают под залог, или у них денег нет. Родди, похоже, попадает в обе категории: в освобождении под залог им отказали, но даже если бы и не отказали, Эд Конрад сказал, что залог был бы тысяч десять, а то и больше, все двадцать или пятьдесят, а отец с бабушкой таких денег в жизни не соберут. Если захотят собрать: а ведь могут и не захотеть.

Он здесь третий день. Тут весь день строится по

расписанию, и будущее тоже все расписано, хотя никто не знает, какое будущее ему предстоит и сколько оно продлится. Удивительно, как то, что казалось Родди чем-то из ряда вон выходящим, вписывается, как что-то вполне обыденное, в эту отлаженную систему. Как будто он — автомобиль на конвейере, и его собирают, как любой другой автомобиль, только некоторые операции отличаются.

Единственное время, когда тут на первый взгляд ничего не происходит, это ночь, хотя и ночью тут не бывает тихо, и свет не выключают. Ему снятся кошмары. Каждое утро, когда он просыпается, его трясет, ему страшно, как в кино, когда кто-нибудь делает что-нибудь такое: например, поднимается по темной лестнице, а ты знаешь, что там что-то ужасное, и хочется крикнуть: «Нет! Не надо! Осторожнее! Не ходи!» — а он все равно идет, и что-нибудь случается. Вот такие кошмары.

Но даже когда он просыпается от страха, с толку его не собьешь. Он с первого дня четко понял, где он. Да и трудно спутать с чем-то маленькую серую комнату с голыми стенами, железной койкой, маленькой раковиной и унитазом без крышки; она совсем не похожа на его комнату под кры-

шей, с наклонным потолком, с фотографиями, развешанными на стенах, и мягкой кроватью, на которой он должен был сейчас лежать, спрятав под нее пакет с деньгами. В той, другой, параллельной жизни, которая ему виделась.

Во сне всякое бывает, так он думает. Переносишься, например, из одного мира в другой. Та, прежняя, жизнь уже стала воспоминанием, настолько далеким, что кажется чьим-то чужим воспоминанием. Настоящее неустойчиво, будущее пока неясно, но прошлое — это было где-то в другом месте и с кем-то совсем другим. Это странно и страшновато, и от этого у него кружится голова.

Но это еще не все, он не только поэтому вспоминает, где он, даже еще не открыв глаза. Может быть, дело в воздухе, в звуках, в свете. А может быть, в том, что в глубине души он уверен, что он там, где и должен быть.

Как это Майк может оставаться там, на свободе, зная, что должен быть совсем в другом месте? Но Майк, может быть, этого и не знает. Он, скорее всего, думает о другом.

Он не пришел в суд, когда там был Родди. Это было в первое утро. Остальные пришли — бабушка, и отец, и Эд Конрад, конечно, а Майк не

пришел.

Родди отвезли туда в фургоне с другими заключенными и охранниками; наверное, это были полицейские. Разговоров особых не было. Он никого из них не знал. Суд, где он раньше никогда не был, рядом с местной администрацией, похож на обыкновенное государственное учреждение, только третий этаж, куда его привели, разделен на два больших судебных зала и несколько маленьких комнат. Он видел в одной из них своего адвоката с какими-то мужчинами и несколькими женщинами, они все смеялись.

На стенах висели большие мрачные портреты, — наверное, умерших судей. Одни мужчины. Родди подумал, не лучше ли ему будет, если судьей будет женщина, например как его бабушка. Но женщина-судья, скорее всего, будет похожа на ту женщину на пороге «Кафе Голди». Ей он совсем не понравится. Мужчина, наверное, лучше поймет, как все случайно и непоправимо меняется за пару секунд. Хотя бы как может случиться что-то, чего ты совсем не хотел.

И что он очень жалеет об этом. Это считается?

На самом деле ничего не считалось, и даже судьи не было, просто какой-то мужик, мировой судья, и суд был ненастоящий, а так, только про

содержание под стражей и освобождение под залог. Отец и бабушка сидели во втором ряду, глаз с него не сводили. Вид у них был такой, как будто они всю ночь не спали, какие-то осунувшиеся и серые. Может, сидели на кухне, все думали и думали, что они сделали не так. Родди очень хотел бы сказать им, что они все делали правильно, просто все пошло не так. «Какого хрена?» — говорили они с Майком, в том смысле, что кому какое дело, что они сделали, хорошо это, плохо или так себе? В таком большом мире, где все может быть, или в крошечном городке, где вообще ничего быть не может. И это «какого хрена?» делало их почти невидимыми, бесплотными и свободными.

Они ошибались, и вот как получилось с Родди, и «какого хрена?» не скажешь.

В суде все делалось быстро, одно дело за другим, один обвиняемый за другим, бум-бум, взлом, драка, вождение в нетрезвом виде. Когда дошла очередь до Родди, секретарь, или кто-то там, зачитал обвинения — покушение на убийство, вооруженное ограбление. И его адвокат вздохнул и сказал:

— Мы понимаем, что это очень серьезно, но у моего клиента прежде не было проблем с законом. Ему всего семнадцать, и его родственники

могут гарантировать его явку на следующее слушание дела и примерное поведение, а также выполнение любых постановлений суда в случае освобождения под залог.

На мгновение Родди захотел заговорить сам. Он хотел поклясться, что, честное слово, даже из своей комнаты не выйдет, если его сейчас отпустят домой. Никому снаружи не придется из-за него беспокоиться, все будет в порядке. Но он, конечно, промолчал. Конечно, его не отпустят домой. Не место ему дома.

— В освобождении под залог отказано, — сухо сказал мировой судья и назначил слушание через неделю.

И все. И ладно. Он, правда, хотел что-нибудь сказать бабушке и отцу. Но они стояли в другом конце зала, и все, что ему пришло в голову, это подмигнуть им — глупо, как будто он не понимает, что натворил. Похоже, он самое важное делает не так. Он думал, что, может быть, все хотят, чтобы он умер, чтобы его на свете не было — невелика потеря.

Может, кто-нибудь из детей этой женщины (Эд Конрад сказал, их у нее двое) убьет его в суде в следующий раз. Так бывает, он по телевизору видел. Все будет быстро и неожиданно, и он от всего

освободится, даже не заметив, как это вышло.

Родди пришлось собраться с духом, чтобы спросить Эда Конрада:

— А та женщина?

Он только знал, что она жива, потому что обвинение было в покушении на убийство, а не в убийстве.

Адвокат вздохнул. Он вообще много вздыхает, хотя Родди с ним не так давно знаком.

— Она в больнице, пробудет там еще долго. Ты не знал, что она парализована? Очень меткий выстрел для того, кто, если ему верить, ружья в руках не держал.

Парализована. Блин. Он даже как-то не отреагировал на презрение в голосе Эда Конрада. Даже его собственному адвокату противно на него смотреть. Что говорить о ее семье.

И о его собственной.

И это он сделал? Он, который ничего серьезного или важного за всю свою жизнь не сделал, причина всего этого? Сколько раз он, когда был маленький, мечтал, что станет кем-нибудь совсем другим, или хотя бы сделает что-то такое, что обычно не происходит в жизни таких, как он. Он представлял себе разные ситуации, в которых мог бы стать героем: например, Майк или

какой-нибудь ребенок тонет, а он бросается в воду — бурную, с камнями, — и вытаскивает его на берег. Он хотел быть героем на фотографии в газете, кем-то, кто сделал что-то запоминающееся, заметное, серьезное. Теперь он стал кем-то другим. Сделал нечто запоминающееся, заметное и серьезное. Может, его фотографию напечатали в газетах, он не знает, как в таких случаях бывает. Он к этому не стремился, он совсем не это имел в виду.

День здесь начинается с громкого сигнала подъема, скрежещущего в динамиках на потолке коридора. Родди к тому времени уже просыпался, все три дня. Все кричат, ругаются, шумно встают. Нужно застелить постель, одеться и более-менее привести себя в порядок. Здесь все одеты в коричневые спортивные костюмы. Сложение у Родди совсем не под спортивный костюм. На некоторых они сидят в обтяжку, это выглядит круто, а на Родди костюм висит мешком.

После сигнала у них на все про все минут двадцать. Потом двери камер открываются, всех выстраивают в коридоре и гонят, как стадо — по крайней мере, так себя чувствуешь, — в столовую, где все выстраиваются в очередь за хлопьями или яичницей, тостами, молоком и соком. Как в

школе, только выбора нет. В этом здесь вся суть: выбора нет, вообще никакого.

Родди думает, что если те, кто здесь заправляет, хотели бы, чтобы всем было по-настоящему плохо, чтобы все понимали, что с ними происходит, нужно было бы заставить всех оставаться после сигнала в постели. Пусть лежат, думают о бесцветном, тупом дне, который им предстоит, и сами делаются бесцветными и тупыми — хотя бы некоторые. Вот это было бы наказание так наказание. Но может быть, те, кто составляет расписание, думают, что ночь для этого подходит лучше, и в этом тоже есть смысл: каждую ночь Родди подолгу не может заснуть, крутится и ворочается, как будто стоит улечься по-другому, и все волшебным образом переменится. Если бы одну боль можно было заглушить другой, он бы бился головой о стены.

Поэтому его не удивляет, что здесь столько насилия. Ничего особо серьезного он, правда, пока не видел, потому что охрана все время рядом, но то и дело что-то вспыхивает: то двое как будто случайно толкнут третьего, то бильярдный кий пойдет в дело в комнате отдыха, то в душевой кто-нибудь что-нибудь скажет. Воздух полнится раздражением, пахнет им. Дикие животные,

наверное, ведут себя так же: постоянно настороже, следят за всеми движениями и запахами. Кролики, которых ему случалось спугнуть. Кроты и сурки, ищущие укрытия под землей. Жабы и насекомые, предусмотрительно сливающиеся с окружающим пейзажем. Только у них это не раздражение, не агрессия, направленная вовне, просто вопрос выживания.

Здесь это, возможно, тоже вопрос выживания, хотя и в другом смысле. Вот Родди — он не качок, но за ним стоят слова: *покушение на убийство, вооруженное ограбление.* Даже здесь это серьезные слова. Он все время вспоминает Шона Пенна, или вроде того, какого-нибудь невысокого актера, который играл заключенного. И ходит немножко вразвалочку, но не до такой степени, чтобы это выглядело вызывающе. А еще он зовет себя Род. Мальчику по имени Родди здесь делать нечего. Вот Род, тот может быть и покушавшимся на убийство, и вооруженным грабителем. Род, наверное, и есть тот, в кого превратился теперь Родди или по крайней мере потихоньку превращается.

После того быстрого слушания в первый день — оно заняло не больше пяти минут, хотя дорога в суд и ожидание там заняли куда больше, — его

снова привезли сюда, в следственный изолятор. Охранник сказал, что у него встреча с каким-то дядькой, который называется «консультант», и отвел его в кабинет. Тот дядька сидел за столом, перед ним была папка и куча всяких бумаг и бланков. Он поднял глаза и сказал:

— Здравствуй, Родди, я Стэн Снелл, мы с тобой будем работать вместе, чтобы кое-что выяснить и определиться, чем тебе заняться в будущем.

— Род, — впервые поправил он.

— Хорошо, как скажешь.

Взрослый мужик, лет тридцать пять, интересно, зависит от него что-нибудь, что за поганую работенку он тут делает? Что он из себя представляет, было, в общем, неважно, но просто Родди его не знал, а он распоряжался его жизнью.

Определимся, чем заняться в будущем? Родди как-то не думал о будущем. Он не думал, что будет *заниматься* чем-то, думал, что просто будет где-то: здесь, потом в другом месте.

— Ты под стражей уже неделю, как я понимаю. — Родди понял, что новости расходятся быстро. — Я поднял твое школьное дело, нужно было посмотреть, как у тебя все складывается, потому что там, куда ты отсюда отправишься, ты в любом случае будешь продолжать учиться.

Он поднял школьное дело Родди? А разве сейчас не лето, не каникулы?

— И еще нам нужно выяснить, есть ли у тебя особые интересы или навыки, потому что можно заниматься столярным и слесарным делом, компьютерами, кулинарией, всяким таким. Потому что, — и он наклонился вперед, такой серьезный и занудный со своими короткими, песочного цвета волосами и туго завязанным под воротником голубой рубашки синим галстуком, — тебе обязательно нужна цель в жизни, иначе ты бы здесь не оказался. Тебе нужно кем-то стать. Только так можно избежать беды. Ты плыл по течению, у тебя не было четкой цели, поэтому ты сюда и попал, так я думаю.

Родди не знал, почему он сюда попал. По несчастью, возможно.

— Итак, есть что-нибудь, чем тебе хотелось бы заниматься? Кем бы ты хотел быть? Стремления, надежды?

Быть не в тюрьме и не обвиняться в покушении на убийство и вооруженном ограблении, как понял Родди, не считалось.

— Не знаю, — сказал он. Он и правда не знал. Казалось, что еще много лет ему не придется думать ни о чем таком, хотя, конечно, он понимал,

что это не так. Папа в семнадцать уже работал.

Сама мысль о том, что можно хотеть кем-то стать, а потом стать им, казалась странной. Насколько он мог судить, в их семье только у мамы была серьезная, достижимая цель, и она, спрыгнув с моста, получила, чего хотела.

— Сейчас самое время определиться, — продолжал Стэн Снелл. — Я понимаю, тебе может казаться, что это не так, но, возможно, это и есть шанс вернуться на верную дорогу.

Он открыл папку.

— Я тут посмотрел, тебя пару раз исключали на время, ты прогулял массу занятий в последние пару лет. А в остальном дела у тебя шли неплохо, по крайней мере ты со всем справлялся. Так что ты явно не дурак. (Почему-то Родди было приятно это слышать.) Почему ты прогуливал?

Гулял. Воровал в магазинах. Просто слонялся. Родди пожал плечами.

— Потому что это было проще, чем работать, так?

— Не так занудно.

Стэн Снелл наклонился вперед.

— Не знаю, как насчет занудства, но вот как все будет здесь и там, куда ты потом отправишься. Если тебя признают виновным. Если не возра-

жаешь, будем считать, что признают, так легче будет говорить.

Признают? Родди на самом деле виновен. Он и не думал, что будет по-другому.

— Подъем, как ты уже знаешь, в шесть. Завтрак. Зарядка. Потом начинаются занятия или, возможно, профессиональное обучение, три-четыре часа в день. Включая выходные. И разумеется, тебе придется выполнять какую-то хозяйственную работу, например на кухне, еще три-четыре часа в день. Будут еще встречи с консультантом, или терапия, называй как хочешь, но я не знаю, насколько часто и когда это начнется и будет ли это индивидуально или в группе, это от многого зависит. Обед, потом, наверное, пара часов свободных — посмотреть телевизор, поиграть в бильярд, что угодно. К восьми тридцати возвращаешься в камеру. До отбоя, до одиннадцати, делаешь уроки и читаешь. Как видишь, все сводится к напряженной работе, распорядку и дисциплине. Учитывая, что произошло, — он снова заглянул в папку, — ты можешь провести там немало времени. Но это даст тебе возможность определиться, что тебе делать, когда выйдешь, так что, будем надеяться, ты туда больше не вернешься.

Надо же. Об этом Родди не думал. О возможно-

сти другого преступления. Он не заглядывал так далеко в будущее. У него нет желания вредить людям. Он и подумать не может, что ему захочется сделать что-то вроде того, что он уже сделал, что он нарочно такое затеет. Или затеет что-то такое, и осуществит, и ему будет на все наплевать. Он даже представить этого не может.

Но, наверное, с другими бывает и так. Становятся жестче. Плюют на все. Там, в настоящей тюрьме, будет больше крутых, скорее всего, больше тех, кто совершил настоящее преступление.

Вроде покушения на убийство и вооруженного ограбления? Опять он забыл.

— Вот. — Стэн Снелл вынул пачку листов, вложил их в огромный коричневый конверт. — Это тесты, чтобы оценить твои способности, умственное развитие и личность. Заполни их до конца следующей недели. Так мы сможем понять, какой ты, к чему у тебя есть способности. Ты должен мне их сдать до следующего слушания. Попроси у охранника ручку. Ее придется вернуть, и пользоваться ею можно только под присмотром.

Чтобы не использовать ее как оружие, понимает Родди, против себя или кого-то другого.

— И думай, что делаешь. Здесь ошибаться нельзя. За нарушения наказывают. Натворишь

что-нибудь, узнаешь как. Вопросы есть?

Не у Родди, по крайней мере не сейчас.

— Джек? — Стэн встал и посмотрел на охранника в дверях. — Можете отвести молодого человека в комнату отдыха. Покажите ему, что там и как.

Родди догадывался. Это как первый раз пойти в школу, когда ему было семь и он только переехал в этот город, только тогда он по крайней мере уже знал Майка. Бабушка сказала в первый день:

«Будь умницей, осмотрись сначала, приглядись к окружающим, не лезь сразу вперед. Легче будет подружиться потом с кем-нибудь».

Она не имела в виду «будь крутым и агрессивным», смысл был в том, чтобы, как она говорила, *сторониться.*

«Может показаться, что ты всех сторонишься, — сказала она, — но это в порядке вещей».

Итак, что делать сторонящемуся Роду, если он стоит в дверях комнаты отдыха, где есть пара телевизоров в разных углах, больших телевизоров, но закрепленных высоко, так, что не достанешь, и с защитной сеткой перед экраном, бильярдный стол, настольные игры, полно деревянных стульев и столов, журналов и карт, большой и потертый книжный шкаф, в котором стоят книжки в бумажных обложках и несколько видеокассет,

пара диванов и кресел, два охранника и несколько парней, примерно того же возраста, что и он?

Сторонящийся Род небрежно прислонится к стене. Прищурится и посмотрит, кто чем занят. Сложит руки на груди. Не дернется и не покажет, что нервничает из-за того, не сел ли случайно на чье-то место, не мешает ли кому, не лезет ли кому не надо на глаза. Первое впечатление — самое важное.

Он не собирался заводить друзей; может быть, больше никогда. Вот Майк, вот они вдвоем слоняются по городу, Майк стоит на тротуаре и хохочет, откинув голову, оглушительно, как стал хохотать после того, как у него сменился голос, — только одно мгновение из целой вечности, в течение которой они знали друг друга. Смешно, как то, что должно бы быть бесконечной чередой воспоминаний, сводится к нескольким мгновениям; от этого Родди всякий раз как будто током в голову бьет.

Люди исчезают, и все. Просто уходят. И нечего тут помнить, люди просто уходят.

Он не мог долго стоять, прислонившись к стене, быть сторонящимся Родом, сложившим руки на груди, прищурившимся, оглядывающим комнату, оценивающим все — и, если повезет, грозным.

В первый раз, когда он оттолкнулся от стены, у него закружилась голова. Комната оказалась одновременно и очень близко, и далеко, все стало резким, как бритва, и вместе с тем превратилось в плоскую картинку.

С ума он, что ли, сходит?

Тогда понятно, почему так вышло в «Кафе Голди». Только сумасшедший мог такое натворить случайно, сам того не желая, но так получилось, и исправить ничего нельзя.

Он слегка перекатывался с пятки на носок, надеясь, что это выглядит как готовность к прыжку. Сложно было сказать, заметили это или нет. Он думал, что заметили. Когда приходит новичок, его автоматически оценивают. Вроде как принюхиваются, есть какие-то сигналы. Ему нужно казаться опасным, но не наглым. Спокойным, но до определенного момента.

Главное, не выглядеть козлом, который зачем-то приклеился к стене.

Здешние охранники не кажутся особенно внимательными и настороженными, хотя он для себя решил, что это скучающее, отстраненное выражение лица — такая же уловка, как его походка вразвалочку. Охранники носят синюю форму с широкими черными ремнями, на которых ви-

сят всякие штуки типа фонариков, совершенно непонятно, для чего, разве что они ими бьют, а не светят. Выглядят они не то что незаинтересованными, они просто похожи на тех, кого вызывают что-то починить, на сантехников, что ли. Сфера их деятельности очень ограничена, просто поддерживать относительное спокойствие; и Родди, в общем, стремится к тому же.

Когда он первый раз зашел в комнату отдыха, там было двое охранников: один в дверях, второй у забранного сеткой окна напротив. А между ними — трое, играющих в бильярд, еще несколько, занятых всякой ерундой, кто-то смотрит какую-то дневную дурь по ящику, четверо играют в карты, похоже на покер. Один сидит в кресле, положив на коленку линованный блокнот, что-то пишет. Рассказ о преступлении, признание, заметки для выступления в суде? Родди подумал, что это могут быть и стихи о закатах, потому что нельзя, только посмотрев на кого-то, решить, на что он способен.

А один ходил по комнате туда-сюда и хмурился. Бровастый. Вообще здоровый, но что Родди сразу заметил, так это густые брови, нависшие над маленькими голубыми глазами. Судя по этим маленьким глазкам и густым бровям, слишком

тупой, чтобы специально устроить какую-нибудь подлянку, но случайно — сколько угодно.

Родди пошел через комнату, направляясь к окну чтобы обозначить свое присутствие и действовать дальше уже оттуда. У парня с бровями другое было на уме. Он перестал ходить взад и вперед, сделал шаг в сторону, оказавшись на пути Родди, просто так не обойдешь, так Родди понял.

— Ларри, — сказал парень. (Так его зовут, подумал Родди.) — Давай сигареты.

Ладно, Родди все понял.

— Нет.

Ларри шагнул ближе, так что они почти столкнулись. «Отвали, козел» — вот что Родди должен был добавить, так ему казалось. Он прищурился и широко расставил ноги, представляя себе Шона Пенна и стараясь на него походить.

Тот парень, Ларри, медленно кивнул. Похоже было, что он пытается думать. Когда он открыл рот, Родди подумал, что он мог бы сказать: «Ты — труп» — так же легко, как «Ты со мной лучше не связывайся», — что он сказал на самом деле. Суть в том, что он пошел на попятный. Снова шагнул в сторону и начал ходить туда-сюда. Это было здорово, такое облегчение, но это заставило Родди задуматься о том, может ли он вообще

угадать, чего ждать от кого-то.

— Род, — сказал он в спину Ларри и подумал, не прозвучало ли это нервно и растерянно, не выглядит ли он идиотом.

Это было три дня назад, когда он на самом деле был нервным, растерянным идиотом. Сейчас он уже более-менее освоился. Когда их приводят сюда, он может подойти к бильярдному столу, взять кий и вопросительно оглядеться, и кто-нибудь к нему присоединится. Он может плюхнуться в кресло, смотреть какое-нибудь тупое ток-шоу целый час, и никто его не тронет, или может сказать, или кивнуть, когда кто-нибудь другой скажет: «Во бред, а?»

Это легко, пусть и не слишком здорово. Он просто хочет выжить. Он надеется, что особый интерес проявят к кому-нибудь другому, кому-то другому не повезет.

Майк, наверное, чувствует себя примерно так же. Если Майк хоть немного похож на того человека, которого представлял себе Родди, ему тоже нелегко, пусть и по-своему. Хотя люди быстро ко всему привыкают; вот как сам Родди привык к этому месту, к его требованиям, и распорядку, и обычаям, в этом жизнь здесь похожа на жизнь на воле, только она более напряженная и за-

мкнутая. Все делается определенным образом и в определенном порядке, и оттого, что все заранее известно, почти расслабляешься, даже удобно.

Поэтому он вздрагивает, когда его неожиданно хлопают по плечу, резко оборачивается на стуле, вскакивает, готовый — к чему? Не готовый, просто испуганный. Не так уж он спокоен, как ему казалось. Перед ним стоит охранник, говорящий:

— Пошли со мной. — Родди остается на месте, и он берет его за руку. — Идем.

— Куда?

Как будто есть выбор; как будто это приглашение, которое он может отклонить, если ему не понравится, куда его зовут. Ему даже не отвечают. Охранники не то что плохо с ними обращаются, им просто ни до чего дела нет, особенно тем, которые работают днем, они постарше, чем ночная смена, и уже попривыкли к плохим мальчикам и грустным историям. Этот ведет его по длинному коридору туда, где расположены кабинеты, но в этот раз он не встретится со Стэном Снеллом, они внезапно повернут направо и окажутся в маленькой комнате, в которой за столом сидят бабушка и папа.

Хоть бы предупредили.

Он понимал, что они придут, как только им позволят, но думал, что ему об этом скажут. Он еще думал, что они не будут сидеть так близко и все это будет в большом зале, где все разговаривают, и, может быть, их даже будет разделять решетка или стекло, как в кино. Но он не думал, что они окажутся в маленькой комнатке, где никого, кроме них, не будет, и никто, кроме них, не будет говорить.

Он по-прежнему стоит. Они оба смотрят на него, но как-то без выражения. Их не поймешь. Папа в костюме, как будто в церковь собрался. Бабушка тоже приоделась, на ней темно-синее платье, которое она почти не носит, белые бусы и белые клипсы. Родди чувствует себя неловко в спортивном костюме, как будто он не так оделся на важное мероприятие.

Удивительно, какая бабушка толстая, как она жалко выглядит в этом люминесцентном освещении. Как будто он ее раньше никогда не видел, совсем ее не знает, и эти складки, свешивающиеся со стула — а все равно она кажется пустой, обвисшей.

— Ну, сынок, — произносит папа. Он сто лет не называл Родди *сынком.* Но в голосе у него никакого выражения, как и на лице. — Натворил

ты дел.

Родди не находит, что на это сказать. А бабушка находит.

— Ну почему? — говорит она. Ее пухлые руки лежат на столе, пальцы как сосиски или сардельки.

Оба они, и папа, и бабушка, здесь как-то не к месту: обоих закрутило и ошеломило происходящее.

Родди просто в бешенстве. Он не смотрит на них, уставился в угол, чтобы они не поняли, как он злится. Здесь все выкрашено в серый или зеленый. Наверное, эти цвета должны приглушать пламя.

Вот от этого он и хотел сбежать. Как раз от этого. Куда-нибудь, где можно просто жить, подальше от этой заразы, от выходного темного костюма, от нарядного темно-синего платья, от складчатой плоти, от разочарования. От всего этого. Поглядите, что они наделали.

— Ну-ка прекрати раздувать ноздри, — говорит отец. Теперь у него появилось выражение в голосе, он тоже злится. У него даже голос дрожит. — И не смей норов показывать. После того, что ты устроил. Что тебе в голову взбрело?

— Сбежать, — огрызается Родди. Это само выры-

вается, а потом вырывается и то, чего он не хотел говорить: — От вас.

Лицо у бабушки вот-вот раскрошится, как печенье.

— Что мы сделали не так? Чего мы для тебя не сделали? — спрашивает она так тихо, что ее почти не слышно, даже в этой маленькой комнате. — Чего ты хотел, что мы тебе не дали?

Но это невозможные вопросы. Он на такие вопросы не может отвечать. И не будет.

— Объясни, — говорит отец, — что на тебя нашло? Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Ты ведь не только себе жизнь изуродовал, ты понимаешь, глупый ты щенок?

— Фрэнк, — говорит бабушка, — мы же не хотим, чтобы весь разговор шел в таком тоне, правда?

Надо же, отец заговорил. Поздновато, и не о том, и со злости, но все-таки заговорил.

Родди щурится. А то он не знает, что изуродовал себе жизнь.

— Тебе повезет, если ты вообще отсюда выйдешь, — продолжает отец. — Ты и твой дружок Майк — он ведь тоже в этом замешан, так? Только не говори, что ты один все это придумал. (Родди ему ничего не собирается говорить, и этого в том

числе.) — А если той женщине не станет лучше, Эд Конрад говорит, что все будет еще хуже. Никакого залога.

Он поднимает руки, до сих пор лежавшие на коленях: жест отчаяния, отвращения? Или растерянность.

— Я понять не могу, как ты мог такое натворить. Не так тебя воспитывали. Может, это от наркотиков? Ты не в себе, что ли, был?

Не от наркотиков. От надежды. От возможности. Ничего вокруг не видел. Но папа, похоже, не понимает, что у Родди могут быть какие-то свои возможности и надежды, только его касающиеся, которые только он может осуществить. Он, наверное, думает, что у Родди нет никакой цели, что его просто легко сбить с пути. Он его совсем не уважает.

— Ты ведь знаешь, что она парализована? Ты что думал, это как по телевизору: стреляешь в кого-нибудь, а он как новый? И все не в счет, ничего не произошло? (Честно? Вроде того.) В общем, Эд говорит, что под залог тебя не отпустят, если только ей не станет лучше. Да у нас и денег нет. Адвокат — дорогое удовольствие, а без него не обойтись, потому что на юридическую помощь мы рассчитывать не можем. И потом, как мы с

бабушкой можем за тебя поручиться, если ты на такое способен?

Слова из отца так и выскакивают. Где они были до сих пор? Он что, складывал их про запас, где-то рядом с накопленной за многие годы горечью? Как будто его предали?

— Еще он говорит, что ты можешь сам со всем разобраться, просто признать себя виновным и получить, что причитается. Он говорит, ты и так уже почти во всем сознался. Нужно или чтобы той женщине стало лучше, или чтобы ты поделил это все пополам с твоим дружком Майком. Не покушение на убийство, все знают, что он тут ни при чем, ограбление. Сказать, что вы вдвоем это затеяли. Господи, Родди!

На этот раз отец бьет руками по столу.

— Чего тут удивляться, — слышит сам себя Родди, — что мама с моста спрыгнула.

Бабушка ахает и говорит:

— Нет.

А отец — отец меняется в лице и становится из серого багровым. Резко поднимается. Здоровый он. Родди чуть отступает назад, хотя их и разделяет стол. Отец открывает рот, потом снова закрывает его. Качает головой. Смотрит на бабушку и говорит:

— Пошли отсюда. Пусть сам выпутывается.

Она переводит взгляд с Родди на отца, который уже обошел стол и уходит, не глядя на Родди, проходит мимо охранника, к двери. Она встает. У нее слезы на глазах. Ей сложно протиснуться между столом и стеной. Она останавливается перед Родди, касается его руки.

— Боже мой, — говорит она.

Где-то там, в глубине, за жиром, за дрожащими губами и печальными глазами, она совсем одна. Когда он был помладше, ему казалось, что в ней можно спрятаться, что там будет безопасно. Сейчас он думает, что если бы попытался там спрятаться, то уже никогда не выбрался бы.

И все-таки это почти так же ужасно, как то, что он сделал с той женщиной. Он уже было тянется к бабушке, но отец из коридора зовет:

— Пошли. — И она поворачивается и идет за своим сыном.

«Преданность», — думает Родди.

Что сейчас произошло? Опять нечто, чего он не хотел, к чему не стремился. Охранник берет его за руку.

— Ладно, идем обратно. Ох и дурак же ты, парень.

Можно подумать, его это касается.

Стук по дверному косяку: это снова бабушка. Она берет Родди за руку, хотя охранник этого не одобряет и хмурится.

— Родди, солнышко. Я знаю, ты не всерьез это сказал. Ты всегда был умным мальчиком и добрым, и я не верю, что все так переменилось. Милый, пожалуйста, не дай одной ошибке все погубить. Хорошо?

Она еще раз сжимает пухлыми пальцами его руку и уходит. Блин. Он так хочет побежать за ней, заплакать, как маленький, и зарыться лицом в ее колени. Он правда добрый. Он бы даже жабе ничего плохого не сделал, даже в сурка не стал бы стрелять, как же так вышло, что он причиняет боль всем этим людям? Если он добрый, то откуда в нем берется столько зла?

Бабушка пользуется духами с сильным цветочным запахом, на основе сирени. Сколько он ей передарил этих пузырьков на дни рождения и Рождество! Запах все еще чувствуется и в дверях, и в коридоре, когда охранник ведет его назад, в его новую жизнь; в комнату отдыха, где по-прежнему играют в бильярд и карты и смотрят телевизор. Его новая, незнакомая, чужая территория: комнаты вроде этой.

Он помнит несколько славных темных мгнове-

ний, там, в поле, когда лежал и смотрел в небо, абсолютно спокойный и счастливый. Он никак не пройдет путь, отделяющий сегодняшний день от того, что было несколько дней назад. Та женщина в мятом синем костюме, возможно, тоже. Он надеется, что она не очень хороший человек. Надеется, что, может быть, она даже заслужила то, что произошло, и все это его, в общем, не касается, это ее за что-то наказали, а его просто случайно выбрали, чтобы ее наказать.

Может, это она во всем виновата. Может, от этого будет легче?

Джеймс (сокращенное издание)[1]

Возможно, было что-то необычное в том, что такая мирная женщина, как Айла, дожила до тридцати девяти лет, всего дважды пообщавшись с полицейскими — из-за превышения скорости и проезда под знак. Мартовским холодным вечером бледный Джеймс явился домой, собираясь это исправить.

— Нам надо поговорить, — сразу сказал он.

Естественно, она встревожилась, и естественно, подумала, что у него деловые проблемы. (Сейчас он ей скажет, что все потерял и они теперь бедны, то есть настолько бедны, насколько можно, учитывая, что у нее дела идут прекрасно.

— Дети не услышат?

Джейми был наверху, делал уроки, Аликс в подвале, одна, смотрела телевизор. Айла подумала, что оба они уже достаточно взрослые, чтобы участвовать в разговоре о любом ухудшении материального положения в семье, но промолчала.

---

[1] Примечания: 1

Очевидная отсылка к Библии, к Посланию Иакова (прим. перев.)

Он рухнул в кресло в гостиной, в пальто, как был. Нагнулся, посмотрел на овальный вязаный коврик, который они привезли из поездки по землям эмишцев три года назад. Он как раз открыл рот, собираясь заговорить, когда позвонили в дверь. Джеймс, наклонившийся вперед, просто открыл рот шире, и его вырвало на коврик. Айла остолбенела. Он дрожал и выглядел так, как будто у него начинается грипп. Что-то очень нехорошее было в том, что, глядя на него, она понадеялась, что у него просто воспаление легких или что-нибудь вроде того.

Полицейских было двое, мужчина и женщина, оба замерзшие, поскольку вечер выдался холодный. Они искали Джеймса. Айла указала в сторону гостиной.

— Он там, — сказала она и услышала в своем голосе смутное осознание того, что в их жизнь входит нечто новое и незнакомое. Аликс поднялась из подвала, Джейми спустился вниз. Джеймс стоял в дверях между прихожей и гостиной, держась за косяк, как будто боялся упасть.

Женщина-полицейский назвала его имя, занятие и место работы.

— Вы знаете, почему мы здесь, — сказала она.

Все, что она говорила, звучало как утверждение,

хотя интонация была вопросительная. Мужчина-полицейский поставил Джеймса лицом к стене, нагнул его, достал пластиковые наручники и застегнул их у него на запястьях. Айле показалось, что Джеймс сам завел руки за спину, готовый к тому, что на него наденут наручники, ему ничего не нужно было говорить. Она подумала, сколько раз они видели по телевизору, как это происходит. Как правило, было не так тихо. По телевизору люди выкрикивали какие-то вопросы, громко протестовали. Те, кто был рядом, тоже вносили свой вклад, чего, как вдруг поняла, ни она сама, ни Джейми, ни Аликс делать не спешили.

Мужчина-полицейский взял Джеймса за локоть и решительно повел его к двери, держась на полшага сзади. Женщина задержалась.

— Я полагаю, вы знаете, в чем дело, — сказала она.

Айла покачала головой. Если бы она заговорила, пришлось бы сказать: «Нет. В чем?» А ей хотелось как можно дольше не слышать ответа на этот вопрос. Казалось, что это — последний, решающий момент, отделяющий обычную жизнь, довольно-таки предсказуемое, в общем, удобное существование от ямы, в которую она вот-вот упадет.

Она услышала, как Джеймс слабо, едва слышно произнес в дверях:

— Простите меня.

Не «Я невиновен», или «Клянусь, это неправда», или «Это произвол!». Он выговорил:

— Позвони моему адвокату. — И его увели.

Айла видела свет фар, отражавшийся в стекле открытой двери: наверное, полицейская машина, хотя и без мигалки. Впрочем, тут ничего срочного, никто не убегает и не защищается, никто никому не угрожает и не мешает. Просто нездоровая, непробиваемая тишина.

Наконец Джейми сказал:

— Мам?

Ему было пятнадцать, голос низкий, но интонация, как у ребенка; ее напутанный маленький мальчик. И Джеймса тоже. А вот и Аликс, лапочка Джеймса, его ангелочек и его противник в недавнем, молчаливом столкновении, стоит у лестницы в подвал с расширенными глазами, грызет палец. Детская привычка.

— Все хорошо, — сказала Айла, но голос у нее был, как будто она разговаривает с младенцами. — То есть нет, все явно не хорошо. Но что бы это ни было, я разберусь. Мне нужно переговорить с офицером, а потом мы, все трое, сядем и

все обсудим. Подождите пока на кухне.

— Возможно, — предупредила ее женщина-полицейский, — вы захотите поехать в участок. У вас может оказаться мало времени.

Для чего, поговорить с детьми?

— Джеймс подождет. Что бы ему ни было нужно, он подождет.

Потому что вот в чем дело: если бы его несправедливо обвинили хоть в чем-нибудь, он бы из себя вышел. Он бы орал, бил кулаками по стенам, бесновался. Он бы не выглядел таким жалким, виноватым, уничтоженным, наголову разбитым. Его бы не вырвало. Он бы не молчал и не был таким бледным. И не сказал бы только: «Простите меня», — и еще: «Позвони моему адвокату».

Она знала его достаточно хорошо, чтобы это понять. И понимала, что сейчас узнает еще больше.

— Извините за беспорядок, я сейчас уберу коврик.

И она скатала его, бледно-розовые, фиолетовые и голубые петли свернулись у нее в руках, и отнесла его на кухню, где за столом сидели, ничего не делая, дети — совершенно ничего, даже не разговаривали друг с другом.

— Я скоро. Не беспокойтесь, наверное, это ка-

кая-то ошибка, что-то, связанное с работой.

Она достала из-под мойки мешок для мусора, запихнула в него коврик, завязала и отдала мешок Джейми.

— Вынеси это в гараж, хорошо? Да, Аликс, пока он этим занят, ты ведь сумеешь сварить кофе, правда? Тебе не трудно? Для меня. А вы угощайтесь чем хотите.

— Папа сказал позвонить адвокату.

Это Джейми.

— Да, я знаю. Это само собой, но сначала я хочу понять, что происходит. С вашим папой все будет в порядке. Есть определенные правила. Все не так, как по телевизору.

Можно подумать, она знает.

Вернувшись в гостиную, она осторожно присела на краешек дивана, и полицейская, которой явно было неловко, представилась:

— Констебль Доннелли. Если хотите, можете называть меня Сильвией.

Казалось, она пытается сохранить безучастное выражение лица. Может быть, полицейские всегда стремятся так выглядеть.

— Так вот, — начала она. Она глубоко вдохнула и посмотрела Айле в глаза. — Дело в том, что вашему мужу предъявлено обвинение в трех

случаях насильственных действий сексуального характера, в том числе по отношению к несовершеннолетней. В общих чертах так. Это пока основные обвинения. Могут быть и другие. Даже, скорее всего, будут. Да, и есть еще обвинения, как бы присоединенные к более серьезным, по совокупности, так это называется.

Начав звучать, эти слова звучали еще какое-то время. Той частью мозга, которая оценивала происходящее, Айла поняла, что Сильвия была готова говорить и говорить, пока не увидела, что Айла начала задыхаться, и только тогда остановилась. Она давала Айле время. И пыталась понять, насколько та потрясена.

Потому что, конечно, думала, можно ли на самом деле не знать, что муж на такое способен? Можно ли вести хоть какую-то совместную жизнь и не знать? Да, могла сказать Айла, да, можно. Как выясняется, можно.

Она не знала, какое выражение приняло ее лицо. Все тело у нее застыло, но она хотя бы знала, где оно. Стопы и колени тесно прижаты друг к другу, руки сложены на коленях, серьезная поза для того, чтобы выслушать серьезные новости. Усевшись именно так, она сумела сохранить неподвижность, обрела способность выдержи-

вать удары, не падая и не корчась. Заметила, что на тыльной стороне ладоней у нее появились пигментные пятна, которых прежде не было.

— Обвинения, — продолжала и продолжала Сильвия, — выдвинуты девушками, которые работают в двух магазинах вашего мужа. Вот почему я сказала, что могут быть и другие, потому что расследование продолжается и кто-то еще может сделать заявление, когда узнает. Я говорю об этом, чтобы вы поняли, что, как мне ни жаль, это может быть только начало, этим все не закончится.

Но кое-что все-таки на этом закончилось.

— Младшей из пострадавших пятнадцать, остальным по восемнадцать, но, как я понимаю, пока неясно, сколько было по крайней мере одной из них, когда произошло преступление. Предположительно произошло, прошу прощения.

Очень мило с ее стороны, что она, по доброте своей, просит прощения.

Пятнадцать? Столько же, сколько Джейми. Немногим старше Аликс.

— Да, и конечно, «насильственными действиями сексуального характера» можно называть многое, но, насколько я знаю, об изнасиловании речь не идет. В обвинениях упоминаются в ос-

новном агрессивные прикосновения, поцелуи, такого рода вещи. Хотя имело место грубое принуждение. Все девушки работали в магазинах вашего мужа по совместительству, я сказала? После школы, по выходным.

Как Айла, которая увидела Джеймса, медлительно и текуче перемещавшегося в своем облегающем костюме по отцовскому магазину, двадцать лет назад, и захотела его.

— Первой обратилась с жалобой младшая девушка, вернее, ее родители. Две старших сделали заявления, когда услышали о первом деле. Они учатся в университете, обе. Говорят, что пытались сами справиться с ситуацией, потому что им обеим нужна работа, чтобы продолжать учиться. Они работают в разных магазинах и явно незнакомы, так что вероятность сговора очень невелика.

Давно ли Джеймс понял, что у него проблемы? Судя по всему, достаточно давно. По крайней мере, несколько дней назад.

Хоть одну из этих девочек, из этих молодых женщин, хотя бы одну влекло к Джеймсу? Пыталась ли она быть соблазнительной, привлекательной, задевала ли его нарочно, улыбалась ли особо сверкающей улыбкой, когда он входил в магазин?

Даже если да, изменит ли это что-нибудь?

— В основном они говорят, что он ловил их в уединенных местах — в кабинетах, кладовках, — и набрасывался. Хватал за грудь и вообще распускал руки. Одна также говорит, что он расстегивал брюки и заставлял ее трогать себя. Их опросили и записали показания. Очень подробно.

Слова били, как град. Каждое оставляло вмятину. Беда была в том, что она видела. В том, что она представляла себе Джеймса.

Она отчетливо его видела. Она и подумать о таком не могла, но теперь, да, видела, как Джеймс хватает девушку, заставляет прикоснуться к нему. Как это получилось? Она видела, как стройные тела отшатываются или съеживаются. Видела, как он настаивает, принуждает, охваченный простым вожделением — не потребность, просто похоть, — как его лицо искажается, принимает выражение, которого она сама не видела ни разу, но которое вдруг показалось ей вполне возможным.

Он предал ее так во многом, что она не все могла осознать и перечислить, но было еще и это — она могла представить себе все. И это тоже было роковым предательством. Она подумала:

«Что ж, значит, так».

Какая-то холодная и рассудительная часть ее мозга постепенно возобладала. Это было к лучшему. Скорбь понемногу заняла свое место. Первое потрясение прошло. Айла начала делать то, что было необходимо. Она встала. Она пожала бы констеблю руку, если бы была уверена в том, что та подаст свою. Может ли так получиться, что кто-то подумает, что она помогала Джеймсу, была его сообщницей, поощряла его набеги на молодую плоть? Возможно. Так бывает, и вполне возможно, что полицейские об этом подумывают. Другие будут винить ее еще в чем-то.

Сама она винила бы себя за невнимательность, за то, что не думала ни о чем плохом, тем более об этом.

— Может быть, позовете кого-нибудь побыть с вами?

Как будто кто-то умер. Неужели констебль Сильвия Доннелли полагает, что близкие и знакомые ринутся сюда с утешениями и кастрюльками?

— Нет, спасибо. Не сейчас. Мне нужно поговорить с детьми.

— Хотите, я пойду с вами?

— Вы очень добры. Наверное, так было бы даже лучше, но все же не надо. Мне кажется,

чужих быть не должно. Только так я смогу им сказать, — первый раз горечь прорвалась, как сломанная кость сквозь кожу, — что вся их жизнь пошла кувырком. Знаете, час назад они смотрели телевизор и делали уроки. Были просто детьми. Час назад у них была обычная жизнь. Ничего из ряда вон выходящего, нормальная, немного скучная… — Ее голос дрогнул. Она не заплачет. — А теперь все совсем не обычно, правда?

— Боюсь, что так, — мягко сказала констебль Доннелли. Она коснулась руки Айлы. Похоже было, что она не боится замараться. — Хотите знать, что предстоит сегодня вашему мужу? Какова процедура?

— Не особенно. Я думаю, его адвокат в курсе.

— Хорошо. Но вам лучше знать, что как только ему предъявят официальное обвинение, какая-то информация просочится в прессу. Имя, адрес, обвинения. Завтра он в первый раз предстанет перед судом. Я думаю, совсем ненадолго. Это формальность. Сложно сказать, узнает ли об этом кто-нибудь. Журналисты. Все может быть. Но вам лучше быть готовой ко всему и подготовить детей. Может быть, стоит отменить доставку газет, если вы их получаете, и не включать телевизор.

Ох, Джеймс. То, как он, судя по всему, мог по-

ступить с этими девочками, с этими молодыми женщинами, было само по себе достаточно плохо, но они, даже если и работали в его магазинах, все-таки были ему чужими. А посмотрите, как он обошелся со своими детьми!

— Спасибо, — сказала она, — что предупредили.

У двери констебль Доннелли достала из кармана формы карточку.

— Вашему адвокату понадобятся наши имена и служебные телефоны. И вам, возможно, тоже.

— Да. Спасибо.

Она плотно закрыла дверь, но, оглядевшись, подумала, что в доме теперь не безопаснее, чем снаружи. Все загажено, все уязвимо.

Из кухни вышли Аликс и Джейми, Аликс осторожно держала обеими руками, маленькими, с длинными пальцами, любимую кружку Айлы, голубую керамическую.

— Вот, мам. По-моему, я сделала, как ты любишь.

Она подала кружку неторопливо и торжественно, как подношение или подарок. Может быть, она, как и Айла, и, возможно, Джейми, хотела знать, но одновременно пыталась отгородиться от знания мелкими, бесполезными движениями.

Айла положила им обоим руки на плечи.

— Пойдем в гостиную, хорошо?

Она подумала, что кухню, общее и полное семейной истории место, трогать не нужно. Гостиной они пользовались редко, так что большой потери не будет, если они после обнаружат, что не могут туда войти. В гостиной Айла и Джеймс читали, смотрели видео и телевизор, иногда жевали что-нибудь перед сном, иногда даже держались за руки. Гостиная для нее была уже загублена. Она подумала, как осторожно и тщательно она теперь будет подходить ко всему в доме, выбирая места, которые уцелеют после всего этого. Наименее зараженные уголки, вот куда им придется забиваться.

Где она будет спать? Только не в той спальне.

Она нарочно села в кресло Джеймса, не успевшее остыть после констебля Доннелли, для которой оно, наверное, было еще теплым после Джеймса. Если Джейми и Аликс, сидевшие на краешке дивана, представляли себе в этом кресле Джеймса, эту картинку пора было начать стирать. Она удивлялась тому, как ясно понимает эти сиюминутные мелочи и как до сих пор умудрялась упустить из виду такие важные вещи.

Под слоем льда полыхал такой костер!

— Сейчас, — начала она, — я вам объясню, что случилось.

Очень скоро Аликс начала плакать. Джейми оцепенел. Айла встала с кресла и, пересев на диван, между ними, обняла Аликс одной рукой и положила другую на спину Джейми, взяв его за плечо. На то, чтобы рассказать, что ей было известно, ушло совсем немного времени. Она чувствовала, как все это сыплется, обрушивается, наваливается на них.

— Он это правда сделал? — наконец спросил Джейми.

Аликс подняла зареванные, печальные глаза.

— Я думаю, это возможно, — сказала Айла. Может быть, нужно было позволить им надеяться? Сегодня воздух в доме загустел и помутнел от лжи, но это все-таки их отец. Их связывало с ним что-то свое. — Но мы, конечно, ничего не знаем наверняка, и иногда полицейские совершают страшные ошибки.

Аликс немного оживилась, Джейми нет. Айла глубоко вздохнула и почувствовала, как разрастается лед в ее груди.

— Нам нужно держаться вместе и понемногу двигаться дальше, решая по одному вопросу за раз. Так что решайте, пойдете ли вы завтра в

школу, а я пока позвоню адвокату. Идет?

Мелкие задачи, подумала она, небольшие шаги, так это можно вынести. Прыгнешь, рванешься, и треснувшее, хрупкое стекло под ногами провалится. Так ей казалось. И она не хотела, чтобы ее дети поранились осколками.

Хотя все равно поранятся. Теперь этого не избежать.

Она так хотела понять, что делать. Она так хотела, чтобы Джеймс понял, что делает, прежде чем бросаться на девочек в кабинетах и кладовках.

— Сначала мне нужно позвонить Бетани, — внезапно сказал Джейми.

Айла была изумлена; она пока не готова была звонить даже Мэдилейн или Мартину, не говоря о родителях Джеймса, даже не очень понимала, как рассказать обо всем адвокату Джеймса, которому, как она осознала, придется передать дело кому-то из своих партнеров, более сведущему в уголовном праве.

— Я недолго. Я не буду с ней болтать, я просто хочу знать, не сделал ли он с ней что-нибудь.

Господи.

— Нет, только не папа! — выкрикнула Аликс. — Он не мог!

Казалось, это что-то из «Алисы в Стране Чудес»:

Аликс уменьшилась и снова стала маленькой девочкой, Джейми на глазах состарился. Айла гадала, кем стала она сама. Кем-то не слишком приятным. Но продолжавшим держаться оледеневшими пальцами.

— Тогда давай, — сказала она Джейми. — Адвокат подождет.

Она обняла Аликс, погладила ее пылающие волосы, почувствовала, как они пружинят под ладонью.

— Все будет хорошо, милая, не волнуйся, мы со всем справимся, понятно, что ты расстроена, но все как-нибудь уладится. — Она сама не понимала, что говорит, понимала только, что лжет.

Джейми тоже понимал.

— Черта с два, — сказал он и пошел звонить Бетани.

Нет, ну а что Айла должна была сказать рыдающему ребенку, девочке с разбитым сердцем? Что-нибудь умное?

Но что-нибудь она делать все-таки должна. По крайней мере, проявлять материнскую заботу.

— Как Бетани? — спросила она у Джейми, вернувшегося в гостиную.

— В порядке.

Вполне достаточный ответ.

У нее не было сил удерживать его, и он ушел к себе, мрачный и тихий. Она коротко переговорила с адвокатом Джеймса, обрисовала ему ситуацию в общих чертах, продиктовала телефоны полицейских. Аликс всхлипывала на диване, девочка, которая когда-то раскидывалась во сне, устав от радости. Айла укрыла ее одеялом и села рядом, присмотреть за ней, а потом неожиданно проснулась, когда начало светать, все тело у нее затекло от неудобного положения в кресле. Удивительно, как им всем удалось заснуть; но у сна свои задачи: обезболивание, забвение.

Спал ли Джеймс? Где и как?

Аликс и Джейми не пошли в школу. Аликс, похожая на олененка, на щенка, на кого-то юного и уязвимого для пули, для удара, отказалась завтракать. Джейми пил апельсиновый сок, Айла грызла сухой тост.

— Вашего отца, — осторожно сказала она, тревожа рану, потому что так было нужно, — сегодня, наверное, поведут в суд. Если хотите с ним увидеться, это можно устроить.

— Нет, — сказал Джейми, — я — нет.

Аликс наблюдала за братом.

— И я нет, — твердо сказала она.

Когда Айла позвонила Мартину, сказать, что не

придет на работу и, вкратце, почему не придет, он сказал:

— Господи, поверить не могу.

Значит, он добрее ее. Но это просто выражение такое. Он бы мог сказать: «Ты что, шутишь, что ли?» — хотя она явно не шутила.

Она сказала, чтобы ему не пришлось говорить этого самому:

— Начинай думать, чем это может обернуться для нас. Для начала, сколько народу об этом узнает. Вряд ли бизнес пойдет в гору оттого, что у одного из деловых партнеров мужа обвиняют в неоднократном сексуальном насилии. Над детьми. Подумай. Едва ли многие из наших клиентов сочтут это большим плюсом.

Он был достаточно добр, чтобы резко сказать:

— Даже думать об этом не смей, Айла. Просто разбирайся с тем, что тебе предстоит, мы без тебя ничего делать не будем. Выпьешь со мной, если я заеду попозже?

Она подумала, что это может оказаться кстати.

— Ты настоящий друг.

Он мог быть плохим мужем, Мартин, но он не был насильником. Это, с учетом обстоятельств, обеспечивало ему высокую позицию в ее списке добродетельных мужчин.

Она позвонила Мэдилейн, которая, разумеется, ахнула и сказала:

— О господи. Боже мой. Невероятно. Ужасно. Я приеду, как только смогу, ты подождешь?

— Конечно. Спасибо. Ничего, если я тебя попрошу пару часов посидеть с детьми? Они не пошли в школу, а мне придется ненадолго уйти.

— Все что угодно. Все, что смогу. Сукин он сын.

— Да.

Однако он был не сукиным сыном, он был сыном немолодых родителей, которым нужно было все рассказать. Это тоже она должна сделать? Тук-тук-тук, целый день, один кошмар за другим?

Позвонил адвокат Джеймса. Не тот, которому она звонила накануне, тот занимался делами фирмы, другой, специалист по уголовным делам. Представился Стивеном Годвином. Сказал:

— Я бы хотел, чтобы вы подъехали ко мне как можно скорее. Мне сегодня предстоит разговор с вашим мужем, у него слушание во второй половине дня. Я хочу поставить вопрос об освобождении под залог, так что мне нужно знать, сколько вы готовы заплатить, и еще кое-что о нем. Глава семьи, добропорядочный гражданин, прежде не привлекался, семья в него верит, все в таком духе. Потом мы все обсудим подробнее.

Лично. Какие-то тенденции в его поведении, которые вы могли заметить. Я понимаю, вам сейчас нелегко, но чем раньше мы начнем, тем лучше, так я полагаю. В одиннадцать? В половине двенадцатого?

Какой вдохновляющий собеседник, этот Стивен Годвин. *Тенденции?*

— Знаете, — сказала она, — нет. Я попробую объяснить. — Она ходила по комнате с переносной телефонной трубкой в руке, взад и вперед, взад и вперед, и телефон пощелкивал в такт ее словам и очень освежавшей ее злости. — Дело вот в чем. У него больше нет семьи, в залог за него не будет внесено ни гроша, и я понятия не имею ни о каких его тенденциях.

Дети сидели на кухне, но, скорее всего, прислушивались. Число вещей, до которых ей было дело, которые она могла предотвратить, было не бесконечно.

Голос у него стал успокаивающий, как будто он говорил с опасно растревоженным большим животным.

— Поймите, я знаю, что вы чувствуете.

Да ну?

— Это очень непростое для вас время, понятно, что вы расстроены, любой бы расстроился. И

все-таки поверьте мне, у меня есть опыт в таких делах, потом вы пожалеете, что не начали действовать уже сегодня. Вы с мужем уже давно вместе. У вас дети, о них тоже нужно подумать. Если не прилагать усилий, все выйдет из-под контроля. Лучшая защита — это нападение, вот о чем я говорю.

— Мне не нужно напоминать, — сказала она ледяным тоном, — чтобы я думала о детях. Я наняла вас, и на этом мое участие заканчивается. Да, и еще мне нужно знать, насколько этим делом заинтересуются журналисты. Полицейские сказали, что это возможно.

— Понятно. Да. Такое возможно. Пока я могу только сказать, что это будет зависеть от того, что еще происходит в городе. Но рано или поздно они заинтересуются. Уважаемый бизнесмен, молодые сотрудницы, вы понимаете. Должен предупредить, что говорить с прессой было бы очень неразумно.

— Это я знаю. Да и потом, мне нечего сказать.

— Послушайте, я еще раз прошу, не дайте вашему раздражению, каким бы обоснованным оно ни было, все погубить. Простите, но все это выглядит так, будто вы считаете его виновным. У вас есть для этого основания?

— Нет, никаких оснований.

Едва ли она могла сказать, что ей было ясно, что Джеймс виновен. Или что он сам признал это довольно-таки омерзительным образом, когда позвонили в дверь. Она представила себе, как Стивен Годвин качает головой, положив трубку, и думает: неудивительно, что Джеймса потянуло к более сговорчивым женщинам.

— Папа не может вернуться домой? — спросила Аликс из кухни.

Они все слышали.

— А вы хотите, чтобы вернулся?

Так нечестно. Что девочка может ответить на такой вопрос? Она не успела ответить, потому что заговорил Джейми — новым, рычащим, угрожающим голосом:

— Пусть лучше не возвращается.

О боже. Айла подтащила к себе стул. Это оказался стул, на котором обычно сидел Джеймс. Вот, опять она это делает: замещает его образ своим. Закат золотил кленовый стол; почему этот жуткий день выдался таким солнечным?

— Послушайте, — сказала она, — я не знаю, что вам сказать. Я не знаю, как помочь. Вы оба расстроены, вы злитесь, вы запутались — и я тоже. Но я вам вот что скажу: мы друг друга не бросим.

Дома мы можем плакать, орать, ругаться, что угодно, а еще мы будем друг о друге заботиться. Я не буду вам говорить, что в этом нет ничего плохого, потому что все на самом деле плохо, и я не могу сказать, что будет дальше, я не знаю. Но мы справимся. А еще нам придется думать и о других. О ваших бабушке и дедушке, ваш отец — их сын, и мне придется им все рассказать, это будет нелегко. Главное, нужно держаться вместе и заботиться друг о друге, и тогда мы справимся.

Речь вышла не очень зажигательная, но они как-то выпрямились.

Потом приехала Мэдилейн, раскрыла объятия, и Айла, прижимаясь к ней, наконец почувствовала, что вот-вот рассыплется на атомы и молекулы. Ей хотелось совсем раствориться в крепких маминых объятиях, но, разумеется, сделать этого было нельзя. У нее были свои дети. Мгновение, и она выпрямилась, и просто сказала:

— Спасибо.

Мэдилейн кивнула, погладила Айлу по руке.

— Я понимаю, — сказала она, и Айла подумала, что, возможно, в самом деле понимает.

Она оставила Мэдилейн с Джейми и Аликс, они трое уселись рассеянно играть в скрэббл при включенном телевизоре.

— Только никаких новостей, — шепотом сказала Айла матери.

Стоять в знакомой гостиной у родителей Джеймса и рассказывать им обо всем оказалось невыносимо.

— О господи, — бледнея, сказал его отец. Из пожилого человека он внезапно превратился в старика.

Айла поняла, что и он тоже смог все себе представить. Мать Джеймса, как и Аликс, уткнулась лицом в сложенные руки.

Они были неплохими людьми. Он был их единственным сыном, единственным ребенком. Рушилось то, что они создавали всю жизнь.

Но внезапно его мать переменилась, в ней появились ярость, и жесткость, и мощная целеустремленность. После секундной растерянности ум у нее прояснился, хотя ясность эта была совсем иного рода, нежели у Айлы.

— Так, — сказала она, — что будем делать? Это нелепо. Это чудовищно. Нужно немедленно этим заняться. Избавиться от этого.

Интересно, что она имела в виду.

Отец Джеймса, встряхнувшись и собравшись, а еще, возможно, испугавшись и запутавшись, тоже нашел слова:

— Что за глупость, — сказал он. — Запятнать имя человека, и из-за чего?

Правда, это было и его имя. Ему было небезразлично, что станет с этим именем.

Айла не могла ни помочь, ни объяснить, ни рассказать, ни утешить. Она едва могла спасти себя саму. Она оставила их возводить любые стены, которые удастся выстроить. Так поступают родители: в отличие от жен, которые делают поспешные выводы. Еще она оставила им телефон Стивена Годвина. Насколько она понимала, они попытаются внести за Джеймса залог. Ей было все равно, удастся им это или нет.

— Как сделать, чтобы дети не узнали? — спросила мать Джеймса, когда она уходила.

По мнению Айлы, несколько запоздалая забота о внуках.

— Они уже знают почти все, что я вам рассказала. К тому же они были дома, когда его арестовали. — Его мать вздрогнула, представив себе, как это, «арестовали», и Айла коснулась ее руки. — С ними все будет хорошо. Они, разумеется, не пошли в школу. Да, я совсем забыла, но боюсь, что об этом могут сообщить в новостях. Вам лучше быть готовыми к этому.

Мать Джеймса была шокирована:

— О, нет.

Его отец положил ей руки на плечи. Казалось, он тоже в шоке. Впрочем, разве не для всех это было шоком?

— Чего хотят эти девушки? — спросил он. — Чего они добиваются?

Должно быть, он забыл, как безжалостен его сын, как Джеймс добивается того, чего хочет.

По возвращении домой время показалось пустым и остановившимся. Было нечем заняться, столько нужно было сделать. Измученная Аликс бесцельно слонялась по дому; в подвале Джейми, сложив руки, злобно смотрел телевизор; Мэдилейн делала яичный салат.

— Я подумала, может быть, бутербродов сделать? — сказала она. Беспомощно посмотрела на Айлу: — Я не знаю, что делать. Не знаю, чем помочь.

— Просто будь с нами. Спасибо. Ты не знаешь, как я могла так ошибиться? Ты знала, какой он на самом деле?

— Нет, милая, нет. Кто же мог знать? Не мучай себя. Это с его сердцем что-то не так, а не с твоим. Знаешь, я очень хорошо усвоила, что нельзя до конца понять, что у человека на сердце. Если он хочет что-то скрыть, никогда не узнаешь, что

там.

Откуда Мэдилейн это знала? Основываясь на каком опыте? Айла не могла спросить. У нее в голове не осталось места для нового знания, тем более для откровения.

— Ну, по крайней мере, — задумчиво продолжала Мэдилейн, — хорошо, хоть не мальчики. Это было бы еще большим ударом.

Они уставились друг на друга. Айла видела, что мама пытается сохранить серьезное лицо, и почувствовала, как в ней начинает пузыриться что-то непривычное. Услышала, что фыркает. И обе они захохотали, постанывая и утирая слезы.

— Ох господи, — выдохнула Айла, — всегда может быть еще хуже.

С этим ничего нельзя было поделать. Они не могли остановиться.

— Мам! Бабушка! — мгновенно отрезвил их Джейми. Он был мрачен, как туча.

Мэдилейн успокоилась первой.

— Не сердись, — сказала она, — это просто разрядка. Нам всем иногда нужно разрядиться.

— Я ухожу.

Он развернулся. За ним захлопнулась входная дверь.

— Черт, — сказала Айла.

В кухню вплыла Аликс:

— Вы тут что, смеялись?

По тому, как она это произнесла, ясно было, что она с удовольствием не поверит своим ушам.

— Куда Джейми пошел?

— Ему захотелось пройтись, — сказала Мэдилейн. — Кушать хочешь? Я приготовила яичный салат. Мы с мамой просто разговаривали. Наверное, увлеклись и стали говорить слишком громко.

Айла не была уверена, что сможет что-нибудь съесть, чтобы ее не стошнило, но салат был хорош: вкус из детства, обычная, мамой приготовленная еда. Аликс поковырялась в тарелке:

— Ты пойдешь к папе? А то вдруг он скажет… Ну, ты знаешь.

Что он ничего не сделал, подумала Айла; наверное, Аликс имела в виду, что он может это сказать. Или что непонимание, путаница, просто зло было в чем-то другом. Или что он, папа-волшебник, может обернуть время вспять и вернуть их к относительному счастью, к чудесно скучному представлению о мире, которое было у них сутки назад.

— Может быть, — сказала Айла, не уточняя, что имеет в виду: что он скажет или что она пойдет к

нему и спросит.

Бедный Джейми, сбежавший из дома, пытающийся убежать от того, что ему представлялось, от идиотского, необходимого смеха мамы и бабушки. Айла понимала, что его подтолкнуло. Если бы у нее не было его и Аликс, если бы она ни за кого не отвечала, она бы прыгнула в машину и помчалась, вдавив педаль газа в пол, через всю страну, на другой континент, куда угодно, куда могла бы добраться раньше преследовавших ее образов. Но у нее были Джейми и Аликс, она отвечала за них. Возможностей, как и картинок, представлявшихся ей, было немного. Все подчинялось Джеймсу и тому, что он сделал. Вот уж соль на раны. Она снова засмеялась, на этот раз резко и в одиночестве. Аликс и Мэдилейн вздрогнули.

Какие возможности, интересно, видит сейчас перед собой Джеймс? До недавнего времени их, должно быть, была масса, бесконечное разнообразие, полный буфет наслаждений, сколько сможешь жадно заглотить. Она неожиданно встала.

— Я еду в суд. — И, как Джейми, вышла из дома.

Внезапно стало необходимо срочно внима-

тельно посмотреть на Джеймса. Изучить его, пытаясь связать то, что она думала прежде и что знала теперь. Она хотела бы, чтобы его можно было пришпилить булавками, как бездумные коллекционеры прикалывают бабочек, чтобы понять, как устроена их красота, чтобы понять, как устроена неуловимая, хитрая порочность — в его случае. Все дело в защитной окраске. В том, что существа меняют форму и цвет, чтобы их не замечали. Чтобы можно было делать что хочешь и тебе не мешали — теперь это было и про Джеймса, хотя звучало несколько безумно.

Женщина в справочной суда любезно помогла Айле отыскать нужный зал заседаний. Все оказалось организовано куда более по-деловому, чем она представляла: одно большое, полное народа, пространство, отведенное под определение меры пресечения. Смогла бы Айла так же легко выговаривать что-то вроде слов «определение меры пресечения»? Наверное, нет.

Она скользнула в один из последних рядов. Люди приходили и уходили. Она видела, где сидят адвокаты, и скамью, на которой сменялись заключенные, привезенные из тюрьмы, когда слушались их дела. Появлялись и другие обвиняемые, с адвокатами или без, приходившие из

внешнего мира через ту же дверь, через которую пришла Айла. Зрителей было не так много, как она думала, никаких, к примеру, толп или убитых горем семей. Сам зал казался не предназначенным для церемоний, просто рабочее место. Никакого дорогого полированного дерева, резных украшений в виде весов Фемиды, просто большая, пустая, выкрашенная в серый цвет комната со скамьями и столами. Она начала понимать, как проходит слушание: называют имя, вызывают человека, как правило мужчину, зачитывают обвинение, приводят доводы за и против освобождения под залог, судья иногда подзывает адвокатов посовещаться, часто стороны приходят к соглашению без всяких совещаний, привычные, скучающие голоса следуют знакомому сценарию. Для Айлы все это было странным и чужим: вся эта жизнь, эти истории ограблений, сделок с наркотиками, тихих семейных вечеров, превратившихся бог знает во что, сошедших с рельсов. Такое жестокое зрелище, такая страшная драма! И все проходит так спокойно!

И, посмотрите-ка, вот и Джеймс; один из немногих заключенных, на ком был костюм, правда, костюм этот он не снимал со вчерашнего дня. Учитывая обстоятельства, выглядел он неплохо.

Она поняла, что надеялась, что будут синяки, разбитая губа, какое-то праведное отмщение. Еще она предпочла бы, чтобы он больше сутулился, и глаза у него бегали, но он сидел прямо, спокойно, почти гордился собой. Нет, конечно, не гордился. Просто он с помощью костюма, сшитого на заказ, все еще сохранял защитную окраску. Но, однако, какое самообладание. И какая энергия нужна, чтобы хотя бы попробовать это преодолеть.

Стивен Годвин оказался холеным седовласым мужчиной, просуетившимся те несколько секунд, что ушли на то, чтобы определить Джеймсу меру пресечения и отказать в освобождении под залог. Адвокаты о чем-то быстро, неразборчиво поспорили, и все. Как заключила Айла, жизнь в преступном мире кипела, и Джеймс оказался в числе невеликих, хотя и наиболее гадких птиц.

Ей тем не менее это ничего не давало. Она могла быть потрясена, могла его презирать, но все-таки у нее была потребность, как в воздухе, как в пище, в том, чтобы увидеться с ним и послушать, что он скажет. И опять все оказалось организовано неожиданно по-деловому. Ее направили в нужную тюрьму, в нескольких километрах от здания суда. Кто бы мог подумать? Она поехала.

В тюрьме последовали формальности, связан-

ные с удостоверением личности, предъявлением личных вещей и проходом через устройство, похожее на детектор металла в аэропорту. Обыска с обшариванием не было, и комната свиданий была просто комнатой, не перегороженной решетками или стеклом, как в кино, еще одно просто место, на этот раз там были стулья с прямыми спинками и охранник.

Джеймс, появившись в дверях, сказал:

— Айла! Слава богу.

В других обстоятельствах эти слова могли бы звучать почти трогательно. И ему лучше было бы на этом остановиться.

— Я надеюсь, ты принесла мне, во что переодеться, и бритвенные принадлежности. Поверить не могу, что меня все еще не выпустили под залог, но если у меня будут некоторые вещи, я, наверное, смогу продержаться еще несколько дней.

Какая жизнестойкость, какая способность к восстановлению сил.

Он и в самом деле был удивительным существом.

Красивый мужчина, хотя кожа под подбородком чуть обвисла и черты стали резче, чем были, но она подумала, что хорошим человеком он не выглядел. Был ли он им когда-нибудь? Было

какое-нибудь преображение, которого она не заметила?

— Слушай, — сказал он, понижая голос и кивая в сторону охранника, — я не могу здесь разговаривать. Но мне очень жаль. Честное слово, я не хотел тебя огорчать, да и потом, все это такая чушь. Все это неправда, все высосано из пальца. И это не имеет никакого отношения к тебе, к моим чувствам к тебе, честное слово!

«Честное слово!» Как будто она такая дура, что не заметит, что, даже отрицая все, он признавался. Или как будто она не понимала, что за чувства у него к ней были прежде или какими стали теперь. Он всего лишь не хотел, чтобы она плохо о нем думала. Он вообще не любил, когда о нем думают плохо, но то, что было связано с ней, видимо, особенно задевало его гордость.

Об этом, как и о многом другом, он мог бы подумать и раньше.

— Это просто мелочь, и это другое. Но я тебе клянусь, оно не стоит того шума, который из-за него подняли. Очень жаль, что мне вчера не удалось об этом с тобой поговорить. Предупредить тебя. Я тебе все расскажу, когда буду дома, хорошо? Все совсем не так, как говорят, понимаешь?

Она не сводила с него глаз; потом покачала

головой, не говоря «нет», просто чтобы в голове прояснилось.

— Ты удивительный человек, Джеймс. По-своему потрясающий. (Он попытался что-то сказать, но потом решил, возможно, оценив выражение ее лица, промолчать.) — Так вот, раз ты такой удивительный, может быть, посоветуешь, как помочь твоим сыну и дочке понять, что их отец насилует детей?

На лице у него отразился ужас.

— Бога ради, Айла, я не насилую детей. Как ты можешь такое говорить?

— Наверное, потому, что слышала обвинения. Те, которые уже есть. Я так понимаю, могут быть и другие. А ты как бы сказал?

Ей было любопытно. Должно быть, у них уже давно проблемы с переводом.

— Не детей, — настаивал он. Ему, похоже, казалось, что у него есть право настаивать. — Как ты могла такое подумать? У нас самих дети. Должна понимать.

— Так ты, — сказала она мягко, — поймешь, если какой-нибудь дяденька средних лет возьмет Аликс на работу года так через три, а потом накинется на нее? Это будет на твой взгляд нормально, вполне объяснимо, и это не будет насилие над

ребенком? — Ее голос стал жестче. — Раз уж ты спросил, они с Джейми немного расстроены и растеряны. У них не все в порядке. Так что мне нужно к ним возвращаться.

Она посмотрела на часы. Часы с серебряным браслетом, которые он подарил ей, отдав выгравировать на них ее инициалы, пару лет назад, на Рождество. Она поняла, что начинает составлять список вещей, от которых придется избавиться. Жалко. Часы ей нравились.

— Айла, — сказал он умоляющим голосом. Прося ее о милосердии, о сочувствии, о чем-то вроде этого? Конечно, он мог придать своему голосу любое звучание, которое счел бы полезным. Или ее имя было последней привычной вещью, за которую он ухватился. Это было бы грустно.

— Мне нужно идти. Я только скажу тебе несколько слов. Первое — когда тебя отпустят под залог, который не я выплачу, домой ты не пойдешь. Второе — я тебе не слуга, так что, если тебе нужно белье и лосьон после бритья, придумай, как их достать. И третье. — Она наклонилась вперед, вглядываясь в него в последней тщетной попытке рассмотреть что-то в темноте за его глазами. — Ты понимал, что делаешь? Что в тебя вселилось? С чего ты взял, что можешь так рис-

ковать своими детьми, не говоря уже обо мне? И какая часть твоего мозга сказала тебе, что это нормально — набрасываться на молоденьких девушек? Ты вообще понимал, что творишь? Ты кем себя вообразил?

У нее перехватило дыхание.

Он прищурился. Он тоже наклонился вперед, удивительный человек, как будто готовился к прыжку. Охранник слегка кашлянул, напоминая о себе. Они напряженно смотрели друг на друга. Ничего привычного не было. Долгая история была стерта.

— Ты поосторожнее, — сказал он медленно, твердо, с настоящей, ледяной яростью, — не спрашивай, если не уверена, что хочешь услышать ответ.

Она уже не первый раз слышала от него это, что-то в этом роде; но это был последний раз.

Она встала, повернулась и пошла прочь, остановилась в дверях и ненадолго обернулась. Ослепительно улыбнулась. Подождала ровно столько, чтобы он начал на что-то надеяться, чтобы глаза у него посветлели от облегчения, чтобы любовь — искренняя или притворная, — смягчила углы его рта.

И так, с ослепительной улыбкой она, слава богу,

смогла спокойно добраться до дома.

По секрету

Отвечая на вопросы, которые казались и сложными, и по большей части бессмысленными, Родди по крайней мере может чем-то занять себя по вечерам. Форма за формой, страница за страницей, они позволяют ему отключиться от шума, от постоянного крика и ругани, от обещаний разобраться завтра, которые плывут по коридору от одного ненормального к другому и взрываются, достигая цели.

Еще хуже: время от времени — плач или громкие жалобы.

Он не может себе представить, что кто-то настолько заинтересуется им, его желаниями, склонностями и способностями, чтобы из всего этого что-то вышло. Наверное, все это просто загрузят в компьютер, и он выдаст какую-нибудь простую и ясную последовательность действий, которая, на сколько бы вопросов Родди ни ответил, на самом деле с ним слабо связана. Нет, а как иначе? Как и в школе, ответ нужно выбирать из предложенных вариантов. Как и в школе, вопросы сложнее, чем кажутся; и к тем, которые

выглядят совсем невинно, он относится с большим подозрением, думая, что именно они и есть самые сложные, так что ему приходится кружить и кружить вокруг них, как собаке, которая топчется на полу, прежде чем улечься.

Ответы по большей части все равно неверные, как бы осторожен он ни был, потому что оттенки в расчет не берутся. Вот, например: «Ты бы предпочел: а) поиграть в хоккей, б) поплавать, в) посмотреть телевизор». Он бы мог ответить, что предпочел бы посмотреть хоккей по телевизору, как, бывало, с папой по вечерам, когда они сидели, не разговаривая, если только дело не доходило до красивого гола или драки, но все равно были вместе. Другой уже ближе к истине: «По телевизору ты любишь смотреть: а) спортивные программы, б) передачи о природе, с) сериалы». И все равно тут не все перечислено. Ощущение такое, что его заставляют выбирать из того, что он сам бы никогда не выбрал.

В тестах на умственное развитие полно вопросов со всякими моделями и фигурами: какое слово лишнее в этой группе? как будет выглядеть эта фигура, если ее вывернуть наизнанку и повернуть? Поезда и самолеты несутся друг на друга на разных скоростях — когда произойдет столкно-

вение? У него хорошо получается со словами. Он может изменить фигуру в уме и понять, как она будет выглядеть, если ее вывернуть наизнанку и повернуть. С движущимися объектами труднее. Ясно одно, они столкнутся. К чему все и сводится, если вообще во всем этом есть какой-нибудь смысл.

Но по крайней мере в тестах на умственное развитие, какими бы хитрыми, сбивающими с толку или просто сложными они ни были, нужно давать простой ответ. Вопросы в других тестах, в тех, которые должны выявить, что он за человек, ему хочется пропустить — или оставляли бы место для пояснений, что ли. «Когда ты рассержен, тебе хочется: а) кричать, б) ударить по чему-то, в) ударить кого-то». Варианта «ничего из вышеперечисленного» нет, нет и места, чтобы сказать, что ему обычно хочется уйти в свою комнату, или уйти из дома, одному или с Майком, в город или в поля, по-разному бывает. Чтобы в голове прояснилось, злость выкипела, острые края сточились. А бить по чему-то бессмысленно, да и неестественно как-то; и он вряд ли кого-то бил оттого, что рассердился. Это больше похоже на то, как в воду входишь: определяешь свое место, не даешь себя свалить с ног, или закрутить, или

утопить.

Некоторые орут, когда сердятся. Майк, например. Он видел, как Майк скачет, размахивает руками, выходит из себя из-за какой-нибудь ерунды, вроде спустившей велосипедной шины, какой-то мелкой неприятности. У Родди голосовые связки не так устроены, и руки у него не годятся для бурной жестикуляции. Орать — это принимать все близко к сердцу. Слишком раскрываться.

С тестами на способности тоже непросто. «Ты бы предпочел работать: а) с числами, б) со словами, в) руками». Это еще ладно. А что делать с этим: «Какое из этих животных кажется тебе опасным: а) собака, 5) леопард, в) скунс». Это вообще к чему? Разве что этот Стэн Снелл, консультант, или психолог, или кто он там, собирается учить его на укротителя или смотрителя зоопарка, иначе какая разница, какое животное кажется ему опасным?

Та женщина, думает он, работает со словами, она же рекламой занимается. Наверное, она богатая и, наверное, раз у нее такая работа, умная. Ужасно трудно быть умной и лежать неподвижно, ничего не чувствовать. Может быть, он и та женщина в очень похожем положении, у них

обоих голова идет кругом, и оба они ничего не могут поделать с тем, что происходит. Наверное, кровать в больнице примерно такого же размера, как его койка в камере. Даже если Родди лежит очень спокойно, он все равно чувствует под собой жесткий матрас, грубое одеяло, которым накрыт, то, как бьется сердце, как немножко урчит в животе. Где его пятки, как у него дрожат веки, когда он напрягается, — она ничего этого не чувствует? И если у нее что-то чешется, не может почесаться? Да, но, наверное, у нее и чесаться ничего не может.

За то, что был таким идиотом и позволил всему этому произойти, он заслуживает и этой койки, и серых стен, и унитаза без крышки. Родди именно там, где и должен быть. Он на своем месте в этом мире полоумных, тупых, тех, с кем обошлись сурово и несправедливо. Не обязательно плохих — вот он не совсем плохой, и он наверняка не один такой — но каких-то переродившихся, перекрученных, каких-то полустертых. Здесь есть люди, похожие на высохших змей, раздавленных грузовиком. А есть и уроды какие-то, вроде белок-альбиносов.

Звуки, несмолкающий гул голосов, звучащих то громче, то тише, шум шагов, звон посуды, стук

бильярдных шаров, орущий телевизор, даже просто шуршание страниц — это одно. А есть еще запахи. Здесь воняет дезинфекцией и заключением: безумный запах отчаяния, который всех так или иначе выводит из себя. Ночами здесь кричат, во сне или наяву, боль продолжается круглые сутки. Родди думает, что и он мог бы так, если бы решил, что так нужно, если бы захотел, если бы не был против того, чтобы другие знали, что происходит у него в голове.

Если бы думал, что им не все равно.

Теперь он лучше себе представляет, как все будет. Стэн Снелл и Эд Конрад объясняли, что после того, как ему вынесут приговор, недели через две примерно, его переведут из изолятора в исправительную колонию. Это слово, *исправительная*, должно бы звучать хорошо, обещать надежду и изменение жизни, какое-то улучшение, но явно не звучит.

О том, чтобы признать себя виновным, вопросов быть не может, он это сделает сегодня. Потому что он виновен; и, конечно, потому, что в ту первую ночь он признался, просто разболтал полицейским обо всем, вплоть до того, что у них с папой и бабушкой было на ужин. Обо всем, кроме Майка. Что же удивляться, что Эд Конрад

все время вздыхает. Родди положился бы, если бы мог, на милость и понимание, на официальное, судебное понимание единственной, маленькой, все разрушившей ошибки.

«Надеяться ты можешь, — говорит Эд Конрад, — но я бы особо не рассчитывал».

Родди казалось, что правосудие вершится медленно, но адвокат объяснил, что все иначе:

«Признание вины все ускоряет. Это на судебное разбирательство уходит целая вечность».

Что Эд Конрад сделал для Родди, так это заключил сделку, договорился. Он очень горд собой, горд, что ему это удалось.

«Ты признаешь себя виновным в вооруженном ограблении, и обвинение в покушении на убийство снимается. Это здорово, знаешь ли, отделаться от обвинения в покушении на убийство. Я сказал, что если они будут настаивать, будет судебное разбирательство, потому что ты себя виновным не признаешь, и есть все основания полагать, что ты выкрутишься. Но если они снимут обвинение, ты сознаешься в вооруженном ограблении, и все закончится. Все сэкономят время и деньги, тебе зачтется то, что ты избавил всех от лишних процедур, и от процедуры допроса свидетелей тоже, например той женщины, так

будет лучше и для тебя, и для всех. — Он усмехнулся. — Кроме меня. Для меня было бы лучше заваливать твоего отца счетами, пытаясь как-нибудь тебя защитить».

Мило.

А вообще, он, наверное, прав, он все время защищает тех, кто виновен в том, в чем их обвиняют, так что все, что он может сделать, — это вытаскивать их, как умеет. И может быть, не его это вина, что в такую работу душу не вложишь, он же делает все, что должен. Наверное, это уже здорово, достаточно здорово. Родди рад, что ему не придется давать показания и видеть, как вызывают свидетелей. Не столько ту парализованную женщину, да она и не сможет, других, например папу, ведь это его ружье. И Майка. Что бы ни сказал Майк, выслушать это будет нелегко.

А так Эд Конрад сказал, что зачитают обвинение, потом что-то расскажут полицейские, только факты, в общем «ничего страшного». Он говорит, единственное, что может случиться, это что та женщина или кто-то из ее семьи захочет сделать какое-нибудь заявление перед вынесением приговора.

«И ты начинай думать, что скажешь в суде, чтобы все поняли, какой ты славный парень, и

как обо всем сожалеешь».

В голосе Эда Конрада иногда начинает звучать какой-то ржавый металл. Именно из-за Родди или ему вообще его клиенты не слишком нравятся?

«Напиши что-нибудь, — сказал он. — По крайней мере, начни». И Родди попытался. Только вот у него может получаться вычеркнуть лишнее слово из группы слов, но он заходит в тупик, когда доходит до выражения важной мысли целиком. Он написал: «Я прощу прощения». А дальше? Что еще сказать? Что он все бы отдал, чтобы все изменить? Что он этого не хотел? Слова ничего не меняют, они ничего не исправят, они недостаточно сильны для настоящей жизни.

Может быть, поэтому здесь столько крика и тех, других звуков страдания, которые еще хуже: потому что слов недостаточно. Со временем, возможно, и у самого Родди будет оставаться все меньше и меньше слов, пока, наконец, он не станет просто показывать пальцем и мычать.

Этим утром, когда звучит сигнал подъема, распорядок Родди внезапно меняется. За ним приходит охранник, и Родди не встает в очередь в столовой. Он и еще трое идут прямо в душ, а когда они выходят, им дают не коричневые спортивные костюмы, а настоящую одежду. Наверное,

бабушка или отец привезли вещи. Его единственные строгие брюки, темно-серые, которые он ни разу не надевал с тех пор, как бабушка их по дешевке купила в прошлом году, «потому что будут в твоей жизни особые случаи».

Вот как раз один из них.

И еще белая рубашка, которую он раньше не видел. Новая. Специально купленная? Кто, интересно, носит белые рубашки?

Те, кого обвиняют в серьезных преступлениях, так он думает.

И в общем ему кажется, что он неплохо выглядит. Тело у него куда больше приспособлено к брюкам и белой рубашке, чем к тому, чтобы болтаться в коричневых спортивных костюмах.

Одному из трех других парней нечего надеть, кроме спортивного костюма. Ужас; никого нет, кто бы удосужился хотя бы одежду принести.

— Ты, твою мать, — говорит тот парень, — чего уставился?

— Уймись, — предупреждает охранник.

Их грузят в фургон, чтобы снова везти в суд. Это как наркотик — подышать несколько секунд горячим, вольным воздухом, глубоко вдыхая, как будто вернулся на неделю, на две назад, в те семнадцать лет, когда такой воздух был нор-

мальным, когда им можно было дышать, и это было в порядке вещей. И еще, на секунду между воротами и фургоном на его голову обрушилась жара. В такой денек хорошо за городом. Денек, чтобы поплавать, курнуть травки, пивка попить, поесть мороженого.

Только не мороженое.

Он, все остальные и охранники поднимаются в зал суда на лифте прямо из гаража в подвале, в конце пути им не приходится выйти на улицу. Их вводят через боковую дверь и усаживают рядком на скамье. Как птицы на проводе. Бабушка и отец Родди сидят вместе во втором ряду в той части зала, где помещаются зрители, или как это называется в суде. Там полно незнакомых людей. Может, они пришли посмотреть на кого-то из других парней, а может, просто из любопытства, поглазеть, как идет суд, упиться чужим несчастьем. Его, например; он сам чувствует себя совершенно обреченным.

Господи, а ведь кто-нибудь из них, может быть, связан с той женщиной. Он не уверен, узнает ли ее мужа, если еще раз его увидит. В дверях «Кафе Голди» он был просто силуэтом, не человеком, чье лицо Родди, захваченный своей катастрофой, мог запомнить. Еще у нее двое детей, о которых

говорил Эд Конрад, они старше Родди. Так что возможно, что один, два, три или двадцать человек в этом зале — члены ее семьи. Он представлял себе, как один из них встает в зале суда, вынимает пистолет и всаживает в него пулю. И это по-прежнему не кажется невозможным, хотя, с другой стороны, кажется. Он не хочет умирать. Просто дышать — это уже что-то. Интересно, той женщине тоже так кажется? Вряд ли. Она, наверное, думает, что просто дышать недостаточно.

За этими людьми хоть кто-нибудь наблюдает?

Отец и бабушка смотрят на него, бабушка улыбается и кивает, но потом они отводят глаза. Они принесли ему одежду, они платят адвокату, но они могли его не простить. Или отец мог его не простить, а бабушка выбрала, кому она будет верна.

Люди ради верности совершают большие ошибки. Попадают из-за нее в беду. Взять хоть его самого: когда дошло до дела, он чуть было не передумал насчет «Кафе Голди», но не отступил. Думал, что подведет Майка.

Это не совсем правда. Он не отступил, потому что не хотел, чтобы Майк в нем разочаровался; а это не совсем то же, что верность.

А Майка опять нет. Родди опускает взгляд,

смотрит на свои ноги, на коленки, на худые запястья без наручников. Безнадежный, тоскливый, тяжелый случай, вот как все это, на его взгляд, выглядит.

На этот раз судья настоящий, в черной мантии и все такое. Когда он входит, все встают, а потом опять садятся, он осматривает зал, бросает взгляд на Родди и остальных, но ни на ком не задерживается. Возможно, для него это просто еще один рабочий день. Как отец Родди, встает каждое утро, может, это просто работа, которую нужно делать, потому что у него есть какие-то обязанности, ему о ком-то нужно заботиться. В любом случае, непохоже, что его интересуют те, кто собрался в этом зале, хотя сложно увидеть доброту или жестокость в таком толстом лице и небольшом количестве седых волос. Главное — это все равно черная мантия. Очень серьезно выглядит.

Когда объявляют дело Родди, это как выход на сцену. Его одного ведут с боковой скамьи на стул рядом с Эдом Конрадом, за одним из столов перед судьей. За другим большим столом сидит какая-то женщина и один из полицейских, которые его взяли. Тот, что побольше и постарше; он был добрее, хотя он явно не на стороне Родди.

А Родди опять делает то, что ему и во сне не

могло присниться: встает рядом с Эдом Конрадом и признает себя виновным в вооруженном ограблении. Он слышит свой голос:

«Виновен», — когда судья велит ему говорить. Эд Конрад сказал, что в суде надо говорить внятно, так он и делает, и слово «виновен» отдается и разносится по всему залу, как будто он этим гордится.

Все очень плохо. Женщина, адвокат противной стороны, та, которая сидит с полицейским за другим столом, рассказывает, как все было. Потом вступаст полицейский, излагает все факты, включая то, что рассказал им сам Родди, а это значит все, кроме Майка.

Еще полицейский зачитывает заявления других людей: мужа той женщины, про то, как он сидел в грузовике снаружи, услышал выстрел, вбежал внутрь и увидел Родди. И как Родди вырвало, тоже увидел, как он отдал ружье Майку и убежал. Так стыдно это слушать: что вырвало и что сбежал.

— На сегодняшний день нам не удалось доказать, что у обвиняемого были сообщники.

На то, чтобы расшифровать это предложение, уходит какое-то время. Это значит, догадывается Родди, что они пытались еще кого-то привлечь,

Майка, и не смогли, но на этом дело не закончится. Майк может по-прежнему прятаться. Может, поэтому его здесь и нет. Даже так.

Эд Конрад склоняется к нему с приветливым лицом, как будто собирается что-то спросить у своего клиента, и шипит:

— Сядь прямо. Руки положи на колени. И убери с лица это выражение.

Если он о том, чтобы Родди перестал щуриться, то это невозможно. И так плохо, что все знают, как его вырвало. Будет только хуже, если он заплачет.

Полицейский говорит:

— Пострадавшая все еще в больнице, прогноз относительно ее полного или частичного выздоровлении пока туманен.

Это значит, что Родди не единственный, кто не до конца понимает, что натворил. Так странно, что есть эта женщина, которую он при встрече, наверное, и не узнает, если только она не будет в том же синем костюме, и они внезапно совершенно изменили друг другу жизнь. Родди мотает головой, потому что она никак не прояснится. Эд Конрад откашливается, ерзает на стуле и хмурится.

Полицейский рассказывает про Дорин: что она

уехала на несколько дней к сестре; что преступники, наверное, думали, что она сделает, как в прошлом году, то есть велит оставлять всю выручку в кафе до своего возвращения, только на этот раз она передумала. Полицейский говорит:

— Выбор времени преступления говорит об умысле и осведомленности. Преступление было нацелено именно на «Кафе Голди», это не случайный выбор.

Эд Конрад возражает. Он говорит, что это бездоказательное предположение, а не один из фактов, имеющих отношение к делу, которые должен излагать офицер. Судья соглашается. Эд сам себе кивает, как будто сделал что-то умное.

Когда приходит его очередь задавать вопросы, все, что делает Эд Конрад, это заводит речь о том, как отец Родди хранит ружье и патроны.

— Моему клиенту, в конце концов, всего семнадцать, — говорит он. — Окружающие его взрослые должны быть ответственнее и защищать его, если потребуется, даже от него самого.

— Это вопрос? — спрашивает судья.

— Это? — говорит Эд. — Нет. — И садится.

Если бы это не касалось самого Родди, было бы смешно. А Эд Конрад все-таки крут. Если учесть, кто ему платит, это сильно: предположить, что

отец Родди тоже кое в чем виноват. Или что он дурак. По-любому.

На этом почти все заканчивается, только адвокаты, та, что против Родди, и Эд Конрад, подводят итог. Та, что против него, заводит речь про умышленное преступление, подростковое насилие, жестокость, безответственное поведение, невинную жертву, необходимость сурового наказания в назидание другим. Родди все это кажется общими фразами; как будто это не совсем о нем.

Эд Конрад ведет себя совсем по-другому. Для начала он медленно и тихо говорит о матери Родди, но что он может о ней знать? Он рассказывает о мальчике, которого выдернули из привычной обстановки и окружения из-за семейной трагедии. Трудолюбивая семья, тяжелое положение, любящие бабушка и отец, старающиеся изо всех сил; у того, кого так поддерживают, есть будущее. Беспечный, неразумный, трагический поступок, говорит он, совершенный мальчиком, в котором есть хорошие задатки, которые окончательно погубит суровое наказание.

— Он совершил ужасный поступок, — говорит Эд Конрад. — Но он не ужасный человек. Лишь однажды он пошел против своей натуры, и это не должно погубить такой потенциал.

Что, по его мнению, он знает о натуре Родди? У Родди нет четкого представления о себе самом. И о потенциале тоже. Он вообще не хочет думать об этом слове. Оно означает будущее, которого не будет. Что он мог бы сделать, что могло бы получиться, если бы у него получилось.

Но вот чего Эду Конраду не надо было делать, так это заговаривать о матери Родди. Если бы он знал, что адвокат начнет переходить на личности, он бы ему сразу сказал, чтобы он ее не трогал. У нее и так хватало неприятностей, чтобы сюда еще и ее приплетать. Вроде как обвинять, хотя Эд Конрад прямо этого не говорит.

«Мама была хорошая, с ней было весело, я ее любил».

Ему хочется встать, прервать Эда Конрада и сказать это вслух. Он с ненавистью смотрит на Эда Конрада, сузив глаза. Эд Конрад в ответ хмурится, предупреждая.

Судья говорит:

— Назначаю оглашение приговора через неделю, в десять утра, в этом зале.

Эд Конрад думал, будет пара недель, но судья, наверное, считает, что думать особо не о чем. Может, он приговорил Родди уже сейчас, просто это было бы слишком быстро.

— Сейчас я заслушаю заявление потерпевшей стороны и заявление обвиняемого, если он пожелает сделать таковое. — Голос у судьи утомленный. Как будто все, что тут могут сказать, он уже слышал. Может, и слышал. Всем это уже не в новинку, кроме Родди.

Он слышит, как вздыхает Эд Конрад, и видит высокого дядьку в костюме, не как у отца, пошикарнее, темно-серая тройка, а не черный пиджак с брюками, он выходит из-за спины Родди вперед. Непохоже, что он расстроен или нервничает, но вид у него очень серьезный. Он выглядит знакомым, по крайней мере его фигура: последний раз она была видна в дверях «Кафе Голди». Судья говорит:

— Пожалуйста, назовите себя суду.

И он говорит, как его зовут и где живет. Что он — муж. И еще юрист. Произносит какое-то длинное название фирмы, там много имен, и одно из них — его собственное. Выглядит он уж точно умнее и дороже, чем Эд Конрад.

— Я буду краток, — говорит он, — поскольку не считаю, что этот молодой человек, — кивнув в сторону Родди, но не взглянув на него, — достоин того, чтобы тратить на него время суда. Моя жена, однако, заслуживает внимания.

Это обидно, хотя ясно, что у него есть все основания быть резким.

— Я просто хочу немного рассказать вам о ней, чтобы вы поняли, что за человек пострадал в результате всего этого, пострадал не по своей вине и не из-за своих действий.

Что говорить, так и есть. Она ничего не сделала, просто появилась не в тот момент.

— Мы женаты всего шесть лет. Первый ее брак закончился очень скверно, и ей было очень тяжело устроить свою жизнь после этого. Но у нас получилось. Мы смогли.

Ура, молодцы. Эд Конрад опять на мгновение хмурится и искоса смотрит на Родди.

— У нее двое детей, оба уже взрослые молодые люди, она очень много сделала, чтобы помочь им пережить тяжелое время после того, как распался ее первый брак. Я не собираюсь вдаваться в интимные подробности, но хочу сказать, что всю свою взрослую жизнь она была преданной матерью, а также талантливой и одаренной деловой женщиной, одним из партнеров и вице-президентом крупного рекламного агентства. Полезным и деятельным членом общества. Но, конечно же, для меня самое главное, — его ровный голос становится тише и начинает пресекаться и дро-

жать, — что она — мой партнер. Мы дали друг другу второй шанс, что в нашем возрасте — большая победа.

Раз так, можно было бы предположить, что он кое-что знает о вторых шансах. Можно предположить, что он задумается, не следует ли дать кому-то еще один шанс. Но Родди думает, что просить его об этом было бы слишком.

— Нам нравится наша жизнь. Моя жена умеет и любит праздновать, и как раз это мы собирались сделать — отпраздновать счастливое событие, купив мороженого. Вот и все, что она сделала: пошла за мороженым.

Его голос пресекается. Если уж у Родди сердце сжимается, то что говорить об остальных?

— А теперь по вине этого парня она в больнице, не может двигаться и ничего не чувствует. Она парализована. Даже если обеспечить ей лучшую медицинскую помощь, в самом лучшем случае пройдут месяцы, возможно, годы, прежде чем она выздоровеет. Этот молодой человек, — и он внезапно смотрит на Родди, прямо ему в глаза, горячим взглядом, который вплавляется в Родди, не давая ему отвести глаза, — этот молодой человек разрушил ее жизнь, уничтожил наши надежды, он сделал нечто более ужасное, чем может себе

представить.

Откуда он знает, что Родди может себе представить?

Хотя он прав.

— Искупить это нельзя. Ни один приговор этого не исправит. Справедливости тут быть не может. Я просто хочу попросить вас, ваша честь, при вынесении приговора помнить о любящей, работящей женщине, которая наконец-то была счастлива.

Блин. Счастлива. Любима.

Возвращаясь на место, он идет напряженной, немного подпрыгивающей походкой и не смотрит на Родди. Родди кажется себе крохотным, раздавленным, как насекомое, одно из тех, красоты которых никто, кроме него, не видит.

Теперь он слышит, что кто-то еще приближается, подходит сзади, мягкие, мелкие шаги. Девушка. Молодая женщина, совсем рядом с ним, он бы мог до нее дотронуться, если бы немного наклонился и вытянул руку. И она, как будто собираясь наклониться, протянуть руку и дотронуться до него, останавливается на пути через зал. Она очень странно на него смотрит.

У нее ослепительные рыжие волосы, пылающие, распущенные и потрясающие. Платье

на ней такое, какое вряд ли подойдет кому-то с такими волосами; длинное, коричневатое и просвечивает, так что ноги видно, и сверху тоже. Она такая худая. Она такая — нет, слабая — не то слово, но чем-то она похожа на стеклянных зверушек, которых бабушка держит в горке. Кажется, что она может разбиться. Рассыпаться.

Кожа у нее бледная и чистая, и ему кажется, что она просвечивает, как платье.

Но главное — это глаза: внимательные, смотрят прямо на него. Не то что она сердится или в любую секунду может вытащить пистолет, скорее она пытается заглянуть внутрь его головы. Он почти кивает ей, так же серьезно, как бы говоря: «Заходи, я тебе рад, делай, что хочешь, осматривайся. Спаси меня».

Происходит что-то, от чего кружится голова, что-то ужасное: его всего, с головы до пят, омывает и затапливает горячая, искренняя, безграничная любовь к этой девушке.

Когда она отворачивается и идет дальше, к столу судьи, ему становится легко, кажется, что его освободили, выпустили и вместе с тем бросили, он чувствует себя еще более потерянным, чем прежде.

Голос у нее высокий и чистый. Она говорит,

что она — дочь и что ее зовут Сияние Звезд. Судья говорит:

— Ваше имя, проставленное в свидетельстве о рождении, пожалуйста.

И она вздыхает и говорит:

— Аликс.

Она опять смотрит на Родди своими серьезными глазами. Говорит, что не ненавидит его. Если не ненавидит, то что? Любит? Нет, это он любит. Жалеет — тоже не совсем то.

Она говорит, что хочет только сказать, что у ее матери прекрасная душа.

— Ее тело парализовано, — медленно говорит эта девушка, обращаясь к Родди, как будто дотрагиваясь до него, так, что ему начинает казаться, что кожа у него отслаивается от тела и парит в воздухе, — но только тело, а дух — нет. У моей мамы есть надежда обрести мир, ей может открыться истина об умиротворении духа. Это очень трудно, но нечто столь важное не дается легко. Я просто хочу сказать, что это — надежда. Она существует для каждого, у кого есть потребность.

Ее глаза по-прежнему прикованы к глазам Родди.

У него есть потребность. Он даже думает, что

догадывается, что означают ее слова «нечто столь важное» и «умиротворение духа». Но это как во сне, он и понимает, о чем она говорит, и не может это уловить, оно ускользает.

Перед глазами у него все плывет, он теряет силы, как будто сейчас упадет, когда она проходит мимо него, возвращаясь на место. Все как-то хмурятся, шуршат, ерзают, и судья тоже. Как будто во всем зале только Родди услышал хоть что-то из того, что она сказала. На мгновение он почти понял что-то.

— Благодарю вас, — наконец говорит судья, и в голосе у него слышно: что за бред это был?

Родди обижается за нее; хотя, наверное, это с его стороны мелко. А она так щедра, у нее такая большая душа, такой высокий дух, что ей все равно.

— Ну что ж, — судья обращается к Эду Конраду. — Вашему клиенту есть что сказать, прежде чем мы прервем заседание?

Эд смотрит на Родди. А тот внезапно понимает, что встает. Это как в «Кафе Голди»: он делает что-то, чего не планировал и не обдумывал.

И что дальше?

И дальше он поднимается с места в своих строгих брюках и новой рубашке, глядя на человека в черной мантии, который ждет, когда он заго-

ворит, но все дело в девушке. Она сказала ему что-то важное, даже если он не совсем понял, что это означало, и он должен сказать ей что-нибудь в ответ. Что-то, предназначенное для них двоих.

— Простите меня, — выговаривает он. — Я очень, очень жалею о том, что сделал. Я не хотел. Я бы все отдал, чтобы этого не было. Я не знаю, как это вышло. Просто простите меня.

Ох нет, у него не вышло. Сказал как раз то, что считал бесполезным, и это совсем не то, что хочется сказать ей. Почему нет слов, чтобы сказать, что он на самом деле имеет в виду, сказать о глубине его сожаления, о раскаянии, о его внезапной и нелепой любви?

И благодарности.

— И еще, — говорит он, чуть поворачиваясь, чтобы краешком глаза видеть ее, — спасибо.

Вот, это уже лучше. Ближе к сути.

Все встают. Появляется полицейский, чтобы снова увести Родди. Родди, оглядываясь на пустеющий зал, видит бабушку и папу, которые беспомощно смотрят на него, именно с тем выражением, которое было бы невыносимо, если бы он искал взглядом их, но он смотрит на ту девушку. Она идет следом за мужем своей матери, он ее отчим, так, наверное. Она не оглядывается,

но то, как она двигается, ее прямая спина, уверенная походка, даже прозрачность и колыхание платья говорят ему, что, возможно, она все-таки услышала — не столько его слова, сколько то, что он хотел сказать. Так же, как он один, так ему кажется, догадался, что хотела сказать она.

С ним все было бы хорошо, если бы можно было продолжать на нее смотреть. Говорить не надо, хотя было бы хорошо, если бы она говорила, потому что ее слова что-то значат. «Сияние Звезд», — говорит он себе и потом произносит:

— Аликс.

Полицейский спрашивает:

— Что?

И Родди чувствует себя идиотом, но это неважно.

Вряд ли все так и должно было быть; скорее, как раз наоборот. На обратном пути, в фургоне он не то что счастлив — ему спокойно. Он сидит с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться от того, как она выглядела, как стояла рядом с ним, как не сводила с него глаз. Эти волосы, это хрупкое тело, эти слова, которые она произнесла, которые он не может вспомнить, он только знает, что пока они звучали, он был сильным, он был почти уверен в чем-то. И еще то, как ему казалось, что кожа у

него отслаивается от тела и парит в воздухе.

Катапульты и кипящее масло

— Мам, ты не спишь?

Ну, вообще-то спала. Но это голос Джейми, и делает Джейми то же, что делал иногда по утрам, когда был маленьким, — подкравшись, присаживается на ее кровать, — и поэтому она заставляет себя проснуться. Как будто плывешь сквозь арахисовое масло.

— Привет, — говорит он. — Ты как?

Она беспомощна, вот она как. Зависима, обречена, она в отчаянии, она скована бог знает какой аппаратурой и ограничениями. Она в ярости, которая пылает жарче и сильнее, чем любой из этих чертовых внутренних огней, о которых рассуждает Аликс. Вот как она, а он что думает?

— Ничего, — говорит она. — Устала.

— Я думал, ты захочешь узнать, что бабушка и Берт приезжают. Скоро приедут.

Вот как? Ей казалось, что они договорились оставить Мэдилейн и Берта в счастливом неведении как можно дольше, пусть проведут свой месяц — они так готовились к этому, так ждали — на одном из тех крохотных и уединенных

Карибских островов, куда особенно трудно добраться. А добравшись, так же трудно выбраться, особенно если ты стар и у тебя нездоровое сердце, как у Берта, и летишь ты чартерным рейсом, расписание которого не изменишь, как они и полетели. Зачем огорчать их, когда они далеко, и когда они ничего не могут с этим поделать? Айле кажется, что именно на этом они порешили с Лайлом, Джейми и Аликс. Что изменилось и почему?

Хотя, конечно, будет так хорошо, если мама будет рядом.

Мэдилейн семьдесят четыре, Берту семьдесят шесть, поэтому, когда они собрались в дорогу, все волновались, что с кем-то из них что-то может стрястись, а позаботиться о них должным образом будет некому.

«Не суетись, — сказала Мэдилейн. — Ничего с нами не случится, а если и случится — посмотри, какое чудесное место для похорон».

Мэдилейн в последние годы стала легче ко всему относиться, ходячая реклама преимуществ старости.

Она заслуживает лучшего. И Айла, конечно, тоже.

Мэдилейн и Берт вместе уже дольше, чем были

женаты Мэдилейн и отец Айлы. Когда Айла выходила за Джеймса и мать Джеймса и Мэдилейн плакали, это Берт вел ее к алтарю. Он славный. Добрый. Невысокий, пухлый, постепенно-постепенно лысел несколько десятков лет. Айла полагает, что если мама склонна к влечению и одержимости, то объекты у нее совсем другие. Они об этом особенно не говорили, хотя улыбались, обсуждая пристрастие Берта к полоскам, его бледные, волосатые ноги, когда он надевал шорты, и то, как он жмурился, когда кто-то чихал, — милая, странная привычка. Когда Мэдилейн говорит: «Он хороший», — Айла понимает, что она имеет в виду очень многое. Без всяких бумажек и формальных обетов Мэдилейн и он счастливо трусят рядом и очень привязаны друг к другу. Они до сих пор мимоходом прикасаются друг к другу — к плечу, колену, куда придется. Берт, похоже, воспринимает Айлу, и ее трудных отпрысков, и все ее беды и напасти как некий громоздкий багаж, с которым путешествует Мэдилейн и о котором нужно заботиться ради куда более значимого чувства.

Если они ссорятся или не понимают друг друга, если у них что-то не так, то они это держат при себе. Они оба на пенсии и потому объездили

пол-Европы и почти всю Северную Америку. Последнее время они чаще отправляются в туры, расписанные до мелочей, однако, поскольку Мэдилейн научилась многому, например нырять с аквалангом, непохоже, что безопасность сильно ее заботит. Берт тоже воспитал в себе склонность к приключениям, по крайней мере он охотно выходит с Мэдилейн в море, несмотря на свое нездоровое сердце. Оказалось, все напрасно беспокоились, что в этом путешествии с кем-то из них что-то произойдет. А еще оказалось, что матери на пенсию не выходят. Как бы они ни старели, как бы далеко ни уезжали, они всегда откликаются на зов, всегда готовы примчаться назад.

Джейми, наверное, видит отражение этих мыслей на лице Айлы.

— Ну, мы решили, что ей нужно сообщить. Тянуть было нельзя, она бы нас поубивала.

А у Айлы права голоса больше нет? Но увидеть Мэдилейн, увидеть, как она появится возле кровати, внезапно, как все теперь появляются… Глаза Айлы снова наполняются слезами. Господи, она стала сентиментальной. По крайней мере, настроение у нее легко меняется.

Когда Джейми и Аликс были маленькими, Айла бросилась бы за них и в огонь, и под машину.

Она бы и сейчас это сделала, правда, она бы еще подумала, как это у них не хватило ума держаться подальше от огня и машин. Эффект постепенного распределения материнства: Айле и в голову не придет спасаться, если опасность грозит Джейми и Аликс; Мэдилейн, ни секунды не думая, поменялась бы с Айлой местами.

Думать об этом, конечно, можно, но на практике не осуществишь. Оно и к лучшему для некоторых семей; не все родители безупречны.

Хотя с сыном другой матери Айла охотно поменялась бы местами, она бы поменялась местами с тем маленьким засранцем, который в нее стрелял.

Да, она вспомнила, о чем хотела спросить Джейми: о наркотиках. О том, как ему удалось искренне и насовсем отбросить это желание ускользнуть в обволакивающую тьму. В другую вселенную.

— Как они доберутся домой?

— Лайл говорит, поплывут на большом денежном плоту. Ну, вообще-то на маленьком частном самолете (Бедный Берт!), а потом на каком-то катере, и на самолете до Майами, но там какая-то задержка, у них уйдет на это целая вечность, и все очень сложно, но они скоро выезжают. Лайл

все устроил.

Мэдилейн с ума сойдет.

Когда Джейми было пятнадцать, и он рос, становясь высоким и худым, на его лице по-прежнему временами появлялось детское выражение, иногда неловкое, иногда жаждущее. Однажды он сказал, что хотел бы стать учителем, но было тяжело представить его в роли учителя; человека, облеченного полномочиями; взрослого мужчины вообще.

«Время еще есть, — сказала ему Айла, потому что думала, что и правда есть. — Ты можешь делать все, что пожелаешь».

Нужно было сформулировать это по-другому. Она говорила о хорошем, о том, что перед ним открыт весь мир. Она не думала о плохом.

Его отец тоже решил, что может делать все, что пожелает. И об этом она тоже не думала, хотя вскоре после того разговора с Джейми ей пришлось об этом задуматься. Сейчас, когда Джейми стоит возле больничной кровати, у него снова то же выражение лица — неловкое, жаждущее. Только теперь он уже мужчина. Кое-что уходит навсегда.

И еще одна странность: ей так хочется обнять его, но она уже начинает забывать, как это — сто-

ять на земле, или качать головой, или обнимать кого-то. Она с трудом вспоминает воздух, движение и устойчивость. Это очень странно, так быстро все забыть и вместе с тем так яростно тосковать о том, что забыла.

Она хочет, чтобы рядом была мама. Мэдилейн не может ничего поправить, и вообще никто ничего не может поправить, когда дело касается другого человека, это один из суровых уроков, который получаешь, превращаясь из ребенка во взрослого. Но с ней будет так надежно, на нее можно будет положиться.

Полицейские и адвокаты Джеймса были правы: его преступления привлекли внимание прессы, хотя и не стали сенсацией. В газетах упоминали его имя, название фирмы, самые крупные магазины. Сообщали, что у него есть жена и двое детей-подростков, имен которых, разумеется, не называли. От того, что имен не называли, было не легче. Все, кто их знал, знали, кто они.

Мэвис принесла сыра и холодного мяса. Еще несколько соседей и друзей заезжали и звонили. Айла понимала, что выглядит жалко, но была им благодарна: только что они могли сказать? «Мне так жаль», — подразумевало очень многое: жаль вас, жаль, что так вышло, вообще жаль. А

дальше?

На те первые, худшие, несколько недель Мэдилейн взяла отпуск и переехала к ним. Она готовила, играла в карты, отвечала по телефону, ограждая их от лишних слов, иногда очень гадких. Именно поэтому она могла сообщить им, что Джеймс, выпущенный под залог, жил у родителей. Айла пыталась, хотя и не слишком старательно, представить себе, как обстоят дела в их доме, в гнезде, куда вернулся опозоренный, уничтоженный сын.

Еще ей было интересно, пытается ли Джеймс представить себе, как обстоят дела в том доме, где все еще приходилось жить ей, Джейми и Аликс; но он, конечно же, пытался. Когда Мэдилейн спрашивала, хочет ли кто-нибудь с ним поговорить, никто не выражал желания. Аликс смотрела на Джейми и поступала так же, как он. Айла, глядя на нее, подозревала, что Аликс хочет поговорить с отцом, и думала, не стоит ли вмешаться, но не вмешивалась.

Иногда, проходя мимо комнаты Джейми, она слышала его голос, он подолгу говорил по телефону с Бетани. Айла, которой все еще было трудно найти слова, гадала, что он рассказывает, чем делится. Она начала уважать Бетани за то, что

та умеет слушать. И задумываться о том, что по этому поводу думают ее родители.

Мэдилейн перевела Джейми и Аликс в другую школу. Она сказала: «Вас там никто не знает. Начнете все заново».

Джеймс, интересно, не задумывался о том, что вся их жизнь пойдет кувырком, прежде чем хватать за молодую грудь своих служащих? Еще две дали показания. Были выдвинуты новые обвинения. Список вышел такой сложный, что за всем было не уследить, к тому же в какой-то момент подробности стали уже не важны. Он не признает себя виновным, сказала Мэдилейн, поговорив с его матерью. Стивен Годвин будет настаивать на том, что с младшими девушками ничего не было, а к тому, что произошло со старшими, их никто не принуждал, даже наоборот. «По обоюдному согласию» — эту формулировку он, судя по всему, собирался отстаивать.

«Все, похоже, сводится к тому, — сообщала Мэдилейн, — что девушки предпочтут забрать заявления и не участвовать в судебном разбирательстве».

Его мать, как она поняла, твердо убедила себя в том, что Джеймс не был ни в чем виновен, разве что у него были дурные мысли. И поэтому она

очень злилась на Айлу: за слабость, за отсутствие веры.

«А я ей сказала, — сказала Мэдилейн, — что не собираюсь выслушивать весь этот бред, и, если ей нечего больше сказать, она может не перезванивать. Извини, если я что-то не то сделала. Но то, как она себя обманывает, уже само по себе плохо, а если она собирается еще и тебя оскорблять, я ей этого не позволю».

Пару раз, поздно вечером, звонил телефон, и Айла, не думая, снимала трубку аппарата, стоявшего рядом с кроватью.

«Айла, не вешай трубку. Мне нужно с тобой поговорить».

Это звучало почти заманчиво. Она думала, что многое могла бы ему сказать, но стоит начать — и где остановишься? К тому же похоже было, что он предполагает, что она будет только слушать. К тому же он забывал сказать: «Пожалуйста».

Дело было в том, что она считала, что слова слишком малы, что они недостаточно сложны, или это годы работы в рекламном бизнесе так упростили ее словарный запас, что с его помощью нельзя было выразить что-то столь сложное, как ее теперешние чувства. *Предательство* не отражало сути, да и *ярость*, если подумать, тоже.

Так больно, что ноги подкашиваются: бессильная немота? Что-то в этом духе. Ей все время было холодно, она не могла заставить себя двигаться, часами лежала в постели под одеялами, свернувшись калачиком. Наверное, от горя. Она не думала, что может быть так больно, до остановки сердца.

Дело было не в том, что ей нечего было ему сказать, и не в том, что сказать хотелось слишком много, она просто не могла начать объяснять, что чувствует; поэтому она вешала трубку, не говоря ни слова.

Со временем, однако, обнаружилось и еще кое-что. Когда она сумела заставить себя встать с постели, ей показалось, что она сбросила лишний вес. Прошло какое-то время, прежде чем она поняла, что это было: какая-то часть ее, где-то глубоко, в самом дальнем уголке сердца, была почти благодарна за то, что его преступление было так очевидно.

Потому что то, что он сделал, было так явственно, так окончательно, что избавило ее от более изматывающего расставания, которое она смутно предчувствовала в будущем, через несколько лет, когда ей захотелось бы уйти от него без всяких видимых причин. Теперь, заклей-

менный, пойманный, виновный, он освободил ее от необходимости самой принимать нелегкие решения. Разрушение привычной жизни, отсутствие каких-то звуков — все это было грустно, она терялась от этого; но, проснувшись однажды утром, она поняла, что улыбается, потом то же повторилось на другой день. Это не делало ей чести. Это говорило о том, что неприятно было узнать. На ее взгляд, это означало, что, предавая другого и пренебрегая им, они поступали по-разному, но суть была одна. Тяжело было это признать, но тем не менее это было правдой.

Это не значило, что ужас и потрясения перестали бить ее, как электрический ток, всякий раз, когда она представляла себе, как он склоняется в кладовках над молоденькими девочками. Конечно, были вопросы: например, почему? И еще: есть ли рецепты для любви и выражения любви, и роковые признаки завершения любви и того, что ты встал на кривой и запутанный путь, ведущий к завершению любви? И еще: имеет ли любовь значение? И если да, то почему? Все эти вопросы казались и важными, и вовсе пустыми, раньше она сказала бы, что это глупо и вообще невозможно, но теперь это было и не глупо, и возможно.

Мэдилейн спокойно спала в старой спальне

Айлы и Джеймса. Айла перебралась в комнату, которая прежде служила домашним кабинетом Джеймса. Она вспоминала, как дом казался ей своего рода крепостью, и как ей казалось, что это хорошо. Теперь он и правда был крепостью, они в нем укрывались. Они вполне могли бы держать чаны с кипящим маслом на окнах и катапульты у дверей.

Берг часто заходил повидать Мэдилейн. Мартин тоже бывал, с его стороны это было вдвойне мило, потому что значило, что он оставил и жену, и любовницу. Он приносил с собой работу, заставлял обсуждать и принимать решения, и если Айла не желала вставать с постели, поднимался к ней и тащил ее вниз. Они занимались контрактами и планами кампаний, раскладывая бумаги на кофейном столике. Он говорил: «Как только будешь готова, возвращайся».

Джейми редко бывал дома, а когда бывал, упорно и тревожно молчал. Почти как сама Айла. Она прикасалась к нему, пробовала до него дотронуться, но не чувствовала, что он отзывается. Его легкие шаги были осторожными, почти крадущимися. Она говорила: «Поговори со мной». И еще: «Послушай меня». Но он не хотел делать ни того, ни другого; или не мог. Она думала, что

он, как и она сама, тихо, внутренне, переживает все эти удары. Думает о том, стоит ли кому-то доверять. Он по-своему защищался, и то, как он это делал, в общем походило на то, что делала она. Аликс, наоборот, обосновалась в гостиной. Ставшая внезапно моложе, похожая больше на девятилетнего ребенка, чем на двенадцатилетнего подростка, она сидела с Бертом и Мэдилейн на диване в розовой фланелевой пижаме, смотрела телевизор, в то время как Айла и Мартин возились неподалеку с планами и контрактами. Со стороны все это выглядело почти уютно. Не совсем по-семейному, но ужасно уютно.

Только Айла перестала верить тому, что видела. Если Джеймс смог так ее потрясти, если она сама себя удивила, то от любого человека можно ждать чего угодно. Берт в его полосатых рубашках мог быть самым жутким психопатом. То, что она знала, какие тайны есть у Мартина, означало, что Мартин умеет лгать. Ее восприятие было явно искажено. То, что она видела, совсем не обязательно совпадало с тем, что было у нее перед глазами. Это было похоже на безумие. Само слово *безумие* звучало безумно, в нем была опасная и отважная правда.

То, что ушло вместе с Джеймсом в наручниках,

было, как она решила, не самой ее жизнью, но тем, что она думала о своей жизни. Жизнь в данном случае означала не только обстоятельства, но еще и десятилетиями складывавшуюся мозаику из сведении, ответов, знаний и наблюдений, ощущений, звука голосов, запахов и цветов, всего, складывавшегося во что-то, на что можно было положиться, что было правдой, если и не для всех, то по крайней мере, самое меньшее, для нее.

— Как он мог? — выкрикнула она, говоря с Мэдилейн, и она не имела в виду: как он мог приставать к молоденьким девчонкам. Как он мог не только лгать, лгать подло и грязно, но и сам быть одной большой ложью?

Мэдилейн тогда очень рассердилась, голос у нее стал тихим, это верный признак. Она плотно сжала губы, ее темно-рыжие волосы, почти такие же, как у Айлы, но теперь крашеные, растрепались, как будто она только что зачесала их назад пальцами. Она уперлась руками в кухонный стол и стояла, тяжело опираясь на руки.

— Айла. Ну-ка послушай меня. Такие, как мы, не могут распознать таких, как он, да и не должны. Это не значит, что мы глупые или беспечные, это значит, что мы хорошие, что мы надеемся на лучшее. Знай это и никогда в этом не сомневайся. Ты

не позволишь ему все разрушить. Не позволишь.

Она была великолепна. И она говорила о доверии и надежде как о добродетели, а не как о глупости, не у поминая о еще одной возможности — что они были и тем и другим.

Конечно, она же мать. Вот, посмотрите на мать Джеймса, которая защищает своего непонятого, преданного, обиженного мальчика.

— Возможно, — сказала Айла. — В будущем. Я просто сейчас не вижу никакого будущего.

— А я вижу. Иди, прими душ. Ты на смерть похожа. Скоро дети придут, ты должна быть чистенькой и нарядной. И соберись, возвращайся на работу. Мартин говорит, чтобы ты возвращалась, когда будешь готова, но сейчас ты с каждым днем будешь все меньше и меньше готова. Конечно, есть люди, которые тебе в лицо не смогут взглянуть и не будут знать, как с тобой говорить, но чем дольше ты сидишь дома, тем хуже. И для тебя тоже.

Это было сурово, не по-матерински резко. Айла встревожилась и обиделась. Судя по всему, это отразилось на ее лице.

— Ты не подросток, — сказала Мэдилейн, — так что не надувай губы.

Господи, она надулась! Насупилась, глядя на

маму, и надула губы! Губы у нее задергались. Когда дети вошли в дом, они с Мэдилейн все еще хохотали.

За обедом Мэдилейн сделала объявление:

— Вы все знаете, что мне очень нравится проводить с вами целый день. Мало того, что вы — моя семья, а значит, по определению замечательны, я бы сказала, что вы — чудесные, удивительные люди, если бы я вас не знала как облупленных.

Дети, заметила Айла, перестали есть. Они настороженно смотрели на бабушку, как будто хотели сбросить неудобный башмак. И они тоже, поняла Айла, больше не уверены в том, что хороши, или в том, что хорош кто-то еще.

— Мне очень хочется остаться, но я думаю, будет разумнее, если я приберегу это на будущее, когда мне придется просить кого-то из вас присматривать за мной. — Все заулыбались. — Но пока нам всем лучше пожить своей жизнью. Вы двое, — она посмотрела на Джейми и Аликс, — пошли в новую школу, ваша мама скоро вернется на работу, а я сама скучаю по работе и по своему дому. Не надо, Аликс, — она увидела, что та собирается заплакать, — я знаю, что это нелегко, но теперь все будет хорошо.

В глазах у нее самой стояли слезы. Айла косну-

лась ее руки.

— Все, не буду вас больше утомлять. Представьте только, в какую болтушку я превращусь к тому времени, когда кому-то из вас придется взять меня к себе жить.

— Ты можешь жить у меня, бабуль, — ласковая Аликс. — Я всегда буду о тебе заботиться.

— Я знаю, что будешь, лапонька. Будем надеяться, что тебе еще нескоро придется это делать.

Джейми, как обычно, молчал. Как обычно, он ушел, как только все встали из-за стола.

— За ним нужно присматривать, — сказала Мэдилейн Айле, когда они загружали тарелки в посудомоечную машину.

— По-моему, он разговаривает с Бетани. Я иногда слышу, как он говорит по телефону. Но ты права, конечно, я за ним присматриваю.

Это у нее не слишком получилось, присматривать за ним, правда?

Потому что сейчас над ней нависает то, во что превратился тот мальчик. Десять лет прошло, он уже мужчина, хотя все еще молодой мужчина, и в его темных глазах появилась мрачная глубина. Где-то там прячется мир утраченных возможностей. И память о страшных вещах, которые делал он, которые делали с ним, — память, которой у

него не должно было быть.

Какое-то время, когда она думала, что он уходит вечерами к Бетани, так оно и было. Потом уже нет. Хотя прошло какое-то время, прежде чем Айла узнала, что он искал, где, в каких подземных переходах и переулках, чужих комнатах и квартирах, можно отыскать вещества, которые помогут ему чувствовать себя лучше. Или ничего не чувствовать. По крайней мере чувствовать, как он потом рассказывал, что летишь сквозь иную вселенную, яркую, цветную, где нет боли. Но там было трудно удержаться, и ему приходилось прилагать все больше и больше усилий, чтобы попасть туда, где цвета были яркими, где все стремительно двигалось и не было никаких проблем, совсем никаких.

Это случилось довольно быстро. Наверное, это всегда быстро случается, если этого очень хотеть. И если этого очень хочешь — вот как Джеймс, он тоже, так ей казалось, — можно довольно долго утаивать какие-то пороки, дефекты и недостатки.

Конечно, с Джейми не все было ладно, она это знала. И с Аликс, и с ней самой. Это было в порядке вещей, и, если Джейми резко стал хуже учиться, удивляться было нечему. Хотя Аликс,

наоборот, вышла в первые ученицы и упорно трудилась над своими домашними заданиями и проектами. Самой Айле было трудно сосредоточиться на работе, и ее не удивляло, что у Джейми те же проблемы. Ее удивляла Аликс.

— Я бы с удовольствием переехала, — как-то за обедом сказала им Айла. — Как бы вы отнеслись к тому, чтобы переехать куда-то совсем в другое место? Снять что-нибудь, пока не решим, чего нам хочется?

Она пыталась говорить обычным тоном, как будто они и в самом деле обсуждают что-то, но, откровенно говоря, для себя она все уже решила. Для нее в доме осталось не так много неиспорченных мест — кресло здесь, уголок там, — они были крохотными и с каждым днем становились все меньше. Она понимала, что это похоже на мелодраму, но с другой стороны, что вообще, если на то пошло, на нее не похоже?

Джейми сказал:

— А что, давайте, мне все равно.

Аликс смутилась и, казалось, готова была возражать, но сказала только:

— А нам опять придется идти в новую школу?

— Если не хотите, то нет.

Аликс вздохнула:

— Тогда ладно.

Столько потерь; но когда они втроем переехали в снятую ею половину дома, в чистенькое и аккуратное, только что отремонтированное, явно временное жилище недалеко от центра города, она подумала, что им будет лучше здесь, где никто не видел, как кого-то уводят в наручниках, сажают на заднее сиденье патрульной машины и увозят прочь с глаз, но не от сплетен и пересудов.

И все-таки в те месяцы, недели, дни и долгие вечера она, наверное, не сделала для них того, что должна была, для них обоих; это был поворотный момент, когда она, если бы была мудрее или чуть более в здравом уме, могла бы, наверное, так или иначе вывести их на верную дорогу. Когда они были маленькими и отчаянно, с визгом и смехом, катились с горок, она была хорошей матерью, стояла у подножия и ловила их; но когда они всерьез покатились под откос, она промахнулась, они выскользнули у нее из рук.

Психоаналитик — без него было явно не обойтись, — психоаналитик сказала Айле, что и Джейми, и Аликс трудно разговорить.

— Они кажутся замкнутыми, — сказала она, — хотя очень важно, чтобы они раскрылись, особен-

но в том, что касается отца. Такого рода события могут быть источником постоянной травмы.

Еще бы. Но Айла тоже не хотела говорить о Джеймсе. Она была на стороне детей. Джейми в конце концов уперся и отказался ходить к врачу, и Аликс, как обычно, последовала его примеру.

Однако вечерами он не позволял Аликс следовать за ним. Айла спрашивала, где он был, что делал, с кем встречался, поскольку это была уже не Бетани; потеря, из-за которой он, должно быть, очень переживал, хотя и отказывался говорить о том, что случилось, просто пожимал плечами и твердил;

— Да так, ерунда, — хотя ерундой это быть не могло. — Это никого не касается, — говорил он. — Это мое дело.

Он вел себя так, как будто винил в смятении и тоске, обрушившихся на семью, Айлу, а не своего отца — так Айле казалось. Что делать, она была под рукой, доступная для обвинений.

— Ребята из школы… — Он говорил, что встречался с ними. — Новые друзья. Так, гуляем.

Он был беспокойным и раздражительным, но с чего бы ему было вести себя иначе?

У каждого из них было по дню рождения. Два дня рождения. Два Рождества. Джеймс каждый

раз звонил оттуда, где был в тот момент, в тюрьме он пробыл недолго. Приговор, по крайней мере его юридическую часть, вряд ли можно было назвать суровым, хотя он, похоже, считал, что потеря семьи — это слишком. На второй год и Джейми, и Аликс встречались с ним. Джейми вернулся злой, Аликс — грустная. Если одному из родителей ни в коем случае нельзя дурно отзываться о другом, то Айле было сложно найти слова, но она попыталась.

— Он вас любит, поймите. Это навсегда.

Она не была уверена, что это правда. Разве можно говорить с уверенностью о таком, как Джеймс? Она сказала:

— Все делают глупости, просто некоторые глупости хуже других. И потом, люди меняются, люди учатся.

Она, вот, выучила многое, хотя и не самым благостным путем.

— Ты бы с ним стала встречаться? — спросил Джейми.

— Господи, нет, конечно, но с вами по-другому, он же ваш отец.

Джейми отвернулся.

— Спасибо, что напомнила.

Ему было семнадцать, трудный возраст, хотя в

его случае трудности были скрыты от глаз, он был непрозрачен, и она не могла ничего рассмотреть, хотя иногда, как сквозь толстую стеклянную стену, видела его тень, его очертания.

— Не понимаю, — сказала она Мэдилейн, — что из этого можно списать на возраст, а о чем на самом деле стоит беспокоиться. Да и что я могу сделать в любом случае, если он почти не разговаривает со мной; и он уже почти взрослый, он должен быть сам себе хозяин. Что бы это ни значило.

Он все меньше и меньше походил на сверкающего маленького Джейми, ее прежнего, знакомого мальчика.

— Я тоже не знаю. С тобой в этом возрасте тоже было непросто.

Да? Айла не помнила себя трудным подростком. Это вселяло определенные надежды.

— Я и подумать не могла, — сказала Мэдилейн позже. — Мне ни разу в голову не пришло, что все это куда серьезнее, чем казалось. Трудный мальчик, это да, но ничего особенного, учитывая все обстоятельства. Мне так жаль.

Джейми повезло хотя бы в том, что появился Лайл. В ту жуткую ночь, когда Аликс застала Джейми со шприцем в ванной и Лайл нашел кли-

нику и увез Джейми в ночь, чтобы ему помогли, хотя в тот раз и ненадолго, каким благословением был Лайл.

Если есть страшные, непредсказуемые неожиданности, если молнии ударяют в невинные гостиные, то и чудеса тоже случаются. Спасение, искупление, как бы это ни называлось, приходит тогда, когда не ждешь. Айла и Лайл столкнулись, в буквальном смысле столкнулись друг с другом во вращающихся дверях ресторана в центре города. Штамп, знакомство из глупого фильма, когда он, обернувшись, машет кому-то за столиком, а она, опустив голову, шарит в сумочке в поисках ключей от машины, и оба они только что пообедали врозь, каждый со своим клиентом, обсуждая каждый свои дела. Что бы она делала, как бы все вышло, если бы этого не случилось?

Например, не лежала бы сейчас в параличе.

— Ох, простите. — И он подхватил ее под локоть, помогая удержать равновесие, в чем не было необходимости.

Она в это время тоже говорила ему:

— Извините.

Они оба улыбнулись, рассмеялись. Через два года после Джеймса, беспомощно волнуясь из-за Джейми и его неясных, но явных проблем, по-

идиотски не замечая опасности, нависшей над Аликс, все еще заставляя себя думать только о работе, Айла не слишком охотно смеялась. Она улыбалась скорее от эстетического наслаждения: похож на бродягу-охотника, кости проступают сквозь кожу, глаза глубоко посажены. Не то чтобы красив, но выглядит как человек, у которого настоящая жизнь. Шел довольно сильный дождь, а у них обоих не было ни зонта, ни плаща. Лайл сказал:

— Хотите, переждем это в баре?

И она сказала:

— Хорошо. Только позвоню одному человеку.

И остаток дня прошел в баре.

О личном они не говорили. Он рассказывал о судебных делах, а она благодарила Бога, что он не специализируется по серьезным и тяжким преступлениям, вроде сексуального насилия над служащими. Она болтала о рекламных слоганах и о том, как можно выдвинуть на рынок, скажем, новую марку детских подгузников.

— Рынок довольно-таки насыщенный, — сказала она, и ему это показалось неожиданно смешным.

— Бы бы могли это использовать, — сказал он, — занятная получилась бы кампания.

И она подумала, что да, можно, и записала это, и действительно использовала и эту, и другие легкомысленные фразы, и за ту кампанию они с Мартином в конце концов получили приз — за глумливый, ернический подход к подгузникам.

— Наверное, это весело, — сказал Лайл, — когда можно играть словами. Мне это не удается. В суде игривость не приветствуется.

Она это знала, но не собиралась объяснять откуда.

Когда дождь кончился, они оба посмотрели на часы. Выйдя из бара, пожали друг другу руки. Айла внезапно поняла, что уходит куда более бодрой походкой, чем обычно. «Славно получилось», — подумала она.

Через пару дней он позвонил ей на работу.

— Я знаю, дождя нет, но я все пытался придумать другую причину, по которой вы могли бы захотеть еще со мной выпить, но не нашел никакой подходящей, кроме той, что мне этого хочется, а вам?

На этот раз они говорили о детях, о его куда больше, чем о ее. Подростки, дочь и сын, трудный возраст — больше ей в тот момент нечего было рассказать о Джейми и Аликс. Лайл с удовольствием рассказывал о Уильяме и Роберте,

которые были на несколько лет старше ее детей и оба уже учились в университете. Ну надо же, подумала она довольно-таки желчно.

Разумеется, они не говорили о браке, о своих браках. Не более чем его: «Вдовец», — ее: «В разводе», — его «Сэнди», ее «Джеймс», его «рак», ее неопределенный жест без слов.

Они пару раз сходили в кино, потом выпили вместе, обсуждая сюжеты и персонажей. Она не видела причины приглашать его в свой дом, в половину дома, которую снимала. Было даже приятно, что все, связанное с ним, касается только ее: нечто для себя, не имеющее к ее реальной жизни отношения и не влияющее на нее так же, как реальная жизнь не имела отношения к нему и не влияла на него. Он сказал:

— А ты не любишь о себе рассказывать, да? — но ответа, похоже, не ждал и объяснений тоже. С ним было легко, он просто наблюдал, но не судил.

Они пили за его победы в суде. Когда он выиграл дело, защищая фармацевтическую компанию и ее служащих, которых обвиняли в том, что они намеренно разрешили поставки заведомо просроченных лекарств за рубеж и получили от этого прибыль, она немного растерялась. Она и

сама могла запоминающимися фразами и минутными рекламными роликами сбить с толку кого угодно, но все-таки ей хотелось думать, что Лайлом можно восхищаться, что знакомству с ним можно радоваться.

— За какое дело ты бы не взялся? — спросила она. — Кого бы не стал защищать?

Предполагалось, что рамки существуют, вопрос был в том, где они.

— Гитлера, — усмехнулся он, уходя от ответа. — А ты?

— Сталина. Пол Пота.

— Ну что ж, — сказал он, поднимая стакан, — по крайней мере мы знаем, что у нас есть принципы. — И возможно, превратил все в шутку.

Когда они уже несколько недель обедали вместе, ходили в кино, выпивали и беседовали, он сказал:

— Знаешь, я хочу тебе показать, как я живу. По-моему, тебе там понравится. Может, съездим на выходные, погуляешь, выпьешь-закусишь и поглядишь на что-нибудь славное, не из бетона?

Почему бы и нет? Она подумала, что он привлекателен, умен, мил — хорошая компания. Еще она подумала, что если это не слишком помешает ходу ее жизни, она была бы совсем не против

увидеть его бедра, дотронуться до его ребер. Все складывается постепенно. Доверие и даже любовь не всегда связаны с влечением.

— Если мы, по-твоему, останемся после этого друзьями, — сказала она, — то да, я не против.

Несколько загадочно, так ей показалось. Откуда он мог знать, что она имела в виду? Он засмеялся и сказал:

— А почему нет?

Аликс и, по крайней мере теоретически, Джейми уехали на выходные к Мэдилейн. Айла поехала с Лайлом, чтобы на повороте с проселка влюбиться в его дом. Он отнес ее сумку в спальню для гостей, и она подумала, что это необычно, даже, возможно, странно, но он сказал:

— Просто отдыхай, хорошо?

Он вывел ее на веранду, усадил в глубокое кресло и сел рядом со стаканом пива, положив босые ноги (высокий подъем, длинные пальцы, она все рассмотрела) на перила, она, со стаканом белого вина, положила свои босые, белые ноги (плоскостопые, короткопалые) рядом с его.

— Вон там, — он показал пальцем, — течет ручей. В это время года он достаточно бурный, но даже в лучшие дни рекой его не назовешь. А там — сарай, старый амбар совсем развалился,

я сэкономил на дереве и решил построить что-нибудь поменьше. Основной участок, двадцать акров, идет от дороги, дом как раз на нем. А еще пятьдесят за тем небольшим холмом, я отдал в аренду соседу. Я не фермер, но не хочу, чтобы он пропадал впустую. По-моему, мало хорошего в том, что такие, как я, скупают эти места, и все пропадает впустую.

— А что в этом плохого? И что значит, «такие, как ты»?

Вокруг веранды цвели нарциссы, росли еще не раскрывшиеся тюльпаны, в траве были густо разбросаны мелкие голубые цветочки. Человек, сидящий рядом с ней, видимо, посадил все эти луковицы и цветы, согнувшись копался в земле, надеясь вырастить эту красоту, готовя ее.

— Такие, кому в жизни не понять, что такое настоящая работа на земле. Такие, как я, с точки зрения соседей. По-моему, отношение вполне оправданное. Здесь требуется время, чтобы освоиться, или по крайней мере, чтобы все вокруг достаточно освоились и перестали на тебя коситься. Приезжий никогда не станет своим. Это, в общем, правильно. Я на это и не рассчитывал. Не знаю, как этого добиться, да и времени у меня нет. Но все-таки, по-моему, местным нравится, что я

проявил уважение к этому месту, все тут устроил, привел в порядок. То есть это не хобби у меня такое, это — мой дом. И я не ударился в дурацкий романтизм, не завел тут идиотскую козью ферму под девизом «назад, к земле», местные этого насмотрелись, и их это просто из себя выводит. С другой стороны, я не городской пижон, который по выходным устраивает коктейли на открытом воздухе и тому подобное. Такие здесь тоже есть. Я здесь живу, это уже что-то. Я все тут сам сколотил. — Он внезапно усмехнулся. — Каждый. Мать его. Гвоздь.

Подул легкий ветер. Вокруг было столько непривычных ей запахов и звуков.

— Не всем здесь нравится, — сказал он. — Забраться в самую глушь — это не всем по вкусу. Некоторые говорят, слишком тихо, слишком уединенно.

Кто эти *все* и эти *некоторые*? Об этом она спросить не могла.

— Тихо, — сказала она вместо этого, — в такомто гвалте?

Вокруг неистовствовали птицы, в основном утки и вороны, но еще были наглые, черные, поменьше. Лайл сказал, что это майны, яркие сойки и кардиналы, несколько малиновок, крас-

нокрылые дрозды, целые тучи других, потусклее, бурые стайки налетали, галдели, проносились над ними и прочь. Он сказал, что рокочущий, сладкий хор, который, в отличие от птиц, будет звучать и глубокой ночью, — это лягушки.

— Господи, — сказала она, — и сколько тут лягушек?

— Тысячи, — улыбнулся он. — Может быть, миллионы.

Наверное, без него все это было бы страшновато; но без него ей тут нечего было бы делать. Она привыкла к машинам, грузовикам, машинам «скорой помощи», такси, визжащим тормозам и сиренам, к городским звонам и свисткам, к шуму, производимому, в основном, людьми, который если и казался временами опасным, то был по крайней мере в какой-то степени предсказуем. Стаи птиц, «миллионы» лягушек — их было столько, что она не понимала, почему они не могут объединиться против людей-захватчиков, нырять, лететь, прыгать и ползти, по воздуху и по траве, на пороги, под двери, через жалюзи, мучая, преследуя и изгоняя всех.

— Нет, — серьезно сказал он. — Это больше свойственно людям. Животные, я имею в виду и птиц, и лягушек, более щедры.

Его недоверие к людям ее успокоило. Она подумала, что, возможно, сможет положиться, хотя бы в чем-то, на его осторожность; хотя говорить об этом было еще преждевременно.

Он сказал, что все еще не закончил ремонт в доме: чинил полы и двери, отчищал их, чтобы стал виден первоначальный дуб, подбирал цвета, оклеивая обоями и крася по одной комнате за раз.

— Я, когда вижу что-то, сразу понимаю — вот оно, — сказал он. — Поэтому жду, пока не найду именно то, что нужно.

Все, что он говорил, казалось ей неслучайным и важным.

— И еще я люблю, когда мне удобно. Это означало, что придется переделывать всю проводку и трубы, но я не из тех, кто мирится с неудобствами и трудностями. У меня здесь офис, так что пришлось устанавливать связь с миром. Иначе не вышло бы.

Похоже было, что он любит дерево: например, в офисе у него были блестящие панели из дуба, — и не было ничего дешевого или дешево сделанного. И еще, проходя по дому, она не увидела нигде ничего мелкого и суетливого, никаких обоев в цветочек, ни особых пастельных тонов.

Кухня и кухонные шкафчики были строгими и аскетичными, белого и черного цветов, контрастировавших с голым кленовым полом, гостиная была выкрашена в темно-бордовый цвет, ее высокий потолок — в цвет слоновой кости, там же стояли диван и кресла смелого желтого цвета, от которых просто разило удобством. Она могла понять, откуда у такого высокого, худого мужчины, на котором не много лишней плоти, тяга к избыточному комфорту, к мебели, в которую можно погрузиться, не ударяясь ни обо что костями.

Возможно, по той же причине ему могло понравиться ее собственное мягкое тело, чем-то похожее на его мебель, кто знает?

— Здесь все было порядком запущено, когда я купил дом, — сказал он. — Пожилая пара оставила его детям, а те не могли прийти к единому мнению относительно того, что с ним делать, поэтому он какое-то время пустовал. Собственность быстро дичает, выходит из-под контроля, внутри все начинает приходить в негодность. Мыши, белки — это принимаешь почти как должное. Бывает и другое, вот, я открыл дверь второй ванной, я тогда только еще думал о покупке, а там на стенах — огромные шапки грибов. Здоровые, розоватые штуки, даже на грибы-то непохоже. —

Он покачал головой. — Я готов видеть красоту в самых неожиданных местах, но это был не тот случай. Меня чуть не вырвало. Быстренько закрыл дверь и попытался на время выкинуть это из головы. Самая противная была работа — ремонт в этой ванной. Правда, из-за нее удалось сбросить цену на пару тысяч.

— Сколько ты владеешь домом?

— Уже три года. Тогда как раз все закончилось. (То есть умерла его жена, Сандра.) Трудное было время, — сказал он. — Она почти все время была дома. Тяжело, конечно, но было что-то по-своему хорошее.

Или этому человеку не хватало слов, чтобы описать важные события своей жизни, или он верил, что Айла достаточно умна и тонка, чтобы заполнить пробелы самостоятельно. Она не могла с уверенностью сказать, в чем дело, но надеялась, что истинна вторая причина. Его опыт, конечно, отличался от того, что пережила она: она могла желать Джеймсу смерти, но это было просто со зла, и он, в конце концов, не умер. Она подумала, что Лайлом, наверное, можно восхищаться: человек прошел через такой ужас, столько выстрадал, так мужественно всему противостоял. Если окажется, что все именно так.

— Столовой я планировал заняться в последнюю очередь, и еще кое-что нужно сделать в спальнях и ванных. А потом, наверное, придется начинать по новой. Одно доделаешь, другое тут же разваливается.

В общем, да.

— Я думал раньше, что, если у меня получится все сделать как мне хочется, все так и останется, так все должно быть. И еще, что мне будет всегда хотеться примерно одного и того же. Ошибался в обоих случаях. Нельзя быть таким наивным, но все приходится познавать на собственном опыте, да?

Это точно. Она кивнула.

— Забавно, — начала она, поскольку в каком-то смысле это было продолжением разговора, — что горе всегда сильнее радости. Радость просто трусит рядом, а горе, оно всерьез меняет человеку жизнь.

Он немного подумал.

— Да, так это выглядит. Но я в этом не уверен. Может быть, то, что приходит с радостью, просто не бросается на тебя внезапно, это не похоже на ожог или ссадину. А в горе нет ничего, кроме боли. Поэтому его уроки заметнее, это точно, но мне не хочется думать, что они важнее тех, которые

мы получаем, когда нам хорошо.

Если так на это посмотреть — да, она поняла, что может поменять отношение к некоторым вещам. Ей понравилось то, что он сказал, понравилась его точка зрения.

— Но, с другой стороны, я пришел в такую ярость, когда заболела Сэнди, я тебе даже рассказать не могу.

Нет, да и так ли Айла хотела слушать?

— Какое-то время помощи от меня было немного, она могла бы рассчитывать на что-то лучшее с моей-то стороны, но эта ярость, она меня захватила, я как будто ослеп. Просто ослеп, стал спотыкаться, ничего вокруг не видел. Я даже стену кулаком пробил. И мне это понравилось. Все, что я собирался сделать, все, на что рассчитывал, понимаешь: хорошая семья, удачная карьера, хорошая жизнь впереди, насколько можно загадывать вперед, а потом — конец всему.

Айла поняла, что кивает. Она и сама не сказала бы лучше.

— Хуже всего — я имею в виду для меня, не для Сэнди — было то, что мы ненадолго отдалились друг от друга. Она отправлялась в путешествие, в котором я не мог ее сопровождать, но оно все равно изуродовало все в моей жизни, и мелочи, и

целиком. Возможно, я винил ее в этом. Не знаю, понимала она или нет. Наверное, некоторые люди в таких ситуациях становятся ближе, а мы на какое-то время отдалились друг от друга. Как будто у нас оставалось все меньше и меньше общего, о чем можно поговорить, что можно высказать вслух. Я знал, что подвожу ее, и злился от этого еще больше, но, казалось, не мог сделать ничего, чтобы стало лучше. Сам не мог стать лучше.

А потом, как ни странно, все это прошло, когда то, что должно было случиться, в конце концов стало очевидно и неизбежно. Наверное, мы оба просто вымотались, пытаясь быть храбрыми или еще какими-то, и оба просто сдались, сломались. Это было, — сказал он, глядя в сторону, отдаляясь от Айлы, видя что-то, что она не могла и не очень-то хотела представить, — странное время. Странно, но по-своему оно было хорошим.

— А потом? — Дура. Она просто хотела, чтобы он выбрался из этой истории, ушел от старой боли.

— Потом она умерла, — сказал он без всякого выражения. (Окунула еще глубже.) — Мы все знали, что это случится, но все равно, когда это случилось, мальчикам нужна была поддержка, и это помогло мне пережить самое страшное. Довольно забавно, но и Сэнди тоже в чем-то по-

могла. Она, даже умирая, осталась таким светлым человеком, что было бы недостойно ее подвести. Но ты вряд ли все это хочешь выслушивать.

В общем, нет; но в то же время, конечно же, да. Они были на той ранней стадии знакомства, когда нужно быстро обмениваться информацией, когда сведения разного рода и важности летают от одного к другому, выстраивая шкалу совместимости, возможности. Ее очередь тоже придет, и что она скажет, как именно изложит свою историю? Так же, как Лайл — без эмоций, не вдаваясь в подробности, или как-нибудь более бессвязно, отрывочно или драматично? И если стиль отражает содержание, означало ли это, что Лайл — человек без эмоций и не вдается в подробности?

— Хочу, — сказала она и коснулась его руки.

Беда, одна из бед среднего возраста, в том, что кроме перспектив на будущее есть еще немалое прошлое. Столько всего, что нужно усвоить, додумать, попытаться себе вообразить и так и не представить. Весь аромат и ощущение чьей-то жизни, прекрасно знакомые ему и, возможно, еще нескольким, совсем немногим, людям, все это должно было остаться чужой, незнакомой, недосягаемой территорией для кого-то, с кем он

встретился недавно.

То, что это было справедливо для них обоих, едва ли могло служить утешением.

Так что же, нужно заполнять все эти пробелы, словесные наброски различных радостей за полжизни, и печалей тоже, о самой главной из которых он сейчас рассказывал в своей скуповатой манере? Или лучше просто изложить факты, последовательность событий, оставляя чувства там, где, возможно, они и должны быть у людей вроде них: в будущем, где все зависит от них?

Естественно, было необходимо, чтобы она знала, как много для него значила его умершая жена. Потому что это было огромной, утраченной частью его жизни, и еще потому что если бы это было не так, в каком свете это бы его представило? Ей бы не хотелось провести выходные в уединенном месте за городом с человеком, который ничем не дорожит, у которого ледяное сердце.

По крайней мере им только что исполнилось по сорок, не по семьдесят или шестьдесят, даже не по пятьдесят. Настолько меньше нужно обрисовывать, описывать, объяснять. Бог знает, что делать людям, которые знакомятся в домах престарелых, хотя, возможно, у них неиссякаемый запас терпения и свободного времени для

рассказов.

Она придала своему лицу, хотелось бы надеяться, внимательное и серьезное выражение. Что видел в ее лице Лайл, говоря о том, как умирала и умерла его жена, о своих тоскующих сыновьях, с которыми Айла еще не встречалась, так же, как он не встречался с Джейми и Аликс, о подъемах и последнем спаде своего личного, внутреннего кризиса? Теплоту, которую она старалась излучать. Понимание. Сочувствие. Все это было вполне настоящим, абсолютно искренним, но необходимость заботиться о внешнем выражении, как она заметила, несколько стачивала истинные чувства.

— Дело в том, что смерть, — продолжал он, открывая новую банку пива, — оставляет тебя ни с чем.

Айла готова была поверить, что это так, конечно, но только смерть — не единственное событие, которое может к этому привести.

— Я не то чтобы думал, что веду не ту жизнь, мне очень нравится быть юристом, и мальчиков своих я люблю, и я гордился тем, как они все преодолели, даже те сложные годы, когда подростки срываются и в самых благополучных семьях, которой мы, трое, конечно, не были, в общем, я

вовсе не собирался ни от чего из этого отказываться. А с другой стороны, мальчики росли, у них начиналась своя жизнь. Сэнди и я рисовали себе какое-то будущее, и оно мне казалось вполне подходящим, пока она была его частью, но как только ее не стало, о прежнем не могло быть и речи. Это было не мое, не для меня одного.

Он замолчал. И Айле пришлось сказать:

— Что оказалось не твоим? Какие у вас были планы?

Ей в самом деле было интересно. Это было своего рода ключом, как и далекие, утраченные мечты.

— Ну, мы думали, что как только мальчики устроятся в университете, мы оба уйдем на год с работы и отправимся путешествовать. Мы обсуждали места, где уже были и хотели побывать снова, — например, для меня это был Париж, а для Сэнди какая-то мерзкая маленькая гостиница в мерзкой маленькой африканской стране, — и места, где мы не были, но хотели побывать, вроде Индии или Китая. Мы планировали, что на это у нас уйдет год и какая-то часть наших денег, а потом подумали, что можем повторять это раз в несколько лет.

Но знаешь, если честно, мне было бы приятно

путешествовать с Сэнди, потому что она любила приключения, была любопытной и ни черта не боялась, так что с ней я мог бы все увидеть по-новому, так мне казалось, даже те места, где я уже был. Но без нее я думал бы только о том, насколько лучше было бы с ней, и расстраивался бы из-за кучи вещей, не в последнюю очередь из-за того, что сам я — никудышный путешественник.

Айла удивилась. Она почему-то решила, что мужчина, похожий в ее представлении на ковбоя, по крайней мере в тот момент, долговязый тип в голубых джинсах, должен обладать некими ковбойскими качествами. Путешественник, бродяга, и возможно, в довершение картины, бродяга немногословный. Сбивало с толку и то, что его покойная жена оказывалась совсем не такой, какой она представляла себе кого-то по имени Сэнди, кого-то совсем не загадочного и потому неопасного, что Айла, возможно, перепутала с неинтересным и потому неопасным.

Представьте себе кого-то, о ком говорят, что она, умирая, оставалась светлым человеком. Айла представляла себе отчаянное сопротивление, отчетливый и безнадежный недостаток того, что можно назвать светом.

В конце того первого дня, греясь в гостиной

после вечерней прохлады, Лайл гладил шею Айлы, ее руки и горло. Ее пальцы осваивали его незнакомый позвоночник. Это она сказала:

— Пойдем в постель. — И он кивнул.

Что она яснее всего помнит о тех первых днях, это свое удивительное, неожиданное удовольствие. Тогда она думала, что оно объясняется свободой знать, что ничего от этого не зависит, поскольку от этого ничего не ждешь и ничего из этого не выйдет. Несколько недель спустя она, однако, поняла, что если это и было правдой, то теперь это уже не так. Сближение принесло с собой наслаждение, которого она прежде не испытывала и подумать не могла, что способна испытать. Игривость, сознание того, что отпускаешь тормоза, веселая возня. Простое удовольствие, как оказалось, было серьезным делом.

Когда он наконец очень тихо сказал: «Расскажи мне про своего мужа», — они были в постели. На этот раз в ее постели, дети снова уехали к Мэдилейн. Он долго ждал, прежде чем попросить об этом. Возможно, он именно сейчас подумал о ее бывшем муже, потому что предполагал, что лежит на тех же простынях, которые она делила с Джеймсом. Это, конечно, было не так. Она давно избавилась от всего постельного белья: выброси-

ла, не отдала бедным, потому что была в то время уверена, что если человек настолько беден, что нуждается в благотворительных простынях, ему ни к чему получать с ними разложение от присутствия Джеймса, как бы его следы ни выветрились за это время. Его отпечаток сохранялся; как на Туринской плащанице, только совсем иначе.

— Это не слишком приятная история.

— Ничего. В нашем возрасте у всех полно не слишком приятных историй.

Не настолько. Ее рука лежала у него на груди, и она чувствовала, как его пульс и дыхание становятся быстрее, потом замедляются, потом снова ускоряются и замедляются. Подходящая история, чтобы рассказывать ее, лежа в полутьме и не глядя на него.

— Понимаю, — наконец сказал он. — Хорошего мало. Теперь ясно, почему ты мне не доверяешь. Странно было бы, если бы доверяла, после всего этого.

Тогда-то, разумеется, и после всего этого, она начала ему доверять.

Казалось, что он, необыкновенный человек, подстраивается под ее историю. Он решил быть человеком, который звонит, когда задерживается, не строит планов, которые не осуществит,

который, насколько она знает, старается не врать; который с осторожностью относится к тому, что можно счесть предательством, кроме того единственного случая, когда он сидел в грузовике, ждал ее у «Кафе Голди».

Который спасает ее сына, как только может, и без сомнения спас бы ее дочь, если бы кто-нибудь мог придумать, как это сделать.

Джейми, выпущенный после шести ужасных недель очень дорогого лечения, больше бывал дома и иногда вел казавшиеся серьезными разговоры с Лайлом, они сидели вдвоем в шезлонгах, двое близких Айле мужчин, а между ними стояло их пиво. Она не спрашивала, о чем они говорят; Лайл не рассказывал. Еще одно проявление незыблемой честности.

Но Джейми выскользнул. Начал уходить все чаще и чаще, возвращаться все позже, лицо у него снова стало серым.

— Он колется, — сказала она Лайлу, и это был не вопрос.

— Похоже.

— Я не вернусь в клинику, — прямо сказал Джейми, когда она завела с ним разговор. — Со мной все нормально, честно. Я все понял, поверь. Я не колюсь, честное слово.

Ври больше. Она выясняла, какие еще существуют программы, что можно сделать, искала, с кем можно проконсультироваться, когда зазвонил телефон и она услышала Джейми, говорившего самым робким голоском. Арестован по обвинению в наркоторговле. Просит помочь.

Смешно, но он в результате провел в тюрьме больше времени, чем его отец. Джеймс отсидел всего полгода, когда все закончилось. Разумеется, он лишился бизнеса, хотя и по финансовым причинам, не только из-за суда или вопросов морали, так казалось на первый взгляд. А Джейми провел за решеткой больше года, и Лайл сказал, что ему еще повезло. Дело было плохо: он продавал, а не только употреблял наркотики, называвшиеся крэк, экстази и кокаин; о героине тоже упоминалось. Сыночек Айлы крался по гниющему миру иголок и ложек, озноба и рвоты, грязных комнат, опасных переулков, но на этот раз он торговал дорогостоящими удовольствиями, своими параллельными мирами потребностей, желаний и одержимости. Его поиски облегчения, если не радости, окончились полным крахом.

— Ты знала, что он торгует? — спросила она у Аликс.

— Нет, только что снова колется. Но это и ты

знала.

Айла и сейчас не может вспомнить, какой тогда была Аликс, помнит только, что та была тихой, упорно работала, и у нее все получалось. Наверное, тогда и начала проявляться ее прозрачность, ее странная способность исчезать, так что другие начинали смотреть сквозь нее. Теперь эта прозрачность затронула ее кожу. Ее огромные, лихорадочные глаза.

Кто бы смог поверить, что будет столько горя?

Миссис Лот, наверное. Миссис Иов.

Лайл нашел Джейми самого опытного, самого лучшего адвоката; твердо сидел в зале суда с Айлой, когда она выслушивала мрачные сведения о тайной жизни своего сына; позволил ей ухватиться за свою руку, когда она смотрела, как тело Джейми съеживается от ужаса при оглашении приговора — два года и трехлетний испытательный срок; позволил ей плакать у себя на груди о том, что не имело к нему отношения, в чем он не был виноват и из-за чего не должен был страдать. Хороший человек. Который сказал:

— Прекрати себя казнить, я не думаю, что ты хоть что-то еще могла сделать, чтобы его остановить или помочь ему. Тут все иначе.

Айла, конечно же, не могла ему поверить; но

она поверила в его упорную доброту. Его верность.

В тюрьме случилось многое, к чему Джейми был не готов. О некоторых из этих историй она узнавала сразу, о некоторых узнала только недавно. Она полагает, что было и такое, о чем она не слышала и никогда не услышит. Но в течение тех четырнадцати месяцев, которые он на деле отсидел, он бил и его били, его избивали, резали, ломали ему кости и бог знает, что еще, о чем нельзя говорить. И сам он, как рассказывали его охранники, его тюремщики, бился головой о стены, потел так, что промокали простыни, выворачивался от рвоты наизнанку. Он какое-то время провел в лазарете по разным причинам, в том числе из-за лихорадки и простуд. Ей рассказывали, что поначалу его иногда так трясло, что приходилось надевать на него смирительную рубашку. Она видела, когда приезжала на свидания, когда он мог с ней встретиться, что он стал бледным и худым, а иногда повреждения были более очевидны: разбитая губа, синяк под глазом.

Потом он стал поправляться. Глаза у него прояснились, кожа слегка порозовела.

— Я хожу в спортзал, — с гордостью сказал он ей. — Я чист, — смущенно прошептал он. — На

этот раз можешь мне поверить.

И это казалось правдой, было похоже на правду. Кто ему помог? Кто-то; не она.

И опять-таки стараниями Лайла, благодаря особой программе трудоустройства бывших заключенных, у Джейми есть работа — первая и единственная настоящая работа! в его-то возрасте! — в цветочном магазине. Он в этом изысканном бизнесе занимается заказами, доставкой и немного работает с документами. Букетов он не составляет и за цветами и растениями не ухаживает, потому что для этого нужен особый талант и знания. Он говорит, что запахи иногда становятся одуряюще сладкими, даже тошнотворными, но он узнал кое-что о цветах, например некоторые названия. Он говорит, что ему нравятся люди, с которыми он работает, нравится регулярно получать деньги, правда не нравится сумма.

— Я тебе скажу, — говорит он, — когда встаешь на путь исправления, это бьет по карману.

Это шутка, но это еще и правда.

Такой работой можно заниматься в двадцать лет, подрабатывать, чтобы оплачивать учебу или квартиру, но для двадцатипятилетнего взрослого это не то. Он подумывает, пока абстрактно, о

том, что когда-нибудь будет работать с людьми, попавшими в беду; скорее всего, с наркоманами.

Когда он первый раз об этом заговорил, Айла задала глупый вопрос:

— А это не опасно?

— Что, с наркоманами общаться?

Они оба засмеялись, но да, именно это она и имела в виду. Соблазн — опасная вещь, в спасении сложно быть уверенным.

Сейчас она говорит, ни с того ни с сего, обеспокоенному молодому мужчине, склонившемуся к ней, пытающемуся улыбнуться изогнутым детским ртом:

— Я так тобой горжусь.

Простые, честные, трудные слова, и она поражена тем, что глаза его наполняются слезами, слезы текут по щекам. Ох.

Люди в самом деле становятся прежними.

Может быть, и у нее получится.

— Где Аликс и Лайл?

Он смущается:

— В суде. У этого парня, ну того, который в тебя стрелял, сегодня слушание. Он вроде собирается признать себя виновным.

Ну что ж, так и надо. Должен признать.

Для него это все тоже может быть потрясением.

Хотя совсем не обязательно. Может быть, он просто дурной человек.

— А Мартин?

Разве он не хочет с ней повидаться?

— Он пытался, но они пока никого не хотят пускать, кроме членов семьи.

Но Мартин — часть ее семьи: надежный, доброжелательный брат. Он остался ей верен, когда некоторые клиенты поначалу, как она и ожидала, отшатнулись от них. Сама она воспринимала Джеймса как своего рода Чернобыль, источник моральной радиации; или, может быть, некоторые клиенты считали, что он ничего особенного не сделал, ему просто не повезло, и его поймали, и в этом случае пытались избежать радиации невезения.

«Пошли они», — сказал Мартин немногословно и исчерпывающе.

Еще он помогал ей паковать вещи, когда она переезжала с Джейми и Аликс на новое место. Он крепко обнял ее и купил ей выпить, когда она наконец призналась, что существует Лайл; и хотя она не могла во всем ему сочувствовать, она осталась верна ему, когда рухнула его жизнь. Жена узнала о любовнице; любовница узнала, что жена беременна.

«Господи, Айла, они обе от меня ушли! И дети, она забрала детей».

Это было в самом деле мучительно, тут он мог рассчитывать на ее сочувствие. Хотя она не могла понять, чего он ждал; она полагала, что он надеялся, что ничего не случится, не мог себе представить, что что-нибудь произойдет. Она о таком отношении к жизни знала уже очень много. Она кормила его, наливала выпить, выслушивала. Он то же самое делал для нее, это был не то чтобы долг, который нужно было вернуть, но нечто, ценность чего она прекрасно понимала.

В последнее время Мартин намекал, что был бы не против продать агентство, по крайней мере ту значительную его часть, которая ему принадлежит.

«Я вроде как хочу получить деньги и пуститься в бега. Попутешествовать, вознаградить себя, пока не поздно. Знаешь, я устал, пытаясь идти в ногу со временем. Кругом столько перемен».

Она так и не решила, что думает по этому поводу, но теперь ей нужно сказать ему, чтобы, да, продавал, бежал, шел у себя на поводу, развлекался, делал все, чего пожелает его добрая душа. Потому что у нее не получится просто щелкнуть пальцами и вернуться к привычной жизни, как

будто ничего не произошло.

Сейчас самое яростное ее желание — выбежать с визгом из собственной кожи, из собственной жизни.

Она даже с собой покончить не может. Не может палец о палец ударить, чтобы сделать хотя бы это. Кто станет ей помогать?

Джейми говорит:

— Но если хочешь повидаться с Мартином, мы попробуем что-нибудь придумать, ты не переживай.

С какой уверенностью, с каким убеждением говорит этот молодой человек. Ее очистившийся, способный сын. Может быть, и Аликс сможет спастись. Конечно, не с помощью Корпуса Умиротворения, не в качестве кого-то, кого зовут Сияние Звезд. И все же в Аликс что-то есть. Она что-то знает о вере, пусть эта вера слепа, глупа и нелепа, откуда в ней это? С таким отцом, не говоря уже о брате, не говоря, может быть, и о матери, как она смогла так тихо, так незаметно поверить хотя бы во что-нибудь?

Довольный собой и уверенный в себе незнакомец мог ей понравиться. Какой-нибудь Мастер Эмброуз, проповедующий умиротворение — что же могло быть лучше? Кто, выбирая между ис-

торией нежной Аликс с разбитым сердцем и возможностью умиротворения, плавности, невесомости и прозрачности, которые сулит Сияние Звезд, не предпочтет стать Сиянием Звезд? Отбросить грустное прошлое. Выбрать неведомое, серебристое будущее.

Теперь они с Лайлом вместе отправились в суд. Это хорошо, хотя они едва ли найдут общий язык. А Мэдилейн где-то на воде, в воздухе. У всех все складывается по-новому, и цели новые.

Сын держит ее за руку, по крайней мере, так ей кажется, и отрешенно смотрит куда-то в пространство или в окно, она не знает.

У нее вырывается что-то вроде смеха, и Джейми, вздрогнув, переводит на нее взгляд. А она вспоминает, как в те первые, страшные недели после Джеймса хотела, желала, отчаянно жаждала ничего не чувствовать. И потом было что-то похожее, уже после самого Джейми. И вот она достигла того, о чем мечтала, чего так хотела; только тогда она, разумеется, хотела не испытывать никаких чувств. К телу это не имело отношения. Желание исполнилось не только слишком поздно, оно оказалось еще и извращено до предела.

Ей нужно было обращать больше внимания

не только на проводившиеся этой клиникой кампании по сбору средств на всякие медицинские чудеса, но и на истории горя вообще. Ведь в них нет недостатка, разве они не ждут сотнями каждый день у порога твоего собственного дома? Очень может быть, что какие-нибудь, скажем, жертвы пыток на самом деле молятся о том, чтобы их нервы перестали содрогаться, скручиваться и реагировать, чтобы их больше не тревожили электрический ток, провода, раскаленное железо. Ей следует знать, что где-то, в каких-то обстоятельствах, есть люди, которым произошедшее с ней показалось бы благословением. И еще следует знать, есть ли те, кто может противостоять этим обстоятельствам, и как они это делают. Так получается, что она для этого слишком заурядная. Исключительные события то и дело случаются с заурядными людьми — и что им тогда делать? Как уже на бегу понять, что делать?

У нее на то, что случилось, не хватит силы духа. Она вымоталась. Она не справится с задачей. Лайл и Аликс как раз входят в палату, появляются за спиной Джейми, когда она произносит:

— Помогите.

Она почти никогда не слышала этого от себя. Разве не странно. Что это за человек, который

почти никогда не говорит: «Помогите»? Они тоже теряются.

Так, ну а что, по их мнению, она чувствует? Зависимость, это точно, обреченность и отчаяние. Ужас, вот что.

— Помогите, — снова говорит она, но она сама не знает, как они могут это сделать. Ей хотелось бы пожалеть их, почувствовать к ним нежность: они так растеряны, их любимые, не похожие ни на кого лица так озабочены, полны такого искреннего стремления сделать, что она просит, помочь ей, на самом деле помочь, но разве они могут? Кроме того, они могут, каждый, развернуться и уйти отсюда. Этот выбор у них есть, и она не может их удержать.

Ей приходится закрыть глаза, потому что было бы очень скверно, слишком жестоко, если бы они увидели, как именно в эту минуту она ненавидит своего красивого, надежного Лайла, своего сложного, слабовольного Джейми, свою мягкосердечную, нетвердую умом, невесомую Аликс. Вот вам внутренний огонь, если кто-нибудь хочет посмотреть.

И все-таки.

— Помогите, — плачет она, ее глаза снова распахиваются в попытке потребовать, в надежде

убедить, но именно сейчас с желанием умолять.

Спокойный, внимательный взгляд

Она снова здесь, сегодня, когда огласят его приговор. Входя в боковую дверь зала суда вместе с четырьмя другими молодыми, нервными заключенными, Родди осматривает комнату и, да, находит ее, в третьем с конца ряду. Выглядит она так же, как неделю назад. Даже платье то же.

Ужас его стихает, хотя и не пропадает. Ожидание ее присутствия или отсутствия, заставлявшее трястись его руки, отпускает, но остается ожидание того, что с ним будет дальше, что скажет об этом судья. Ничего из этого он контролировать не может. Да, но посмотрите, что он делал раньше, когда мог контролировать ситуацию; или думал, что может.

Бабушка и отец тоже здесь, смотрят, как он заходит вместе с остальными, переживают, расстроены, хотя он и принес им столько горя, опозорил бабушку и разозлил отца. Он кивает им и улыбается изо всех сил. Бабушка улыбается в ответ, отец кивает. Но потом, он понимает, что это и дико, и ни на что не похоже, он не может

снова не перевести взгляд на девушку.

Ее образ, который он всю неделю пытался удержать в памяти, оказывается верен.

Он иногда сомневался. Боялся, совсем чуть-чуть, что слишком много вокруг нее насочинял, что сделал ее, например, слишком красивой; но нет, вот эта бледная, бледная кожа, как будто она и не с Земли. Серьезные глаза, которые смотрят прямо ему в душу, видят его насквозь.

Может быть, если оказаться ближе к ней, это будет слишком ошеломляюще, будет какой-то шок; но если бы он мог дотронуться до ее кожи, просто кончиками пальцев коснуться ее груди, если бы она разрешила, и если бы она взяла и положила его голову себе на колени и смотрела бы на него своими внимательными глазами, а он бы смотрел вверх, ей в глаза, — может быть, ничего больше и не надо. Он чувствует, что это возможно. Все уже так изменилось, все непредсказуемо, так откуда ему знать, что возможно, а что нет? Вот, посмотрите на нее, на него посмотрите. Что она видит?

Звучит это почти безумно, даже про себя сказанное, но это все-таки так: он влюбился, погрузился, утонул в какой-то непонятной любви.

Он не думает, что люди именно это имеют в

виду, когда говорят о любви. Если бы другие чувствовали то же, весь мир был бы освещен, воздух бы светился.

Он с этим справится.

Надо же. Он и не понимал, что не уверен в этом.

Он выпрямляется, сидя на скамье, держится гораздо прямее остальных четверых. Он невысокий, небольшой, но здесь он может занять какое-то место, может что-то значить. Хотя для нее он все равно что-то значит, в любви тут дело или нет. Он забыл.

В эту краткую, долгую неделю, между признанием вины и сегодняшним днем, он кое-что усвоил наверняка.

Что не может рассчитывать на милосердие, потому что, хотя то, что сделал, случилось так быстро, всего за несколько секунд, это было серьезно, и последствия страшные. Он не может себе представить, сколько нужно времени, чтобы уравновесить эти вещи.

Что даже если где-то шумно и полно народу, и может быть, опасно, и нужно ответить на множество вопросов, и ты занят по много часов, есть промежутки неизбежного времени, когда перед глазами встают картины. Слишком часто, хотя

и не всегда, это те мгновения в «Кафе Голди», секунды, которых не вернешь, сколько бы раз они ни проходили у него перед глазами. А иногда это бабушкин дом, мощеная дорожка от улицы к покрытому серой штукатуркой домашнему уюту, и дальше, через алюминиевую входную дверь, по потертому желтовато-коричневому ковролину, по лестнице, в его комнату, к его собственным грязноватым стенам, к его собственным фотографиям сложных, переменчивых существ, приколотым к стенам, к его жизни, которая больше ему не принадлежит, как будто он умер, или должен реинкарнировать в другом обличье.

Что засыпать небезопасно. Со сном, может быть, больше проблем, чем с бодрствованием. Потому что ему снились сны, жуткие, про маму, такие же страшные, как когда он был маленьким, после того, как они с папой переехали. На этой неделе даже сны, которые начинаются хорошо, когда они с мамой, допустим, играют, или она его обнимает, они оба счастливы и молоды, превращаются в кошмары, и когда он просыпается, ему страшно, он плакал не во сне, а на самом деле. Прошлой ночью маму парализовало. Она даже говорить не могла. А парализовало ее скрюченную на ограждении, вроде бы моста, хотя он ничего,

кроме ограждения, не разобрал, ни шоссе, ни железнодорожных путей, ни реки внизу. На ней было что-то сверкающее, вечернее платье, или, может быть, это была ее кожа в лунном свете. Она смотрела на него. Ее взгляд просил о чем-то, просил его помочь ей. Он не мог понять, а она не могла сказать, хотела она, чтобы он ее снял оттуда или толкнул. Он должен был решить, потому что что-то нужно было делать, было поздно и холодно, и она не могла ничего сделать, он должен был ей помочь. Он подумал во сне: «Мама». Она была такой знакомой, беспомощной и напуганной, чужой и, главное, грустной. Он пытался понять во сне, что ему сделать: толкать или тянуть. И в результате нежно протянул руку и осторожно толкнул ее, и она полетела вниз, вниз, бесшумно исчезая во тьме.

Господи. Он проснулся в слезах. Ему было холодно. И он надеялся, что спал так же тихо, как во сне вела себя мама. Он вытер глаза и щеки.

Потом он начал воссоздавать на месте сна подробности, каждую черту и линию, перемену и оттенок того успокаивающего, спасительного существа, которое он видел, которое увидело его впервые неделю назад. И теперь он видит, что видение его правдиво, оно настоящее, потому что

вот оно, в этом зале, в нескольких футах: вот это единственное светлое нечто, оставшееся ему, это единственное озаренное лицо.

Что она видит этими чистыми глазами, которых не сводит с него? Вообще-то он не любит, когда на него глазеют. С чего, не так уж он хорош. Но это другое. Его кожа не останавливает ее взгляд, даже его кости не останавливают.

Если бы он еще раз услышал ее воздушный голос, что она могла бы сказать? Вина и злость ее, похоже, не заботят, он не думает, что она сказала бы: «Я тебя прощаю». Это были бы слова из прошлого. Прежде она говорила как человек, которого больше интересует будущее.

Ну, еще могли бы быть романтические, нежные слова. Это было бы хорошо, но, наверное, это было бы слишком большим чудом, слов тут недостаточно.

Тогда что-нибудь попроще, более вероятное. «Ты мне нравишься, Род». Или: «Я верю, что ты хороший человек».

Сегодня она одна, без своего худого отчима, презрительного юриста, любящего мужа, выносящего невыносимые подробности на всеобщее обозрение в этом зале с высоким потолком. Могла она прийти по его поручению, от имени всей

семьи той женщины, своей матери, оборачивающейся дамы в мятом синем костюме? Или все так, как кажется, и она здесь, чтобы по-своему, задумчиво посмотреть на Родди? Зал кажется ему ненастоящим, как будто это снова сон, но теперь уже чей-то другой. Как будто он может просто ускользнуть отсюда. Все это, каждая мысль, его легкая голова и сила ее спокойного, внимательного взгляда, может показаться безумием, он это знает. Но от этого все становится похоже на то, что она сказала неделю назад в этом зале, когда никто ничего не понял, кроме него.

Когда его наконец вызывают, он, как и в прошлый раз, должен сесть рядом с Эдом Конрадом, встать, когда войдет судья, сесть, попытаться слушать. Но она там, у него за спиной. Он не знает, как ее называть даже в мыслях. «Сияние Звезд» вроде бы подходит, «Аликс» — более настоящее.

Как Родди и Род, так, наверное. Судья говорит «Род». Он говорит:

— Это был дурной, бездумный поступок. Женщина парализована, не по своей вине, из-за безответственного, преступного поведения молодого человека. Которого он сам не может объяснить. Я вот что скажу вам, юноша, я очень, очень устал разбираться с такими, как вы, с та-

кими, кто думает, что они могут делать все, что им заблагорассудится, и которым наплевать, кто в результате пострадает, — он смотрит на Родди сверху вниз, совсем не так, как она, со злобой, хотя если кто тут и может злиться, то это она. — Вы, молодые люди, считаете, что должны получать все, чего пожелаете, не работая, не заслуживая, и не обращаете внимания на тех, кто встанет у вас на пути.

Но это неправда? Родди хочет встать и возразить. Не наплевать, если кто-то пострадает. Он бы обратил внимание, если бы ему пришло в голову, что на что-то нужно обратить внимание. Он не считает, что должен получать все, чего пожелает. Просто казалось, что все просто — и все. И еще дело было в том, что он дружил с Майком: то, что нужно было сделать, само ограбление, было неважно, но недели, когда они строили планы, все эти разговоры, все репетиции! Что-то, что они делали вместе, как всегда все делали вместе, только на этот раз их целью было вольготное, белое и никелированное высотное будущее и свобода.

— Честно говоря, я хотел бы, чтобы ваша судьба послужила примером. Чтобы такие, как вы, ясно и четко усвоили, что никто не имеет права на насилие, не имеет права брать что-либо, если он

это не заработал. Но меня несколько сдерживает то, что раньше вы не привлекались и, несмотря на некоторые семейные трудности, вас поддерживают ваши родные. Таким образом, пытаясь учесть и серьезность вашего преступления, и возможность вашего исправления, я приговариваю вас к восемнадцати месяцам тюрьмы и двухлетнему испытательному сроку. Я делаю это, надеясь, что за это время вы получите помощь и образование, которые направят вас на более созидательный путь. Вам многое нужно искупить, молодой человек. И вам предоставляется возможность, которой, я надеюсь, вы воспользуетесь и которую оцените.

Родди слышит только «восемнадцать месяцев». Полтора года.

Полтора года — это вечность. Когда все опять встают, Родди оборачивается, в отчаянии ища ее глаза. Которые смотрят на него. Они успокаивают его. Как он переживет полтора года?

Эд Конрад наклоняется к нему и говорит:

— Знаешь, дело может ограничиться годом. И даже десятью месяцами, если будешь себя правильно вести. Тебе повезло, могло быть намного хуже. Этот судья, он может быть такой занозой. Тебе удалось отделаться легче, чем я думал. В

любом случае, используй это время с умом, и все у тебя наладится.

Самые добрые слова, или самая доброжелательная интонация, из всего, что он слышал от Эда Конрада.

Родди повезло? Даже год — это одна семнадцатая всей его исчезнувшей жизни. Огромное, долгое время.

Охранник берет его за локоть:

— Пошли, тебя ждут в другом месте.

Родди на мгновение, на долю секунды хочется стряхнуть эту руку, прыгнуть, схватить ее за руку и бежать с ней, прыгать через скамьи, мимо всех, мимо бабушки, которая плачет, и отца, который обнимает ее за плечи, за дверь, по коридору, на солнце, через город, в поля, бежать и бежать, дальше и дальше. Он бы мог, с ней. Она была бы его щитом, чем-то вроде щита.

Он так уже делал, разве нет? Вылетел из «Кафе Голди», бежал и бежал, хотя тогда он был один. Кончилось тем, что он лежал несколько драгоценных секунд в темноте под звездами, совершенно умиротворенный и спокойный.

Ее уже нет. Когда его дотащили до боковой двери из зала суда и он последний раз обернулся, посмотреть напоследок, эта кожа, эти летящие,

пылающие волосы, эта узкая прямая спина и эти всеведущие глаза уже скрылись через другие двери, те, которыми пользуются свободные, невинные люди.

На мгновение его охватывает сомнение. Она что, не знает?

Конечно, знает. Просто она старше его, и она знает, что нужно, а что нет, и последний взгляд, наверное, был возможен, но необязателен. Она, наверное, считает, что он готов, что-то вроде этого. Он распрямляет плечи, как будто он не боится и не виновен, хотя он, конечно же, виновен, и так боится того, что будет дальше, что мог бы упасть, обрушиться всеми костями на плитки казенного пола.

Вместо этого он уходит в будущее, которое должно искупить вину, наказать его за проступок, но спасти его оно не может. Кто бы поверил, скажи он, во что верит как в свое спасение; но кому он может рассказать? Только ей, тесный круг знания, только они двое, но она ушла, и его в наручниках уводят в фургон, который увезет его в другое место: не надо оглядываться, и прощаться не надо.

Такая толчея

Все говорят, что здесь о ней заботятся лучше некуда, но Айла в таком странном положении, что никоим образом не может в этом удостовериться. Она понимает, что даже матрас, на котором она лежит, — это одно из достижений медицины, которыми располагает Северная клиника, это последняя разработка, — держит ее почти на весу, сводя к минимуму раздражение кожи и вероятность пролежней. Ее просвечивают замечательной аппаратурой, которая по-прежнему показывает кусочек пули, все еще торчащий в изгибе позвоночника. Она видела снимки. Крохотный темный штришок.

К ней часто заглядывает доктор Грант, иногда следит, как проводят какое-то исследование, которого она не чувствует, или смотрит его результаты, иногда просто спрашивает, как, на ее взгляд, у нее идут дела. Взгляд у нее простой и строго вертикальный; и напуганный, конечно, это тоже.

Он всего на несколько лет старше Джейми, и чем-то на него походит, он мог бы быть ее сы-

ном, более рассудительным и здравомыслящим братом Джейми. Он уверен в своем мастерстве, и это не производит неприятного впечатления, и еще он полагает, что в области лечения травм позвоночника, «если дело пойдет», возможны серьезные достижения уже в обозримом будущем. Ей нравится это «если дело пойдет», его намеренно шутливая интонация. И еще ей нравится, что он, как ей кажется, разделяет ее трепет, когда она смотрит на снимки: как может что-то едва видимое нанести такие повреждения.

Насколько она может судить, весь персонал, и те, кто работает днем, и ночная смена, не только Чарли. Чарльз, доктор Грант, бережны, внимательны и профессиональны, хотя она, конечно, не может знать этого наверняка; даже не может почувствовать, что они делают, тем более как они к ней прикасаются. Она видит их только выше бедер, да и то, если они наклоняются под доступным ей углом. Странно видеть людей только в одном ракурсе. Странно, насколько о многом, в нормальной жизни, могут сказать движения: изгиб плеч и бедер, длина шага, быстрота или изящество. Ей приходится полагаться на складки у рта, глубину глаз, открытость улыбки, и на то, улыбаются ли вместе с губами глаза.

Ей нравится молодая дневная медсестра Дженет, которая с ней в основном и занимается: у нее в любое время безупречно накрашены губы и глаза, даже после восьми или десяти часов дежурства, что, конечно же, дает основания предполагать, что она с таким же вниманием относится к своим пациентам, прежде всего к Айле.

И еще ничто из того, что происходит с телом Айлы, какой бы загадочный процесс ни приходилось осуществлять, не заставляет Дженет сощуриться или поморщиться. Ольга, ночная медсестра Айлы, старше, а значит, должна быть более опытной, а значит, и более жесткой, но она иногда вздыхает, склоняясь над какой-нибудь частью Айлы. И это кажется более честным и по-своему более надежным. Айла догадывается, что у Ольги полные ноги и широкие бедра. У ее мужа рак желудка, а дети живут далеко. Голос Ольги становится таким радостным, когда она показывает их фотографии и фотографии внуков, держа их в узком поле зрения Айлы. Айла восхищается тем, как Ольга работает, несмотря на усталость. А возможно, даже по ту сторону изнеможения.

Наверное, здесь все так, все специалисты в той или иной области, медсестры, интерны и

ординаторы, санитарки и уборщики, которые таскают свои огромные поломоечные машины, вытряхивают мусорные корзины и вытирают раковины, — весь этот улей, размером с отделение, хлопотливый муравейник заботы.

Ей приходится верить, что они знают, что делают; даже если ей это кажется небрежностью, ошибкой, даже непрофессионализмом, как когда она просила: «Помогите», — Лайл пошел за медсестрой и привел пухлощекого Бена с аккуратной бородкой и мягкими руками, который сказал:

«Я знаю, это нелегко, но нужно постараться успокоиться». — И с помощью удобного шприца отправил ее в небытие.

Они это время от времени делают. Седативные средства, наверное, капают ей в вену, но когда нужно действовать быстро, они пользуются иглами. И это не имеет значения, никакое количество иголок не может причинить ей боли. Даже Джейми, который кое-что знает о человеческом теле и умеет управляться с венами и шприцами, мог бы легко это сделать, если бы ему позволили. Только в тот раз она говорила не об уколе, когда просила: «Помогите». Они что, все не так ее поняли? Лайл, например, он что, решил, что она требует слишком многого, что и так все делают для нее

больше того, на что может рассчитывать любой здравомыслящий человек?

В каком-то смысле это правда. Тут ей повезло.

Но все-таки есть в этих уколах своя прелесть, что-то очень приятное, и это мягкое возвращение, приход в себя, подъем с глубины. В этот момент все кругом туманно и большей частью серо, пушистая розовость смягчает горизонты и края: как будто ты качаешься в лодке, привязанной к причалу, ощущение нежных подъемов и спадов, что-то возникает и снова пропадает, спокойно и хорошо.

Каждый подъем становится все светлее и выше, спады все менее заметны. Все это ритмично и успокаивающе; как будто тебя укачивают или обнимают. Там все еще безопасно и неведомо.

Время понемногу возобновляется. Расплывчатость обретает форму и очертания. Становится яснее. Ритм нарушается.

Потом приходит момент невыносимого одиночества: когда она вспоминает, что никто не может помочь, никого нет рядом.

Приезжай, пожалуйста, скорее приезжай, Мэдилейн.

Сейчас она одна в комнате. Здесь совсем другой воздух, когда никого нет, даже скрытого присут-

ствия за краем ее поля зрения. Он не так сгущен, не только от дыхания, но и от эмоций. Поэтому она и понимает, что одна.

У всех своя жизнь. Лайлу нужно заниматься карьерой, а Джейми — работой; про Аликс никому ничего неизвестно. Но в каком-то смысле и сама Айла испытывает облегчение, когда нет всей этой тревоги, заботы. Любви. Благодарность дается куда легче, когда благодарить приходится тех, кому платят за заботу, у кого есть четкие обязанности, кто не просто стоит над ней, делая бодрое или скорбное лицо. Эти связи ко многому обязывают: жена, мать; и дочь тоже, когда приедет Мэдилейн. Лайл, Джейми и Аликс — они хотят быть сильными, поддержать ее, но могут не сознавать того, что просят так же много от нее, а это нелегко или даже невозможно.

Они могут ее любить, но в то же время как же она должна быть им неприятна. Она думает, что на их месте чувствовала бы то же самое: любовь и неприязнь одновременно. Сочетание неоднозначное, а может быть, и вовсе противоречивое.

Ей кажется, что она чувствует, как ее лицо искажается от горя. Так иногда бывает, когда рядом нет никого, от кого нужно было бы таиться.

Потом, когда это кончится, она будет расто-

чительна в своей отваге, благожелательна в участии. Просто не сейчас. Сейчас семья — это просто еще одно мучение.

В этом отделении лежат с неврологией и травмами, и женщина в соседней палате, у нее новое бедро и новое колено, и у нее, наверное, нет любящей семьи, преданной или еще какой-нибудь, все время нажимает (везучая) звонок возле кровати, нажимает и нажимает, требуя внимания. Айла считает, что это небезопасно. Полагая, что она хочет всего лишь, чтобы ей взбили подушки или принесли свежий журнал, медсестры начинают жаловаться друг другу и отзываются не сразу, если вообще отзываются. В какой-то момент той женщине может в самом деле понадобиться помощь, и где будут все медсестры?

Возможно, около Айлы, которая, как бы сложен ни был ее случай, не доставляет им лишних хлопот. Хотя могла бы, если бы у нее была возможность.

Понятно, она не может позвать на помощь, позвонив. Но оборудование, к которому она подключена, невидимые мониторы, регуляторы, то, что отвечает за воздух, питание и бодрствование или сон, вся эта техника, которая жужжит, пыхтит и тикает, — все это передает информацию о

состоянии ее организма на сестринский пост, так она понимает, прямо за дверью, это постоянный поток данных.

Иногда она слушает, как они разговаривают за дверью. Нарочно подслушивает. Сейчас она уже может понять, кто говорит и о чем рассказывает, знает всех в лицо и по голосу, если только не приходит кто-то из другого отделения, заменять того, у кого отгул или отпуск. Есть один врач, которого она ни разу не видела, разговаривает он резко и высокомерно, серьезный тип, обсуждает только лечение пациентов и не вступает в разговоры о личном: дети, помолвки, шутки, вечеринки, кто что кому вчера сказал. Айла рада, что она — не его пациентка. Она думает, что его манера влияет, пусть совсем немного и без всякого намерения с его стороны, на то, как к больным относится остальной персонал. Возможно, здесь ничего личного, но она по себе знает, что все становится личным, когда люди много времени проводят вместе. Ему стоит задуматься. Ей хочется ему сказать, что ему нужно сменить тон, перестать быть таким мрачным, обсудить с ними какое-то событие своей или их жизни.

Сегодня с утра Айла слышит снаружи голос Рейчел. Она работает сиделкой, или как это на-

зывается, худенькая крашеная блондинка, лет на десять моложе Айлы, Ольга говорит: «Резвушка». Резвушка и есть, несмотря на то, что у нее двое трудных детей-подростков и бывший муж, который «просто сгинул, испарился — фьють», несколько лет назад. Трудные дети — это Айле знакомо, и бывший муж, о судьбе которого ничего не известно, — тоже, но ей никогда не приходилось зарабатывать на жизнь таким трудом, как Рейчел: например, мыть губкой тело Айлы; умывать ее; оказывать другие услуги, о которых неудобно рассказывать. Сейчас Рейчел идет от двери к кровати Айлы, говоря:

— Доброе утро, я слышала, вы тут одна, будем прихорашиваться?

Забавная идея, но, с другой стороны, что остается? Даже самая умелая сиделка может помочь только с этим.

— Я слышала, доктор Грант собирается к вам заглянуть. Подумала, что вам стоит немножко освежиться до тех пор, если хотите, конечно. К тому же у вас все равно никого нет.

Айла задумывается о том, не раздражают ли персонал ее посетители; откуда Рейчел знает, что доктор Грант собирается зайти, если самой Айле об этом неизвестно; что может даже простая

сиделка знать о ней и ее перспективах, о чем не говорят при ней самой. Она знает лишь то, что может услышать, или то, что ей намеренно рассказывают, или то, что время от времени перепадает, как будто собаки приносят ей косточки.

Рейчел говорит:

— Начнем с депиляции, хорошо? Я ведь вам уже говорила, что у вас потрясающие ноги, да?

Это правда, потрясающие. Или были такими; конечности, которыми не пользуешься, быстро увядают. Возможно, она уже усыхает. Доктор Грант, такой молодой, что мог бы быть ее сыном, возможно, смотрит на нее и гадает, чего ради она так жаждет обрести ощущения, какой смысл может быть в его усилиях.

— Причесать вас?

— Пожалуйста. Было бы чудесно. А макияж? У вас есть время?

Как быстро калеки становятся робкими; как внимательны к другим.

И еще, поскольку выбора нет, как охотно зависят от других, как намеренно, бесконечно нескромны.

— Никаких проблем. Скажите, а когда вам было столько, сколько сейчас вашей дочке, у вас были такие же яркие волосы? У нее — просто удиви-

тельные.

— Не совсем, но да, у мамы тоже были примерно такие, хотя с годами они тускнеют. У Аликс просто посвежее. Ваши дети на вас похожи?

— Шон похож, сын. У него мои глаза и нос. Джейни пошла в отца. У нас в семье все не так. И — не только в этом отношении. — Рейчел усмехается.

— Я знаю. Тяжелый возраст.

— Еще какой тяжелый. Иногда я даже рада, что помногу работаю. Бывает, что здесь легче, чем дома.

Айла, если бы могла кивнуть, закивала бы от души.

— Но все равно, потом все наладится.

— Надеюсь. — Голос у Рейчел не слишком уверенный. Да, но сколько лет и у самой Айлы был бы неуверенный голос. И остается еще Аликс. В лучшем случае, она сейчас в подвешенном состоянии. То есть есть надежда.

— У вас такая мягкая кожа. — Рейчел накладывает тональный крем легкими массирующими движениями, вверх, а не вниз, щедро подразумевая, что в уходе за лицом все еще есть какой-то смысл. — Честное слово, и не подумаешь, что вам к пятидесяти.

Она даже знает, сколько Айле лет? Что еще?

— Какие тени: зеленовато-голубые или бежево-серые?

— Бежево-серые, пожалуйста. Вы не возражаете, что приходится всем этим заниматься?

— Что вы, нет, мне это нравится. Я думала, что пойду в косметическую школу, или как там это называется. Даже когда была маленькая и играла в куклы, больше всего любила делать с ними что-нибудь, чтобы они выглядели не так, как когда мне их подарили. Результат бывал устрашающий, так что вам наверняка приятно будет узнать, что с тех пор я кое-чему научилась.

Она просто болтает, она ничего плохого не имела в виду, она никогда бы намеренно не сравнила Айлу с куклой: скованной, безжизненной и уязвимой для любого, кто хочет играть.

— Вот. — Рейчел отступает на шаг назад. — Хотите взглянуть?

Нет. Да. О господи.

Ну что ж, что есть, то есть: глаза теперь неожиданно большие, потому что отеки спали, скулы подчеркнуты, но умело, не кричаще. И Рейчел права, ее кожа выглядит мягкой; хотя не начинает ли она увядать? И все-таки — намного лучше того, какой она впервые увидела себя в больничном свете.

Только с глазами что-то не так. Или что-то непривычное. Это глаза кого-то испуганного, незнакомого и обеспокоенного. Она видит, как они расширяются от еще большего беспокойства и страха, что их заметят, обнаружат, станут рассматривать. Неужели это те глаза, в которые день за днем смотрят Лайл, Джейми и Аликс?

— Достаточно. — Она слышит, что голос у нее звучит резковато. — Просто здорово. Спасибо.

Возможно, Джеймс был прав: есть вещи, на которые лучше не смотреть, к которым лучше не приближаться.

Невыносимая жизнь. Невыносимо видеть руки Рейчел, но не кисти рук, быстро двигающиеся взад и вперед, наверное, она втирает крем в руки Айлы, и ничего не чувствовать. Провал между знанием и ощущением бьет, как током. Все это, должно быть, чудовищно. И может быть, превращает ее саму в чудовище.

Таких только по телевизору ночами показывать.

Но люди часто свыкаются даже с самым чудовищным знанием, ей это известно. Она слушает, как ритмично шуршит и похрустывает халат Рейчел, массирующей, бог знает, какую конечность, легкие влажные шлепки крема из тюбика

на ладони. Еле уловимый щелчок, когда Рейчел распрямляет спину, поворот крышечки, когда она завинчивает тюбик, шорох, когда она складывает все назад в сумку. Рейчел снова склоняется над ней с улыбкой.

— Потрясающе выглядите. Разве я не молодец?

— Лучше всех, никаких сомнений.

— Вот теперь вы будете себя хорошо чувствовать, когда придет доктор Грант, правда?

Но с чего бы? Теперь она осторожна. Она вспоминает то, что ей уже известно: если она потеряет над собой контроль, то взять себя в руки не получится, не в том она положении.

Она слышит свой вздох; ну и денек, такая толчея вокруг нее сегодня! Потому что теперь, кстати, она слышит у двери и знакомый стук доктора Гранта, вот он прочищает свое молодое горло. Вот его серьезное лицо склоняется над ней, и вид у него такой, как будто у него что-то на уме. Что еще?

В каком-то странном смысле он у нее в гостях, и приходится прибегать к искусству принимать гостей, состоящему в том, чтобы всем было легко и удобно. Вообще-то, это искусство существует не для гостей, а для хозяек, желающих, чтобы все прошло гладко и все были максимально добро-

желательны. Поэтому она говорит:

— Почему бы вам не взять стул и не устроиться поудобнее? Вы же устаете наверняка, целый день на ногах.

В данных обстоятельствах это — лучшее, что она может сделать, так ей кажется.

Он садится очень близко к кровати, скрещивает руки на никелированном поручне и кладет на них подбородок, как любопытный ребенок. Несколько секунд он усаживается и устраивается. Морщинки около его рта и в углах глаз едва видны, борозды на лбу совсем неглубокие. На его лице отражается отсутствие опыта, то, чего он не испытал, или то, что не отразилось на нем.

— Так, — начинает он. — Дело вот в чем. Вы, наверное, уже поняли, что этот осколок пули ведет себя не так, как мы надеялись. Мы ставили на то, что он выйдет сам, но теперь мы приняли решение (Кто это *мы*?), что ждать дольше неразумно. К тому же одна из подходящих операционных неожиданно освободилась. Что скажете насчет операции послезавтра? В четверг, прямо с утра.

Господи.

— Так быстро?

— Ну да. Тянуть нельзя, могут начаться другие проблемы. Я знаю, вы удивлены, но, честное

слово, мы назначили операцию так скоро просто потому, что операционная свободна. Лично мне это кажется хорошим знаком. Так что постарайтесь не волноваться. Потому что, когда доходит до дела, организм каким-то образом собирается и бесстрашно бросается в бой.

Она обдумывает «бесстрашно» и «бросается в бой» и приходит к выводу, что он склонен к поэзии и оптимизму.

Она напоминает себе, что нужно дышать. Вдох сопровождается легким присвистом и пыхтящим звуком слева от нее, который становится громче.

— Конечно, то, что нам предстоит, вытащить эту маленькую дрянь, — работа довольно сложная. Вернее, тонкая. Но все-таки, знаете, в каком-то смысле вам повезло, что он попал именно туда, — да, да, она уже это слышала, слишком часто слышала. — К тому же иногда действует фактор рикошета, это усложняет дело.

Которое и так, как он уже сказал, «довольно сложное». И «тонкое».

— И что потом?

— Ну. — Он делает паузу. — Потом, я так понимаю, будет видно. Суть в том, что мы не знаем. Возможно, вытащим этот кусочек и, простите за выражение, попадем в десятку. Или, честно

говоря, могут обнаружиться не связанные с ним повреждения. Сложно сказать. Мы не узнаем наверняка, пока не влезем туда. И не вылезем обратно, конечно.

Она, наверное, все это уже знала; просто не прилагала это к послезавтрашнему дню. Когда все изменится, еще раз, за несколько секунд. Так или иначе.

— Но лучшего места, чем это, для вас просто нет.

А вот и есть. Она могла бы сидеть на веранде с Лайлом, есть мороженое из холодильника. В холодильнике в подвале было мороженое, давнишнее, но все еще хорошее, а в шкафчике над микроволновкой были рожки. Не было необходимости уезжать из дома, ни за чем, даже за мороженым.

— Но я думаю, у вас есть вопросы, да?

Не задавай вопросов, на которые не хочешь ответа. Джеймс сказал верно. Сколько информации можно узнать, вынести?

— Перспективы?

Он снова слегка хмурится; легкие морщинки у него на лбу, как ей кажется, через несколько лет станут глубже.

— Сложно сказать, — конечно, сложно. — Я

думаю, осколок мы извлечем без проблем, это не самая сложная операция из тех, что мы делали.

Но…

— Но что будет дальше, каковы перспективы, я, честное слово, не могу просчитать. Простите. Но вот что я думаю, и я знаю, что это не слишком научно звучит, но лучшее, что вы можете сделать, чтобы нам помочь, это сосредоточиться на сильных положительных мыслях, помнить о тех, кто вас любит, и кроме того, верить, что мы очень хорошо делаем свою работу? А мы ее хорошо делаем. Я правда верю, что вера в хороший исход имеет значение.

Значит ли это, что раньше, до сих пор, она, неосознанно и за редким исключением, ошибочно верила в дурной исход?

— И еще, доверьтесь нам, отдайте все в наши руки.

Они оба смотрят на его руки. Такие молодые и человеческие руки; а она бы предпочла, чтобы они были для начала постарше и, может быть, чтобы они были сверхъестественными, даже внеземными, по крайней мере блистательно, очевидно и нечеловечески талантливыми.

Подумать только, заниматься работой, от которой зависит настоящая, живая человеческая

жизнь! Много лет назад, будучи в оптимистическом настроении, Айла подумывала о том, чтобы стать добровольным оператором телефона доверия. Люди звонили бы ей, делились своими бедами — неудачные браки, умирающие родители, их собственные болезни и тяготы, мрачный груз одиночества — а она бы говорила с ними, щедро, сострадательно, помогала бы им пережить ночь. От этого, как она полагала, у нее самой становилось бы легче на душе. Еще это казалось ей чем-то вроде ритуала, отводящего беду. И, если честно, возможностью разнообразить свою жизнь и сделать ее более интересной.

Какой она вскорости стала и без того.

Но если подумать: что именно, что конкретно она стала бы делать с тем, кто звонит, приставив лезвие к запястью? С бессвязным голосом, признающимся, что хочет напиться таблеток, умереть или, если на то пошло, убить?

А если бы она не смогла ничего сделать? Если бы кто-нибудь умер?

Она обнаружила, что силы ее духа не хватит на неудачу или на смерть. На то, чтобы словом или вдохом не в тот момент подтолкнуть чью-то жизнь в ту или иную сторону.

Этот молодой врач делает такое каждый день.

Как он может спать? Как он может вставать по утрам? Как могут не дрожать его руки? Что, по его мнению, значит слово «доверие», чтобы произносить его так легко, как будто оно легко завоевывается или дается?

Он касается ее щеки тыльной стороной ладони; в других обстоятельствах это было бы лаской любовника.

— Просто поборитесь еще немного вместе с нами. Вы — крепкий орешек, вы сможете. Все просто поражаются, как замечательно вы держитесь.

Вот как? Значит, они не очень наблюдательны, не так ли?

Он снимает руки с поручня и встает во весь свой не очень большой рост.

— Постарайтесь не беспокоиться и не унывать, хорошо? Настройтесь на благоприятный исход.

Да, но… какой недоумок не станет унывать, когда речь идет о его жизни? А все же, «унывать», «уныние» — какие красивые, звучные слова, в них есть какая-то соблазнительная, темная, роскошная мощь.

Она была бы не против прижаться к нему сейчас. Не против обвиться вокруг его молодого, крепкого тела. Или, если бы могла это почувствовать, хотела бы, чтобы он взял ее за руку. Она

хотела бы почувствовать его руки.

— Спасибо, — говорит она.

Он улыбается мальчишеской беззаботной улыбкой.

— Обещаю, я хорошо высплюсь накануне, отдохну и буду в полной боевой готовности. — Потом он внезапно становится серьезным и прикасается к ней, наверное, к ее руке: — Честное слово, я не допущу, чтобы с вами случилось что-нибудь плохое.

Врачи не должны такое говорить. И Лайл сказал что-то в этом духе, поклялся, что будет хотя бы не Джеймсом, но случилось нечто очень плохое, и Лайл этому не помешал. Он говорил серьезно, и он бы помешал, но не получилось. Это неразумные обещания. Их нельзя сдержать.

«Помогите», — снова сказала бы Айла; но посмотрите, что вышло, когда она в прошлый раз это сделала. К тому же он все равно ушел.

Господи. Четверг.

Предполагается, что предчувствие смерти, или ее возможности, или возможности любого надвигающегося несчастья должно очень обострять мышление. Тогда ее мышление должно было обостриться на пороге «Кафе Голди». Но кто может так постоянно и остро все осознавать? Что

ж, теперь она, наверное, сможет; начиная с этого момента; если представится возможность.

И кто может быть настолько аккуратным? Не оставлять тысячи незавершенных дел, хвостов, тянущихся за каждым днем?

Послезавтра: всего несколько часов; слишком мало времени и слишком много. Она совершенно не готова, и в то же время хочет, чтобы все было уже позади, сделано, чтобы было ясно: победа или поражение?

Потому что вдруг не получится, что тогда?

И что, если получится?

Несколько хороших слов

— Угадай, кого я привела?

Будь Аликс медсестрой или доброй сиделкой, как Рейчел, у нее были бы основания внезапно появляться над Айлой, как выводящий из равновесия ангел. Она по-своему светится; пожалуй, тут подойдет слово «сияющая». Будь она медсестрой, пациента это могло бы радовать. Матери такое поведение дочки кажется странным. И пугающим.

— Ох, извини, ты спала?

— Просто глаза устали.

И это правда, но еще — нечто вроде семейной шутки, потому что именно это всегда говорит Берт, когда ему случается задремать, смущаясь, что его застали врасплох в неподходящий момент.

— Хорошо, потому что смотри, кто здесь!

— Лапонька, — говорит Мэдилейн, делая шаг вперед, — родная моя.

Аликс прижимает руки к груди, радуясь, как дитя.

— Я только что привезла бабушку и Берта из

аэропорта. Удался сюрприз?

Да, да, еще бы. Она сияет, ей хочется верить, что сияет, глядя вверх.

— Господи, еще как. Я так рада, что ты здесь.

Она бы бросилась в спасительные мамины объятия, если бы могла.

Она бы зарылась лицом в ее ладони, чтобы спрятаться от потрясенного лица Мэдилейн, если бы могла.

— Я тоже. Но я так зла!

— Я тоже.

Мэдилейн, хотя и загорела за время поездки, выглядит не только потрясенной, но и утомленной, и как-то по-новому старой, раньше такого не было. Так же, как у Лайла, Айле под этим углом иначе и отчетливее видны морщины и неровности, старческая тонкость кожи. Плоть Мэдилейн кажется изношенной почти до дыр, как будто ей уже мало что мешает распасться.

Когда все это случилось?

Постепенно, так Айла думает, незаметно, день ото дня; а кое-что внезапно, недавно.

Руки Мэдилейн где-то внизу, там, куда обычно тянутся руки забывчивых людей, там, где должны быть руки Айлы. Тем, кто привык к ней прикасаться, сложно запомнить все, чего она не

чувствует. Сейчас Мэдилейн, скорее всего, крепко держит ее за руку. Как будто снова пытается вдохнуть в дочь силу и жизнь.

— Почему мне сразу не сказали? И все равно, столько времени ушло, чтобы сюда добраться. Ну и путешествие! Никогда в жизни никого не была так рада видеть, как Аликс в аэропорту.

— Где Берт?

— Поехал за нашей машиной. Аликс отвезла нас домой, бросить вещи, но я, конечно, хотела ехать прямо сюда, к тебе, так что он взялся все разобрать, а потом заедет за мной. Родная моя, ну почему вы сразу не сообщили? Ужасно, что меня здесь не было. Я чуть с ума не сошла оттого, что я так далеко.

— Прости. Мы не знали, что делать. Не хотели вас огорчать, не могли выбрать подходящий момент.

Мэдилейн поднимает брови:

— *Подходящий* момент? И какой же момент ты считаешь подходящим?

Как они похожи, она и Айла. Она обижена, а боль быстро порождает гнев. Было время, когда Айле это казалось полезной последовательностью, но, возможно, она слишком часто к ней прибегала.

— Я знаю, ты права, прости. Но теперь ты здесь, и слава богу. Я так скучала по маме. — Айла пытается смягчить ситуацию, но она говорит искренне: она скучала по матери, которая теперь здесь. Еще один *хороший знак*, как сказал бы доктор Грант?

— И ты как раз вовремя, еле успела. Только что заходил врач, они назначили операцию на послезавтрашнее утро. Немножко неожиданно, но, наверное, хорошо, что дело сдвинулось с мертвой точки.

— Вот это да. — Это, конечно, Аликс, выходящая из-за бабушкиной спины. — В четверг?

— По крайней мере, тут я успела. Я бы не вынесла, если бы меня в этот момент здесь не было.

Глаза Мэдилейн наполняются слезами. Айла не помнит, чтобы мама плакала с тех ночей, сразу после смерти отца, когда Айла просыпалась от безутешных, горестных звуков.

И еще она не думала, что ей придется сдерживать чувства в разговоре с матерью.

— Не надо, не плачь, все хорошо. Все говорят, что это — лучшая клиника в стране, и врач настроен оптимистически. Он медлил только потому, что хотел посмотреть, не выйдет ли осколок пули сам, но тот не вышел. Он совсем крохотный.

Я видела снимки. И ты должна посмотреть. Так интересно.

Мэдилейн все гладит и гладит лоб Айлы. Айла закрывает глаза. Дрожащая нежность Мэдилейн: почти на это она и надеялась.

Хотя вскоре это начинает казаться мрачноватым: как будто Мэдилейн скорбит над телом. Айла быстро открывает глаза.

— Ну и как вы добирались домой? Я слышала, все было довольно сложно.

— Скажем так, не без приключений. Лайл очень ловко все устроил, нашел катер, потом маленький самолет и парочку ни на что не похожих гостиниц. Кстати, Берт сказал, что в четырехместном самолете больше никогда не полетит, хотя, на мой взгляд, мы попадали в куда худшую болтанку на больших самолетах.

— Бедный Берт.

— Да, и он скоро приедет. Айла, я вернусь, как только смогу, но мне нужно уйти, совсем ненадолго. Я умирала, так хотела тебя сразу увидеть.

Она останавливается; не зная, как думает Айла, что можно сказать после слова «умирала».

— Я так счастлива, что ты рядом. Но ты наверняка вымоталась, так что поезжай домой и отдохни, не возвращайся сразу. Сделай все, что

нужно, выспись, а завтра увидимся. Потому что нам всем понадобятся силы.

— Но столько еще нужно узнать.

— Понимаешь, кажется, что много всего, но на самом деле — совсем чуть-чуть. Куча деталей, но всего несколько основных фактов. Все самое главное ты знаешь. Честно, я не вру, ты вернулась — и мне уже хорошо.

Это недалеко от истины. Совсем недалеко.

— Родная, наверное, ты права. Я немножко волнуюсь за Берта, так что, возможно, будет лучше, если мы посидим дома. Я еще посмотрю, но если не сегодня, то завтра я приеду прямо с утра. Айла, — она пробирается сквозь аппаратуру, чтобы коснуться лба Айлы губами в алой номаде. — Береги себя.

Поздновато себя беречь.

— Хорошо, мамуль. И ты тоже.

Аликс все еще лучится. Куда делось умиротворение?

— Правда, здорово, что ты повидалась с бабушкой? Я едва успела, мне пришлось просто мчаться в аэропорт из суда. Ой!

Этого она явно не хотела говорить.

— Из суда? — Айла унаследовала от Мэдилейн талант поднимать брови.

— Ну да. — Аликс на мгновение отводит взгляд, потом снова смотрит на Айлу. — Я хотела с тобой об этом поговорить, но, может быть, не сейчас. Я не знала, что операцию назначат так скоро.

— Тогда лучшего времени не найти, разве нет?

Потому что другого времени может и не быть — это жестоко? Возможно, нет. Возможно, Аликс этого и не услышала.

— Ну, хорошо. Я думала, не будешь ли ты против: слушать обо всем этом, и о том парне — будет ли это правильно? Потому что мне кажется, что это важно.

Гляньте на нее: под этой хрупкостью и прозрачностью всегда таилась девочка, девушка, молодая женщина, которая может, если хочет, принимать жесткие решения. Они не всегда разумны, но могут быть очень суровыми. Сейчас в ней есть что-то от Аликс двенадцати лет, медленно вылезающей в расстегнутой после возни с Тимом рубашке из-под бильярдного стола и упирающейся в отца взглядом, от которого тот теряется. В последнее время она принимала решения в интересах веры, стремления, убеждений: возможно, ложной веры, глупых стремлений, ошибочных убеждений, но кажется, она что-то знает о том, как их принимать, если не о том, к чему они приводят.

Нежное сердце у нее было от природы, а потом она сосредоточилась на достижении равновесия, которое, возможно, ошибочно принимала за душевный мир.

Посмотрите на эту кожу, на эти глаза, на эти великолепные волосы. Задумайтесь о ее желаниях. Разве Айла не разделяет их?

— Хорошо, — осторожно произносит Айла.

— Его зовут Род. Это ты, наверное, знаешь. Я слышала, как его бабушка и отец зовут его Родди, а в суде говорили Родерик, по документам, ну, в обвинении, но адвокаты и судья называли его Род.

Об именах можно было бы и поменьше. Айла избегала его имени, как могла, а теперь их сразу три. Возможно. Аликс это так интересует, потому что сама она идет по жизни с одним, по крайней мере, лишним именем.

— Я не знаю, помнишь ли ты, как он выглядит.

Жидковатый. Непривлекательный. Движения быстрые и глупые. Примерно так.

— Он довольно худой. Бабушка у него просто толстая, и отец здоровый дядька, но Род на них совсем не похож.

Тогда он, наверное, похож на мать, но где она? Айле очень хорошо известно: что бы ни натворил

сын, мать всегда с ним. Сама она была несколько лет назад, сидела за спиной Джейми в суде, слушала про его преступления, слышала его покаяние, вынесла его наказание.

— И я не знаю, что ты о нем думаешь.

В самом деле? Пора снова поднять брови.

— Сколько ему дали? — Вот что Айла думает, вот что ее интересует в связи с ним за день с небольшим до операции: мера и степень его наказания.

— Ах, это. Полтора года. И два года испытательного срока.

По тону Аликс не скажешь, считает она, что это слишком много или слишком мало. Ей это, похоже, даже неинтересно; как будто дело не в наказании. Для Айлы — именно в нем. Полтора года! Когда этот поганец выйдет, он все равно будет мальчишкой, только-только голосовать сможет.

А где будет она, неизвестно.

Конечно, он слишком молод, чтобы понять, что его жизнь загублена. Если она загублена. Времени у него впереди уж точно больше, чем у Айлы. Ее время сжато, возможно, в один день, а у него, семнадцатилетнего, оно более протяженно, растяжимо. Как Джейми: он может начать все

заново. У пострадавшего, получившего чрезмерный опыт Джейми все же был шанс. Было время. И у этого мальчика есть; у нее все иначе.

— Понимаю, — говорит она.

— Дело в том, мам, — говорит Аликс, возможно, кажется Айле, смелее, чем сама понимает, — что у него есть что-то такое в выражении лица. (Это точно: паника, шок, неизбежность.) — Он как потерянный. Как будто не знает, кто он и что случилось. Как будто у него земля из-под ног ушла, понимаешь, о чем я?

Если она о том, что парень раздавлен событиями, угнетен сожалениями, сбит с толку тем, что с ним происходит, растерян оттого, как все обернулось, то да, Айла понимает.

— Лайл тебе рассказывал, как мы ходили в суд вместе?

— Немножко.

О том, что парень признал себя виновным, что он, по сути, полностью и сразу признался во всем полиции. И что Лайл и Аликс оба сделали в суде заявление. По рассказу Лайла его заявление было больше похоже на восхваление. Про Аликс он сказал: «Извини, но я ничего не понял. Боюсь, мне это не по зубам».

— Лайл сказал все, что должен был сказать, а

я все испортила. Я собиралась рассказать, какая ты хорошая мать и как ты была с нами, несмотря ни на что, и все в таком духе, а потом я шла мимо него, мимо Рода, и посмотрела на него, и все вышло так странно. Я просто остановилась. Что-то в нем такое было, что я смотрела и смотрела, наверное, пыталась понять, что это, и знаешь что?

Нет, Айла не знает. Она знает только, что есть предел ее терпению, и хватит Аликс болтать об этом маленьком засранце. Можно подумать, он кому-то интересен. Можно подумать, в этом есть смысл. Можно подумать, у нее есть время.

— Мы просто смотрели друг на друга. Как будто несколько секунд никого вокруг не было. И он, знаешь, он был такой потерянный, такой опустошенный. И я вдруг поняла, что во мне есть эта ужасная склонность к гневу. Я его по-настоящему ненавидела, такое жуткое чувство, как будто он огромный, потому что сделал нечто настолько страшное, и ты теперь здесь, и все, понимаешь, все рухнуло. Но потом я его увидела, он вовсе не огромный, он скорее жалкий, и, как только я это поняла, я почувствовала, как гнев и ненависть уходят, как будто отлетают от меня. То есть мы не двигались, просто смотрели друг на друга, и он как будто был пустым и каким-то образом

наполнялся. Не знаю, — она машет рукой, — как это поточнее описать. (Конечно, не знает. Это очевидно.) — Но все-таки я в результате что-то сказала, вроде того, что ты очень смелая, и это испытание, но твой дух дает тебе силы, и ты все равно спасешься, как бы все ни сложилось. Ты не волнуйся, — Аликс еле заметно и лукаво улыбается, — я не сказала, что это испытание было благословением и что тебе повезло.

Шутка! Аликс в самом деле позволила себе робкую, но мрачную шутку!

— Потом я все думала, думала, что же произошло, и знаешь, иногда, когда о чем-то слишком много думаешь, оно как-то расплывается, и может оказаться, что все не так. То есть не так, как ты запомнила. Поэтому мне нужно было сегодня опять туда пойти. Наверное, и для того, чтобы услышать приговор, но, если честно, в основном для того, чтобы еще раз на него посмотреть. Понять, такой ли он на самом деле и что я чувствую.

— И что?

Чего она хочет от Айлы? Чтобы та его пожалела? У нее была полная, радостная и совершенно заработанная и заслуженная жизнь, пока этот опустошенный человек в нее не влез. Жалость не входит в ее репертуар.

— И дело в том, что все так и было. То есть я его увидела — он такой на самом деле. Поэтому я хотела тебе сказать, или спросить, я не знаю… — Она хмурится, глубоко и тревожно вдыхает. — Но я хочу снова с ним увидеться. Я не знаю, как ты отнесешься к тому, что я поеду к нему в тюрьму.

Если бы Айла чувствовала хоть что-нибудь, ощущение, как ей кажется, было бы, как от удара под дых.

Что в ней подталкивает тех, кого она любит, к предательству?

— Просто мне кажется, что я могла бы узнать что-то очень важное. Для меня. И он выглядит таким, я не знаю, таким *нуждающимся.* Я думала о том, как он сможет привыкнуть к мысли, что сделал что-то настолько ужасное, и как он будет с этим жить. И, похоже, что нет никого, кто бы ему помог.

Айле не приходило в голову, что он должен привыкнуть к мысли, что сделал нечто ужасное. Она думала, что его поспешный, бездумный поступок должен мучить его всю жизнь. Это и очень большой срок в какой-нибудь похожей на ад тюрьме устроили бы ее больше всего.

— Но, — осторожно начинает она, — ты ведь сказала, что у него есть семья. Бабушка, отец, кто

там еще. Если кто и должен ему помочь, то это они, ты так не думаешь?

Хотя они ему каким-то образом уже помогли: прямиком в преступники, сразу наказан.

— А где его мать?

— Ой, это грустная история. Кто-то сказал, она покончила с собой, с моста, что ли, спрыгнула, когда он был совсем еще мальчишкой.

Он и сейчас мальчишка. Но это и правда грустно.

— Он и его отец уже переехали сюда, к матери отца, когда это случилось. Так они с тех пор тут и живут.

Ну что ж, виновата мать, что еще можно сказать? Если бы его мать не облажалась, Айла бы здесь не лежала. Все было бы иначе. И кто может знать, чего бы удалось избежать? Айла не знает.

— Я не хочу сказать, что у него никого нет, просто он кажется таким одиноким. Как будто в его жизни нет ничего *настоящего*, понимаешь, о чем я?

Ох. Вот теперь Айла внезапно понимает. Она понимает, что Аликс ей только что кое-что сказала, но не о том парне: Аликс чувствует его одиночество и опустошенность, потому что ей это знакомо и понятно.

Какой катастрофически погруженной в себя матерью она была: быть благодарной, даже довольной, что, по крайней мере, в самое трудное время Аликс не сбилась с пути, как Джейми, упорно работала, старалась, не доставляла никаких хлопот.

Тихо дожидалась своей очереди. Терпела, думая, что придет ее время. Дожидаясь и терпя, растила свои желания и стремления. Свою тоску.

— Да, — медленно произносит Айла, — кажется, я тебя понимаю.

— Значит, ты не будешь очень возражать? Я не хочу все для тебя усложнять, но я должна спросить. Знаешь, бывают моменты, когда *знаешь*, как нужно поступить?

В общем-то, нет. Такие моменты в основном бывают у других. Вот как Лайл, например, нашел место, где захотел остаться: какое-то волшебство.

Теперь ей придется высказаться по поводу того, стоит ли ее дочери завязывать знакомство, неважно, какого рода, с мальчиком, который стреляет в людей. Который стрелял в мать Аликс, только в одного человека.

Что будет, если Аликс когда-нибудь забредет на нормальную, не вызывающую беспокойства, возможно, не слишком интересную, заурядную

территорию; но, глядя вверх, видя сосредоточенный, решительный взгляд дочери, Айла понимает, что вряд ли это произойдет. И в самом деле, должны же быть на земле люди с сосредоточенными, решительными взглядами.

— Что ж, меня это огорчает, конечно, ты бы поняла, что я тебя обманываю, если бы я сказала что-то другое. Но я готова тебе поверить, если ты говоришь, что знаешь, как нужно поступить. Я хочу сказать, как нужно тебе. На него мне в высшей степени наплевать. Только я тебя прошу, пожалуйста, будь осторожна. Я его видела всего один раз, и то недолго, но не тот это был момент, чтобы поверить в то, что он подает надежды.

Только представить себе, что Аликс поедет к нему, туда, куда его, слава богу, отправили, пусть и на слишком недолгий срок. Только представить себе, что она будет слушать, как он снова и снова объясняет, пытается разжалобить ее и внушить ей сочувствие.

— Но есть еще кое-что, это тебя порадует, мам. Еще я хотела тебе сказать, что я подумала и, по-моему, решила, что не вернусь в Корпус Умиротворения.

Что? Айлу как будто оглушили рукояткой пистолета: один сильный удар, потом другой. Может

быть, она не расслышала?

— Мне грустно, потому что, помимо всего прочего, многие из этих людей были моими настоящими друзьями. — Слегка улыбнувшись, Аликс добавляет: — Что, наверное, означает, что я не совсем освободилась от привязанностей, как полагалось — но я много об этом думала и уверена, что все решила.

— Почему? — под этим Айла имеет в виду: «Что за чудо в конце концов произошло?»

— Ну, потому что даже Мастер Эмброуз говорил, что может указать нам путь, но никуда не может нас привести, потому что идти мы должны сами. Вот и все, что я думаю: что сейчас, может быть, подходящее время, чтобы идти самой. — Она делает паузу, хмурится, снова делает над Айлой неопределенный жест. — Потому что, то, что случилось, так все меняет, правда? Заставляет совсем иначе ко всему относиться. Понимаешь, что что-то происходит на самом деле, освободиться от всего нельзя.

Это нелегко: когда нужно, чтобы в тебя стреляли, чтобы дочери пришло странное спасительное откровение.

Но все равно — аллилуйя. Счастливо оставаться, Мастер Эмброуз, до свидания, коричневые

платья, прощай тупое повиновение? О да, ура.

— Ты права, — говорит Айла гораздо мягче, чем того требуют ее чувства. — Это — хорошая новость, она меня на самом деле радует. Мне это кажется хорошим знаком.

Сначала сплошное невезение, потом — слишком много удачи? Не хотелось бы, чтобы ее лимит исчерпался до четверга.

— Но все-таки, что ты там искала? Теперь можешь сказать?

Величайшая загадка.

У Аликс удивленный вид.

— Только то, о чем шла речь: умиротворение. Я услышала: «Корпус Умиротворения», — и подумала: «Вот. То, что надо». Не слишком таинственно. Во всем порядок, но и покой тоже. Чтобы быть умиротворенным, нужно мужество.

Да. Айла понимает, почему это может быть привлекательно. Понимает жажду и желание.

И еще кажется, что во время этого разговора Аликс предложила не то чтобы ответ, и не спасение, и даже не разумное рассуждение о вере, убеждениях или стремлениях. Скорее какую-то притчу. Где-то там скрыта история, из которой можно нечто извлечь.

— Я так рада, Аликс, — снова говорит она. — Да-

же сказать тебе не могу.

И правда, не может.

В последнее время все пребывают на грани сверх-сильных эмоций. Это непривычно и очень бодрит. Жизнь предстает перед ней в том обличье, которого она прежде не замечала: как под микроскопом, очень близко к земле. В суженном, сфокусированном поле неподвижности, мельчайших смещений туда-сюда, крохотных шажков, решающих колебаний, мелких, малозаметных, гибельных, внушающих надежду продвижений.

Все может быть.

Аликс поедет к этому мальчику, она хочет помочь ему заполнить пустоту.

Аликс хочет спастись. Она считает, что нехорошо носить в себе ненависть.

Она склоняется над Айлой. Как редко это бывало в последнее время — чтобы Аликс кого-то обняла.

В тюрьме заключенных не разрешают обнимать. Таковы правила, на которые можно положиться.

Но как же мучительна эта потеря — кожа.

— Счастья тебе, — говорит Айла, вкладывая в эти слова, хотя Аликс этого никак не может знать, надежду на то, что для Аликс возможно

блаженство ничем не отягощенных объятий. Безоговорочная привязанность.

Это звучит как благословение: «Счастья тебе». По сути, это — пожелание добра. Теперь у нее остается всего день на то, чтобы найти еще какие-нибудь хорошие слова. Не обязательно счастливые, но хорошие.

Никаких тебе друзей-приятелей

Сколько разговоров было об уроках, занятиях, терапии, дежурствах по кухне и прачечной, суровой дисциплине, жестком расписании — но никто не говорил, что Родди придется с кем-то делить комнату. Камеру. Никто не говорил, что у него совсем не будет времени и места, чтобы побыть одному.

Как и все, что происходит в последнее время, это для него совершенно ново.

Даже у них с Майком в их общей, сверкающей квартире на высоком этаже должно было быть по своей комнате. Они рассчитывали, что хотя бы это «Кафе Голди» им обеспечит. Они смотрели объявления. Знали, сколько придется платить за квартиру.

— Нам каждому нужна будет своя комната, — с обычной уверенностью сказал Майк, — особенно чтобы телок водить.

Эта жизнь в параллельной вселенной должна была стать такой блистательной переменой, таким высококачественным преображением.

И как же неожиданно, еще одно потрясение

среди многих, когда тебя везут на север в фургоне, к этому серому зданию из четырех блоков, где и снаружи и внутри охрана, которая останавливает фургон и проверяет то, что они называют «грузом», устраивая перекличку. А потом заводят внутрь, велят стоять смирно, пока тебя обшаривает жужжащий металлодетектор, потом раздевают, досматривают и отправляют в душ, никакого уважения, ни мысли о том, что кто-нибудь из них, четверых, прибывших вместе, может быть особенным человеком, а потом, вымотанного, с тяжелым сердцем — у Родди к тому времени на самом деле разболелось сердце, — ведут в камеру, смотришь, как охранник открывает замок карточкой, благодарен, что теперь останешься один, наконец-то станет тихо, хотя бы ненадолго, несколько минут в одиночестве, чтобы перевести дух, закрыть глаза, вернуть себе то, что так нужно видеть, и начать учиться, как держаться за это. И увидеть какого-то парня на койке, поднимающего глаза от журнала, уже живущего в новом доме Родди.

Твою мать. Ну несправедливо, несправедливо так: ничего не получать из того, чего хочешь.

За ним заперли железную дверь. Тот парень сел, кивнул без выражения, даже не заботясь, как

Родди, о том, чтобы оценить новую опасность, просто поприветствовал. Сказал только:

— Дэррил. Для своих — Дер.

Родди сказал:

— Род. — Добавил, поскольку показалось, что этого недостаточно: — Привет.

Тот парень был не намного больше его, и голова у него была почти обрита скорее потому, что здесь так положено, не потому, что так модно, как у Родди, не для того, чтобы выглядеть круто. Но мускулы на руках — что надо, и маленькие темные глаза, в которых Родди углядел потенциальную угрозу, хотя, может быть, это просто так принято считать, если глаза маленькие и темные; и потом, он мог просто щуриться, чтобы выглядеть угрожающе, так же, как пытался сам Родди.

Дэррил махнул рукой:

— Будешь спать там, на той кровати.

— Да, я понял.

На своей половине камеры Дэррил оклеил стену картинками, Родди понял так, что он считает эту часть своим домом. Картинки с голыми женщинами, огромные, великанские груди, такие, каких Родди себе и представить не мог, совершенно невообразимые для кого-то вроде него. Он подумал, что вряд ли стоит вешать на своей

половине фотографии крохотных, многоногих существ. Диковато, не говоря уже о том, что они из какого-то другого, прежнего, невинного времени. Картинки Дэррила говорят о том, что он — нормальный чувак, что бы это ни значило, к тому же зовет себя *Дер*. Картинки Родди внушали бы несколько иные мысли.

Такой же унитаз без крышки, как был там, такая же крохотная раковина. Правда, есть еще два стола и два стула, привинченных к полу, и несколько полок, привинченных к стенам. На полках Родди лежали два полотенца, простыни и подушка, но на них, наверное, можно и книги ставить; к слову об уроках. У Дэррила так: несколько книжек и тетрадки. Он смотрел, как Родди все это изучает.

— Ты здесь уже бывал? Знаешь, какие тут порядки?

— Нет. Не знаю.

Дер не такой здоровый, как Майк, смуглый и, хотя мускулы у него есть, на громилу не похож. Противником он будет, скорее всего, вроде Родди: бить будет низко, быстро, сильно и зло. Опасный враг, особенно когда их в маленькой камере всего двое, или полезный союзник, особенно за пределами камеры. А может быть, ни то ни другое.

— Во-первых, постель заправляешь сам. У тебя минут пятнадцать есть, потом охранник все проверяет. Парень, который тут был до тебя, вчера вышел. Он раз шесть за ночь дрочил, так что ты, скорее всего, захочешь перевернуть матрас.

Ну да. Блин. Чужой матрас. Сколько народу спало или не спало на этой мерзкой серой штуке. Не сказать, чтобы Дер кинулся помогать Родди переворачивать его. Не сказать, чтобы с другой стороны он был менее тошнотворным.

Если ему и казалось, что в изоляторе чем-то воняло, чем-то застоявшимся и просачивающимся, не из труб, даже не дезинфекцией, скорее запертыми там телами, то по сравнению с тем, что здесь, это ерунда. Опасность здесь так же серьезна, как желание, и добавляет свой запах.

Здесь никому еще нет восемнадцати, такие тут правила. Родди тут один из самых старших, но чувствует он себя практически ребенком, почти невинным. Он, конечно, может сказать: «Вооруженное ограбление», но тут есть и насильники, и парни, которые еще мальчишками попали в банды. Есть такие, от кого лучше держаться подальше, и иногда это ясно с первого взгляда. Другие все время дергаются, а это едва ли не хуже всего, потому что даже когда охрана рядом, все

равно можно нарваться. Еле слышные угрозы, спрятанное оружие, вроде заточенных полос металла, оторванных от коек, удары бильярдным кием в живот или в спину.

Дер сюда попал за то, что ночью возле бара ударил ножом одного типа.

— Этот козел взял и умер.

Об этом он рассказал Родди в первый вечер в камере. Это было его самое серьезное, но уж точно не единственное преступление. Имя свое он, похоже, заслужил.

— Вооруженное ограбление? — сказал он. — Я тоже пару раз брал магазины, но меня не замели. Правда, я с ножом был, ружья у меня не было.

Судя по всему, это произвело на него впечатление.

Родди впечатлен совсем другим. Ножи. Может быть, все получается так же случайно, но ударить кого-нибудь — ты же весь в крови, ты дотрагиваешься до тела, это сближение, личный контакт, все это настоящее. И запахи, которые бьют прямо в нос, и всякие звуки. Это казалось невероятным. Но многое кажется невероятным, а потом все же случается, вот и с ним тоже.

— Парень забрел, куда не надо было. — Дер говорил так, как будто это объяснение было

разумным, даже очевидным, стоило только упомянуть. — Студенты, мать их, решили посетить бедный квартал. Думали, что крутые. Ходят, как туристы, или я не знаю кто, хозяева жизни — достали, блин. И этот золотой мальчик, то есть у него, правда, оказался папаша богатый, гонит, как любой из них может запросто трахнуть наших сестер и девчонок, да и трахнет рано или поздно, и какое у них у всех блестящее будущее, и как жалко нас, неудачников, всякое такое дерьмо, и я ему говорю: «Заткнись и вали, а то устрою тебе будущее». А он говорит: «Ну да, конечно». И все в таком духе, и потом, мать его, я просто говорю: «Твою мать» — и достаю нож, и он начинает пятиться, говорит: «Ты чего, чувак». А я говорю: «Поздняк метаться, козел» — и бью его. Три раза. И он падает, просто валится на тротуар. Все встают на уши, и я тоже, орут, бегают, дружки его вообще с ума сходят, но, знаешь, он ведь и правда козлом был. Кровища кругом на тротуаре. Стрём.

Дер качает головой; но не похоже, что он жалеет о чем-то; скорее, удивлен, но все-таки не потрясен. Он сам себя не напугал? И если нет, то неужели его не испугало то, что случилось, то, как все вышло? Да, но этого он не скажет, так ведь? Родди и сам бы не сказал.

— Дружки его в том районе еще долго не покажутся, отвечаю. Иначе могут свое блестящее будущее в задницу засунуть. Погоди. — И он повернулся на бок, посмотреть на Родди, аккуратно лежавшего на своей свежезастеленной кровати. — Ты ведь бабу застрелил?

— Да, — сказал Родди, — вылезла не вовремя.

— Насмерть?

— Нет. Пока в больнице.

Он не хотел говорить «парализована». Это прозвучало бы так, как будто она — уж совсем жертва, а он только беспомощного и может одолеть.

— Мой адвокат сумел снять обвинение в покушении на убийство.

Он старался говорить так же просто и между делом, как Дэррил. Новости тут быстро разойдутся.

Дэррил любит поговорить, но сосед по камере мог оказаться и хуже. По крайней мере, он не болтает часами ни о чем. И Родди даже может, когда они остаются в камере вдвоем в конце дня, которые уже кажутся бесконечными, а ведь еще месяцы и месяцы впереди, Родди может ускользнуть за прикрытые веки к видениям, за которые ему нужно держаться. Он все еще может, если очень постарается, различить всполох ярких волос, почти прозрачную кожу, но прежде всего

глаза, которые смотрели прямо внутрь его. Днем тут непросто, ночью тоже. Тишины не дождешься. Круглые сутки столько крика и всякого другого шума — с ума можно сойти. Все какие-то злые, заведенные, заключенные и охранники тоже, и не просто из-за ежедневных мелких проблем. Родди сам заведенный, но все время помнит, что спокойная угроза — его единственное оружие, если у него вообще есть оружие, если оно ему вообще нужно. И дело даже не в том, что тут случается что-то плохое, хотя случается, но просто все себя так ведут, как будто оно может случиться в любой момент, из-за чего угодно, или, если на то пошло, вообще без всякой причины. И нельзя ни на секунду расслабиться и забыть об этом.

Ему по-прежнему снятся сны, от которых он просыпается, но он теперь научился даже во сне не показывать вида, что чем-то расстроен. Он приучает себя к отрешенности — это слово ему попалось на уроке английского, ему понравилось, как оно звучит, — и тишине. Сны о маме всегда одни и те же, но все равно каждый раз оказываются неожиданностью. Он начинает осознавать, что, несмотря на то, что он, как ему кажется, помнит, особой любви он, скорее всего, не вызывал. Наверное, было в нем что-то такое,

что заставило маму отвернуться от него и привело ее к ограждению моста, с которого он ночь за ночью продолжает то нежно, то не очень, все-таки толкать ее вниз.

Потом, днем, когда он совсем проснулся и чем-то занят, он может думать: ну и что. Бывает. Фиг с ним.

Но вот прямо с утра так не получается.

И потом, есть сны получше.

Такие ему тоже снятся.

Но на сны нельзя полагаться. Здешний психолог, или врач, или кто она там, его к ней один раз отвели и еще нужно будет ходить, спрашивала про всякое в таком духе: хорошо ли он здесь спит, снится ли ему что-нибудь, и что. Можно подумать, он ей скажет. Можно подумать, он скажет, как пытается наяву удержать что-то, а во сне видит нечто совсем другое. Как касается во сне самыми кончиками пальцев чудесных круглых сосков этой Аликс, Сияния Звезд, и как просыпается в эти счастливые разы от чего-то вроде электричества.

Можно подумать, какой-то тетке, которой, может, уже за сорок, нужно такое рассказывать. Чтобы она ему наговорила какой-то ерунды, которая вообще тут ни к чему. Нет уж.

Она, в общем, ничего, нормальная, но, скорее всего, это у нее работа такая — казаться нормальной здешним ребятам. Он встретился с ней в свой первый полный день здесь, но потом не виделся, его привели в маленький серый кабинет, целую милю шли по серым коридорам. Она встала из-за серого железного стола, протянула руку и сказала:

— Я миссис Шоу. Здравствуй, Род, — начало было неплохое. — Я буду руководить твоим образованием и курсом терапии. То есть направлять тебя на занятия, сама преподавать не буду. Сама я занимаюсь индивидуальной и групповой терапией, так что мы так или иначе будем много времени проводить вместе.

Он пожал плечами. У нее был такой кожаный дипломат, с какими ходят в офис, она шмякнула его на стол и открыла с резким двойным щелчком. Набит битком, неряшливая куча бумаг. Она и сама такая — битком набитая и неряшливая, но у нее приятный негромкий голос и добрые глаза. Наверное, ей легко обо всем рассказывать, подумал он, хотя сам он и не станет.

Она сказала:

— Суда по тестам, которые ты заполнил, и по бумагам из школы, я бы с казала, что у тебя непло-

хой потенциал. Здесь это встречается чаще, чем ты, наверное, думаешь, но хорошо, когда есть с чего начать. Какое-то продуктивное направление работы. Будем надеяться, что когда ты отсюда уйдешь, у тебя все будет куда лучше, чем ты сам сейчас думаешь.

Ему нечего было на это сказать; хотя надежда не помешает. И еще ему понравилось, что она, как и Стэн в изоляторе, поняла, что он небезнадежен.

— У меня тут материалы, которые о тебе собирали для суда. Высказывания членов твоей семьи, некоторых учителей, друзей, кого-то из тех, на кого ты работал.

Он так удивился, что спросил:

— Вы обо мне с кем-то говорили?

— Нет, Род, я не говорила, другие — да. До вынесения приговора судье помогает инспектор, чтобы судья разобрался, как лучше поступить.

Так о нем разговаривали. Могли рассказывать что угодно, всякие подробности, истории, может, правду говорили, а может, и нет. Что теперь, любой может запросто влезть в его жизнь?

А Майка про него спрашивали? Смог бы Майк говорить про Родди и не проколоться, не выдать ничего? Родди отчаянно хотелось спросить у миссис Шоу: «Что сказал Майк?» И еще: «Чем он

занимается? По-прежнему работает в „Кафе Голди“? Никто не замечал, что у него такой вид, как будто он что-то скрывает? Ему не было неловко, когда он обо мне говорил? Или грустно? Или он вообще ничего не сказал?»

Майка все это не мучает? Он не чувствует себя виновным? Ему не интересно, как дела у Родди, не интересно, почему Родди взялся его выгораживать?

Он вообще думает о той женщине?

Майк ничего не сказал, он не звонил, не писал и не приезжал, насколько Родди знает. Может, пытался. Может, не удалось.

Но интересоваться-то он должен. Только вот Родди не может быть в этом уверен, теперь уже нет. Их пути разошлись, его и Майка. В одно мгновение в «Кафе Голди».

— По-моему, — сказала миссис Шоу, — у тебя славная семья. Бабушка и отец о тебе очень хорошо говорят.

Да ну? Даже отец? Отец вообще что-то говорил?

— Вы с отцом переехали к бабушке, когда тебе сколько было, семь?

Он кивнул.

— Можешь мне рассказать, что ты помнишь

из того, что было до тех пор? Что помнишь о том времени, когда был совсем маленьким? Где вы жили, какой у вас был дом? — она была готова слушать; но все-таки ее голубые глаза смотрели как-то расчетливо, как-то слишком широко она их раскрывала — это было неестественно.

Рассказывать было нечего. Мама смеялась, дурачилась, затевала игры и представления, а потом были дни, когда она даже не одевалась по утрам.

— Я не так много помню. Мы жили в доме, казалось, что он большой, но я же был совсем маленький, так что не знаю. Потом мы переехали.

— Когда заболела твоя мама.

Он резко покачал головой и сжал губы. Не было у него слов, чтобы говорить на эту тему с этой женщиной, вообще никаких. Она хотя бы поняла. Или хотя бы не стала на него давить. Вместо этого спросила:

— Как ты отнесся к переезду?

С ненавистью. С такой ненавистью, что орал, брыкался и сопротивлялся всю дорогу.

— Нормально, наверное. Бабушка у меня хорошая.

— Да, по-моему, тоже. А отец?

— Да, он тоже.

Она подождала пару секунд.

— Но все равно, это ведь была для тебя большая перемена: переезд в новый дом, в новом месте, без мамы. Тебе было очень сложно?

Нет, после того, как они с Майком стали дружить, а это произошло почти сразу. Тогда все стало не так плохо.

— Да нет.

И так далее: о школе, о друзьях, об увлечениях и привычках, сплошные вопросы, на которые он изо всех сил старался не ответить.

— Что тебя навело на мысль об ограблении?

Он пожал плечами.

— Не знаю. Может, по телику что-то.

В конце концов, она слегка улыбнулась, посмотрела на часы и сказала:

— Пока, я так думаю, хватит. Я скажу тебе, что, на мой взгляд, нам нужно сделать дальше: записать тебя поскорее в одну из групп, которые собираются раз в неделю. Все по очереди обсуждают свои вопросы и проблемы, то, что случается в жизни. Многим это очень полезно, хотя я поспорить готова, ты в данный момент не считаешь это слишком удачной идеей. Но ты сам удивишься тому, как часто люди узнают, что у них много общего с окружающими, и как может помочь

обмен мнениями и жизненным опытом. Я для тебя это организую, а там посмотрим, как пойдет. Я в самом деле считаю, что тебе это окажется интересно. И конечно, это помогает получше узнать тех, кто с тобой рядом.

Ну нет, этого не будет. Обмен мнениями и жизненным опытом? Вот уж нет. Он, как выясняется, не из тех, кому выпадает еще один шанс. Он точно не может позволить, чтобы кто-то узнал, что ему снятся сны, тем более что он плакал. Тогда ему конец. Сидеть в кружок, болтать о семьях, преступлениях, мотивах и надеждах? О *чувствах*, как будто у них здесь могут быть чувства?

Бред.

Но может быть, она хочет, как лучше, может, она правда на что-то надеется.

Скорее, она решила, что он просто урод. Еще один из многих.

— Так. — И она наклонилась, протягивая ему листок бумаги с таблицей, сверху — день, сбоку — время. — Вот расписание твоих занятий. Наша задача, я полагаю, состоит в том, чтобы ты прослушал все курсы средней школы и получил аттестат к тому времени, когда освободишься. Это вполне возможно, если возьмешься за дело всерьез. Начинаешь завтра. Что ты об этом думаешь?

Непохоже, чтобы то, что он думает, имело какое-то значение, если все уже сделано, решено и завтра начинать.

— Нормально.

— Вот и хорошо. Получишь книги и все, что потребуется, когда придешь на занятия. Я думаю, ты прекрасно справишься. Как ни странно это звучит, здесь многое оказывается проще. Не сами предметы, учиться проще.

Это и в самом деле прозвучало странно, но выясняется, что она права. Он ходит на математику, историю и английский, и разница в том, что тут не прогуляешь, нет выбора. И еще тут одни пацаны, и в каждом классе есть охранник, не только учитель. Учителя приходят с воли. Им, наверное, даже нравится, что тут прогульщиков нет, и в классе все ведут себя тихо из-за охранников. Может, им не нравится, что тут многие или просто тупые, или притворяются, делают вид, что спят, или пялятся в потолок, или так сидят, даже карандаш в руки не берут. И еще, в отличие от той школы, тут столы и стулья привинчены к полу.

Занимаются они чуть больше трех часов в день. Кое-что он уже знает, учил раньше. Иногда приходится стараться, чтобы не выглядеть слишком умным. Он думает, что здесь это — не лучший

способ привлечь к себе внимание.

И еще всех отправляют в наряды на хозяйственную работу, серьезную, не то что клумбу прополоть, живую изгородь постричь или пропылесосить там что-то. Он на этой неделе работает на кухне, на следующей — в прачечной. На кухне он чистит картошку, мешками, и морковку, целые горы. Жарко, воняет, кастрюли все время гремят, и голова ничем не занята, и пальцы болят, и он все время чувствует, как внимательно за ним наблюдают из-за того, что у него нож в руках. Он не понимает, почему все это делают заключенные, «клиенты», как их тут называют, почему просто не привезти все с воли. Может, считается, что это для дисциплины, или тренировки, или это наказание такое.

Он сомневается, что в прачечной будет легче или интереснее, а Дэррил говорит, что там еще жарче и пара больше.

Им с Дером одинаковые наряды в одно и то же время не достаются.

— Они хотят, чтобы все перемешивались и все время переходили с места на место, — говорит Дер. — Чтобы никаких тебе друзей-приятелей.

Дер считает, что он сам может выйти отсюда через одиннадцать месяцев; как раз перед Родди,

если Родди тоже будет белым и пушистым. У Дера такая цель, «быть белым и пушистым, чтобы они были всем довольны», и он тут уже пару лет, так что должен знать, как себя вести. Родди почти сразу подсчитал, что Деру было всего четырнадцать, может, пятнадцать, когда он пырнул ножом того золотого мальчика. Сложно сказать, насколько он здесь изменился, но страшно подумать: такой пацан, ночью, на улице, и так у него все плохо, что он кого-то убил. Пацан, который подрос, стал сильнее и теперь сидит с Родди в одной камере.

С Родди они, правда, ладят, по крайней мере, он ему подсказал, что здесь и как, основные правила и порядки.

Но на третью ночь случилось нечто такое, что Родди стал думать, что, если Дэррил здесь изменится в лучшую сторону, это будет просто чудо. То же самое было и на следующую ночь, потом был перерыв, пока, наконец, вчера ночью, около полуночи, не пришел охранник, открывший камеру и велевший Деру вставать и идти с ним. В первый раз, когда Дер вернулся, у него носом шла кровь, во второй — он был весь скрюченный и хромал, а вчера его рвало, по большей части в унитаз.

Чего же удивляться, что Родди плохо спит и ему

снятся страшные сны.

— Что случилось? — спросил он в первый раз и чуть язык не прикусил, так это было глупо, а может, и опасно. Да, но как он мог не спросить. — Может, сделать что? Хотя бы остановить кровь, которая обрызгала всю камеру, когда Дер покачал головой.

В общем, это не то, о чем сначала подумал Родди, чего он больше всего боялся, чего все больше всего боятся в тюрьме. Это скорее такая игра, как, в конце концов, объяснил Дэррил, но Родди она, судя по всему, не грозит, «разве что тебя решат использовать как приманку. Знаешь, как бойцовских собак тренируют на щенках, все в таком духе».

Ничего не скажешь, обидно, но обида лучше многого из того, что здесь может случиться.

Дер об этом говорил как о чем-то, что приходится делать, для него это еще одна вещь, с которой нужно смириться, этот полуночный боксерский клуб, организованный скучающими охранниками, которые, возможно, еще и деньжат получить хотят. Вытаскивают своих любимцев и тех, кого не любят. Устраивают нечто вроде ринга из столов и стульев в одной из комнат отдыха. Делают ставки, и начинается бой.

— Никаких правил, — объяснил Дер, — только убить себя не дай, и сам не убивай, а то объясняться потом.

Он сказал, это вроде уличной драки; бей, как умеешь, никаких перчаток, раундов или правил.

— Но все довольно сложно. Вот, например, ты — фаворит, а ты проигрываешь и оказываешься по уши в дерьме. Не сразу, позднее. И наверное, так же бывает, когда выигрываешь не вовремя, но со мной такого не было.

— И что, на следующий день никто не замечает, что ты весь избит?

— Блин, да все знают, может, только самые большие шишки не в курсе. И потом, падают же люди. Спотыкаются, врезаются во что-нибудь, как тут угадаешь? Думать можно все что хочешь, но наверняка не узнаешь.

Надо быть дебилом, чтобы задумываться о том, почему крутые парни с серьезным прошлым как Дэррил, например, — с этим мирятся. Здесь все дело во власти, тут все к ней сводится. У кого она есть, у кого нет. На самом верху — охранники, наделенные сиюминутной или незримой властью. Начальство, те самые «большие шишки», не в счет. И психологи тоже, это точно. Стоит посмотреть на то, как устроена власть, голая власть,

без защитной окраски и лишней плоти, как она работает на самом деле.

— Я хорош, — сказал Дер, как будто он все равно гордится собой, хотя это не его выбор, — меня почти никто не может побить, — быстрая усмешка разбитыми губами. — По крайней мере, когда меня не должны побить.

— Так в этот раз должны были?

— Блин, нет, с чего ты взял? Ты бы видел того чувака.

Все это еще больше убеждает Родди в том, что самое лучшее — когда тебя не замечают. И еще у него такое чувство, что благодаря тому, что выбрали Дэррила, Родди не выберут; что он каким-то образом прячется или спрятан за востребованными кулаками Дера. Правило «по одному из камеры» звучит довольно глупо, вряд ли это правда, но кажется, что это возможно. Ему от этого довольно погано, но так спокойнее.

Кроме уроков и нарядов есть еще всякие кружки и занятия. Просто уму непостижимо, сколько острых предметов попадает в руки тех, кто как раз может захотеть ими воспользоваться. Не только ножи на кухне: Родди записался на резьбу по дереву и осваивает стамески и токарный станок. Пока он сделал только набор салатниц,

одну большую и четыре маленьких, все они немножко кривоватые и грубые, но все равно вид у них самый настоящий, и пользоваться ими можно, хотя дерево сюда привозят в качестве благотворительного пожертвования, и уж явно не лучшего качества. Чувствовать, как оно превращается во что-то у него в руках и принимает форму — это круто.

Он отдал салатницы бабушке, пусть отвезет домой. Она приезжала как-то раз, одна, потому что отец был на работе. Поехала на автобусе, сказала, что попробует приезжать хотя бы раз в месяц, Может быть, два. Ей это будет нелегко. Она толстая, ей в автобусе наверняка жутко неудобно, не говоря уж об остальном. Она взяла салатницы и сказала:

— Родди, какая прелесть. У тебя хороший глаз. Я их буду беречь.

Он знает, что будет; ее легко чем-то таким растрогать.

Еще она сказала:

— С тобой тут все будет хорошо? Тебе не страшно?

— Да нет, тут все не так плохо, как кажется, честно.

Она нервничала; ей тут не место, и она, конеч-

но, не знает, как себя вести. Немножко поболтала о людях в их городке, всяких мелких событиях, поддерживала разговор, как могла. Было не слишком интересно. Он не так хорошо знал тех, о ком она говорила, ее знакомых или знакомых отца. История про одну из ее подруг и грузовик, ехавший через город, была лучше всего. Родди понимает, что самые интересные городские новости — плохие, и все это слишком похоже на его собственную историю. Уж о ней-то разговоров было полно, и для нее и отца это было так унизительно, что тут говорить.

Перед тем как уйти, она стала качать головой, и глаза у нее наполнились слезами. Она казалась еще печальнее, чем мама в тех снах, на мосту.

— Ох, Родди, — сказала она, — как же это получилось. Я ведь даже не догадывалась, мне и во сне такое не могло присниться.

Он бы мог сказать, но не сказал, что на сны полагаться все равно не стоит. Ни фига эти сны не значат.

А сказал он вот что:

— Бабуль, ты не обязана приезжать, со мной все нормально. На автобусе так далеко ехать, а времени осталось уже не так много. У меня все в порядке.

— Родди, тебе обязательно нужно с кем-то видеться, и мне это нетрудно. Я по тебе скучаю, я хочу тебя повидать. И потом, папа меня привезет, он только в этот раз не смог. А в автобусе так интересно. Столько интересных людей.

Еще бы, подумал он: они же тоже сюда едут.

— Так что, на автобусе или на машине, но я скоро приеду еще, милый. Тебя не бросят, ты мне поверь. Ты — мое сокровище.

Что ответить, когда тебя называют *сокровищем?* Чем-то стоящим. Он покраснел и опустил глаза.

Сейчас он жалеет, что у него не хватило ума, или смелости или жестокости, или сострадания сказать ей чтобы она больше не приезжала. И отец тоже. И так сложно разобраться, как здесь жить, даже когда тебе не напоминают ни о чем и не дергают нежными чувствами. Он не может позволить себе утратить бдительность, он об этом постоянно помнит. Но — *сокровище.* Это его чуть не доконало, честное слово.

Полезная мать

На ночь ей дают что-то, чтобы она вырубилась, утром — успокоительное, делают с ее невидимым телом то одно, то другое, что-то поправляют, что-то колют, приходит анестезиолог, рассказать, как все будет, расспросить про аллергии — похоже, они ничего не знают о самом главном: времени совсем не остается. У них свои приоритеты, свои нужды, и в конце концов, а это может быть, концом, до ее приоритетов и нужд им нет дела. Как будто никто из них с ней не знаком. Они вновь заняты только ее костями, самым важным в ее теле.

Поэтому Лайлу, Мэдилейн, Джейми и Аликс разрешают к ней зайти неожиданно поздно. К тому времени Айле приходят в голову кое-какие мысли.

Ей очень не хватает возможности составить список, записать все, что нужно помнить. Сегодня это внезапно оказывается огромной потерей, даже среди потерь куда больших — как невозможность упасть в объятия Мэдилейн, обнять детей или обхватить ногами Лайла.

Что выбирают люди: когда горит дом, они спасают альбомы с фотографиями, а не драгоценности; когда приходит вражеская армия, они подтыкают юбки, хватают детей и бегут. Айла в первую очередь вспоминает, помимо надежды и ее неотвязного спутника — ужаса, о своем покинутом имуществе: вплоть до белья, старых трусов, мягких бюстгальтеров, которые она надевает, если вообще надевает, когда работает в саду или стрижет газон, — все это лежит там, в комоде в спальне, рядом с вещами получше, там, где она все это невинно и беспечно бросила, не думая, что спуск с крыльца может, в конце концов, привести к тому, что в ее вещах будут рыться чужие руки, разбирая и сортируя, что куда.

— Если ничего не выйдет, — говорит она Мэдилейн, — я хочу, чтобы ты просто вытряхнула все белье из ящика в мусорный мешок, ничего не разбирай и не откладывай. Но в шкафу у меня хорошие вещи, я думаю, их можно просто упаковать и отдать в какую-нибудь благотворительную организацию, сама выбери куда. Как ты думаешь, кому-нибудь может понадобиться ношеная обувь? Если да, то и ее тоже. Но убери все. Чтобы ничего не осталось. Времени на это уйдет немного, ты ведь не будешь возражать?

Разумеется, Мэдилейн возражает:

— Пожалуйста, даже не думай ни о чем таком. Все будет хорошо. Просто сосредоточься на том, как хорошо завтра все пройдет, как ты поправишься, и не беспокойся о мелочах.

О мелочах? Раньше Мэдилейн не говорила глупости. Возможно, она и сама это понимает. Она вздыхает, это плохо, но говорит:

— Хорошо. Если потребуется, я все сделаю, как ты хочешь, не сомневайся.

Любовь — это непросто. Становишься слишком уязвим, заботясь о том, чтобы другому было хорошо. Так приходит печаль.

И радость тоже.

— Спасибо. Мне будет легче, если я буду знать, что обо всем позаботятся. — Она обращается к Лайлу: — Мы никогда не говорили о похоронах. Я хочу, чтобы все пригодные органы — как думаешь, есть такие? — взяли на пересадку, а потом — кремация. Никаких открытых гробов, чтобы никто не пялил глаза.

Пока она говорит, не нужно думать, чьи это будут глаза, что они могут увидеть со своей, более гибкой, совсем иной точки зрения.

Если она замолчит, то от страха не сможет сказать ни слова.

Когда она смеется, все хмурятся. На этих людей не угодишь.

Аппаратура сбоку от нее, которой она не видит, начинает пыхтеть и тарахтеть в новом, убыстренном ритме. Длинные пальцы Лайла вытягиваются, прикасаются, медлят над ее лбом; но на мгновение, видя, как он поднимает руку, она подумала, что он ударит ее, и зажмурилась.

И это — безумие. Лайл в жизни ее не ударит, откуда это взялось? Увидел ли он страх, прежде чем ее глаза захлопнулись? Уловил ли сомнение?

— Никаких сомнений, — говорит она или хочет сказать.

Только он уже нарушил одно обещание. Перед ее внутренним взором встает картина: ее правая рука поднимается, замах, прямой удар, она сильно и быстро бьет Лайла в челюсть, так что у него голова откидывается. Возможно, поэтому она и хотела уклониться от его руки: страх, знание, что и он вне себя от ярости. И вообще, и в частности.

Будь это возможно, она защитила бы его, даже от самой себя, но это так же невозможно, как ему защитить ее от непредсказуемых поворотов, следующих за спуском с крыльца, за невинным входом в «Кафе Голди».

Какая тоска: по коже, по этому удивительному

благу, и по всему, что оно может означать. Прикосновение — с головы до ног. Кости и плоть. Все так значимо. Все ушло.

Она вспоминает, хотя и не может этого помнить, как он был в другой больнице, рядом с другой женой, попавшей в беду. В этом воспоминании Лайл и Сандра, Сэнди, выпрямившись, сидят рядом, крепко держатся за руки, лица у них обоих вытянутые и напряженные, как на той знаменитой картине, где фермер стоит с вилами в руках рядом со своей серьезной, изможденной женой, плечом к плечу.

Насколько Айла знает, Лайлу к этому не привыкать.

— Я не знаю, сделал ты какие-нибудь распоряжения относительно собственного погребения или нет? (Он качает головой; похоже, у него нет слов.) Не думаю, что это действительно важно: где именно нас зароют. Сделай, как посчитаешь нужным, наверное, так.

Сложный вопрос этикета — решить, с какой женой тебя похоронят. Если бы лопнули его артерии, где бы она его положила?

Не с Сэнди. Хотя у его сыновей могло быть свое мнение. И потом, какая разница? Умер, значит, умер.

— Только посоветуйся с Джейми и Аликс. Но ты, конечно, и сам все знаешь. И еще, ты знаешь, что мое завещание в левом верхнем ящике стола из розового дерева, который стоит в спальне для гостей, да? По-моему, оно не устарело, разве что в том, что касается бизнеса. Оно не учитывает того, что Мартин, как мне кажется, собирается продать свою долю. Там сказано, что мою долю в агентстве следует предложить ему, а деньги вложить в трастовый фонд для Джейми и Аликс. С этим все, в общем, в порядке, но он скорее продаст, чем купит. Сделай все, как он захочет.

— Айла, пожалуйста, не волнуйся. Я все сделаю, как нужно, поверь, обещаю, — что ж, он выглядит вполне внушающим доверие. — И все будет хорошо, понимаешь? Ты выйдешь отсюда, все пройдет как по маслу.

Любопытное старомодное выражение, «как по маслу», правда? И по маслу — не всегда хорошо, разве нет? На нем может занести, можно поскользнуться.

— Будем надеяться. Но я должна быть уверена, что обо всем подумала. Уверена, через пару дней мы будем над этим смеяться.

Но она совсем не уверена и, сказав это вслух, снова пугает себя. Обещания и серьезные пред-

сказания не приводят ни к чему хорошему, ими можно накликать несчастье.

— Просто все это как-то мрачновато, мам, — вступает Джейми. — В депрессию вгоняет.

— Меня нет. И к тому же, Бог свидетель, теперь моя очередь вгонять в депрессию.

Это вышло резче, чем она хотела. Это заставило всех замолчать, пока Лайл не сказал:

— Я знаю, что тебе нелегко, Айла. Но ты можешь рассчитывать на то, что мы сделаем для тебя все что угодно, все, что сможем. Ты же знаешь, любой из нас ради тебя на край света отправится.

Это приятно.

— Боюсь, что придется. Поскольку сама я, похоже, сделать этого не могу. — Она полагает, что это было смешно. — Эй, не бросайте меня, слышите? А то я тут внизу подыхаю.

— Позвать кого-нибудь? — взволнованно спрашивает Мэдилейн у Лайла.

— Нет! — выкрикивает Айла; а потом спокойнее и жестче: — Я знаю, всем будет легче, если меня вырубят, но мне это мало помогает. — И снова, произнеся это, она не чувствует уверенности. Ей почти кажется, что, когда она теряет связь с миром, что-то происходит, что-то, что она не может описать. И что оно делает с ней, тоже

сказать не может.

Ей сорок девять лет, и скоро будет, а может быть, и не будет, пятьдесят. Когда-то она была рыжей, теперь ее волосы потемнели, поседели и стали грубее. У нее потрясающие ноги и сильные руки, но их кожа и мышцы усыхают. Она с ума сходила по худым и долговязым, но иное сумасшествие — проклятие, иное — благословение. Она блестяще делала свою работу, любит составлять списки и, бывало, гонялась да бегущими детьми с целью спасти их.

Она достаточно сообразительна, но как-то остановилась, озадаченная, перед чертой, которую провела мудрость.

Она терпелива, но не настолько.

И вот к чему все сводится: эти люди, эта сумма смятения и любви — единственное, за что она может ухватиться на этой планете. В любом случае, единственные, о ком она сейчас может думать, и кажется, что они — это и слишком много, и едва ли достаточно.

— И еще кое-что, что я хотела бы прояснить. Если я перенесу операцию, но возникнут какие-то другие осложнения, я хочу, чтобы вы все поняли, что я не хочу, чтобы меня подключали к чему-то, чтобы я просто продолжала дышать.

Мы все знаем, что такое случается, поэтому на случай каких-то сомнений или споров, если такое случится со мной, говорю: просто отпустите меня. Обещаете?

У Лайла странно шевелятся губы, подергиваются и сжимаются, но это не от смеха, не как обычно. Возможно, он и через это тоже раньше уже проходил.

— Хорошо, — говорит он в конце концов, — мы понимаем. Ведь понимаем? — И смотрит на остальных.

Смелая речь; и его, и ее. И если она сомневается в своих словах, а она сомневается, то может ли она быть уверена в том, что сказал он? Она чувствует, как в горле у нее поднимается какой-то скомканный протест, отчаянное желание остаться на земле. Просто продолжать дышать, если все идет к этому.

Но в том, чтобы просто продолжать дышать, столько же неизвестности, тьмы и одиночества, как в смерти. И нужно быть смелой хоть в чем-то, нужно говорить всерьез. Только она и в этом сомневается. И надеется, что может положиться на Лайла, на то, что он сомневаться не станет.

Мэдилейн кладет худую твердую руку Айле на лоб: вселяет уверенность. Проверяет. Что-то

вроде этого. Как когда Айла была маленькой и заболевала, и Мэдилейн проверяла, есть у нее жар, желая, чтобы она выздоровела поскорее.

— Тебе не о чем беспокоиться. Надеюсь, ты это знаешь.

Даже когда Мэдилейн лжет, голос у нее такой же твердый, как и рука.

Не странно ли, что думать о завтрашней гонке на полной скорости к темной, прочной стене по крайней мере проще, чем о — пожалуй, самое простое слово — «сложностях», которые ее ждут, если она останется жить? Если и так, человек может лишь до определенного момента управлять движением этих мыслей, а потом — тупик. Горе и паника завершаются сами по себе в тот же самый миг, что и жизнь, и это если и не совсем утешает, то все же устанавливает некие рамки.

Завтра. Возможно, завтра. Может ли это быть? Но ведь может.

Быть предметом скорби, утратой — это хорошо. Быть обузой, домашним инвалидом — нет.

Быть здоровой — вот что было бы чудесно.

Слишком широкий разброс возможностей, слишком они несопоставимы.

Аликс выступает вперед, в луче света ее волосы становятся нимбом:

— Именно от меня ты чего-нибудь хочешь, что мне сделать, мам?

Нет, ничего, если подумать, дети не разделяют общее бремя, освобождаются от заданий: как будто они и в самом деле дети.

— Потому что, если нет, то у меня есть план, если только ты не против. (Интонация у нее твердая, деловитая и — возможно ли? — нормальная.) — Я иду по магазинам. Так что в следующий раз, когда мы увидимся, я буду одета во все новое. Потом, наверное, напишу пару писем. В каком-то смысле — на счастье.

Если никто и не понимает, о чем она, Айла знает. И это изумительный подарок, никаких больше коричневых платьев, пропади они пропадом. Одно письмо, без сомнения, Мастеру Эмброузу. А другое, а о другом и думать не хочется. Но, возможно, это и в самом деле — на счастье.

— Тогда купи что-нибудь шикарное. И яркое, хорошо?

— Куплю. — У Аликс как-то странно напряжен подбородок, когда она склоняется над Айлой, чтобы мазнуть ее губами по лбу. — Еще увидимся, обязательно.

Она смотрит вниз еще одну последнюю, долгую секунду. А потом уходит.

Что ж, победа далась нелегко, но триумф есть триумф. Получите, Мастер Эмброуз.

В напряженной, недоуменной тишине, которую оставила после себя Аликс, Мэдилейн кладет руку на плечо Джейми, который намного выше ее. Ежится? Опирается? Сложно судить под этим углом. Сегодня она выглядит более отдохнувшей и гораздо более сильной.

— Я тут подумала, — говорит она Джейми, — вы с Лайлом не будете против, если мы с твоей мамой побудем наедине, всего несколько минут? Может быть, кофе выпьете?

Когда Лайл кивает, она смотрит на него с любовью, и когда они с Джейми уходят, усевшись на весьма востребованный стул возле постели Айлы, улыбается и говорит:

— Ну разве нам не повезло, нам обеим: мой Берт, твой Лайл. Такой удачный второй выбор.

Второй шанс.

— Но… — Мэдилейн делает глубокий вдох. — Вот что я тебе хотела сказать, хотя тебе это может показаться странным, но я почему-то не могу отогнать от себя эту мысль: я все думаю, не зря ли мы не воспитывали тебя в духе какой-нибудь веры, не жалеешь ли ты о том, что у тебя сейчас нет подобного утешения. (Она права, и это со-

вершенно неожиданно; в этом есть даже что-то зловещее.) Если так, прости меня, но я просто не могла этого сделать. Все, что нужно знать, все истории мы тебе рассказали, я знаю, но это не та религия, ради которой люди ходят в церковь, не то, что чувствуешь сердцем. Ты прости меня, если тебе этого когда-нибудь не хватало. И сейчас я хотела бы уметь молиться.

Господи.

— Правда? Знаешь, это не слишком заряжает меня оптимизмом.

Айла хотела бы, чтобы Мэдилейн улыбнулась. Ей хотелось бы, чтобы был хотя бы слабый повод посмеяться. Все, что она получает, — это мимолетная улыбка, просто проблеск.

— Но нет, я не думаю, что религия что-нибудь изменила бы. Не для меня. Я редко об этом задумывалась.

О вере — да, о доверии, о надежде, даже о некоторых историях, но не о том, о чем говорит Мэдилейн.

— Хорошо. Тогда о том, о чем я действительно хотела сказать. Я могу не уметь молиться, но я с тобой, не думаю, что от этой ерунды что-то на самом деле зависит, — а теперь она рассержена!

— Ты знаешь, мам, если бы я собиралась по-

молиться или даже просто изо всех сил чего-то пожелать, сейчас я бы не знала, о чем просить. Понимаешь, о чем я?

Голубые глаза Мэдилейн теперь, возможно, уже не такие ясные, как раньше, но взгляд у нее может быть, очень острым.

— Я думаю, да. Да. Ты, наверное, думала, что я совсем дура, говорю тебе, чтобы ты не беспокоилась, и ты бы поняла, что я вру, если бы я сказала, что сама не беспокоюсь, поэтому не буду тратить время на эту чушь, я беспокоюсь, и ты, конечно, тоже, и хватит об этом. Но я хочу, чтобы ты знала, что, хотя мы и не способны молиться, я сконцентрирую на тебе всю свою силу и волю. И знаешь, я думаю, это что-нибудь да значит.

И доктор Грант тоже.

— И я тоже.

И она тоже: превосходно отточенная, беспримесная и собранная воля Мэдилейн — с такими вещами не шутят, это могучее оружие на стороне Айлы.

— И потом я буду здесь, я тебе помогу. У тебя будет много работы, и я сделаю все, все, что только смогу. — Ее маленькие зубы стиснуты, выцветшие глаза сверкают. — Я столько раз мечтала поменяться с тобой местами, но, в конце концов,

это — все лишь потакание своим слабостям и пустая трата сил. Поэтому, раз мы не можем этого сделать, я сделаю что-нибудь еще, что угодно. Все, что поможет поставить тебя на ноги.

Воспламенившись, Мэдилейн яростно энергична. Она искрится и излучает нечто, ее маленькое тело становится грозным и огромным в своей серебристой, золотистой, темно-синей воле. Эти цвета нельзя увидеть; но Айла их как-то видит. Берт как-то назвал Мэдилейн «горячей штучкой», что Айле показалось странным и, возможно, неуважительным, и бросило небольшую тень на ее привязанность к нему. Возможно, он имел в виду именно это, именно это и видел.

— Спасибо. Мне так повезло, что ты — моя мама.

— Едва ли. Но мы все стараемся изо всех сил, правда?

Некоторые — да, некоторые — нет.

— И это пройдет. Будет нелегко, но ты сумеешь.

Мэдилейн произносит ободряющие слова, но то настоящее и несокрушимое, что она на самом деле имеет в виду, у нее во взгляде, который говорит: *«Соберись, преодолей».*

— Сейчас я уйду, но очень скоро мы увидимся.

И все у тебя будет прекрасно. — Каждое слово звучит отдельно, отчетливо и подчеркнуто; не просто «увидимся позже», но обещание, требование. Она еще раз твердо и крепко прижимает ладонь ко лбу Айлы, и, когда она уходит, у Айлы создается впечатление, что ее обожгло горячим маминым касанием и напряженным взглядом.

Может ли быть, что она на самом деле, действительно видит этих людей в последний раз? Она не может это принять. Она знает, но это знание застит глаза, ослепляет, этого не может быть, хотя это возможно.

— Мам? — слышит она откуда-то от двери; естественно, голос Джейми.

Они устроили, чтобы у каждого была минутка с ней наедине, наверное, специально обсуждали: кому когда говорить слова, которые могут стать последними. Роскошь беззаботных, даже просто бездумных разговоров утрачена, и потому — с какими словами пришел Джейми? Ее дети вселяют беспокойство, под них нужно подстраиваться. Взять хоть Аликс, ее желание тратить время, чудесное, драгоценное время на ничего не значащего творца этой маленькой, ничтожной, едва заметной миру личной трагедии. И еще рывок Аликс на свободу, это объявление. Дети Айлы,

ее сбившиеся с пути, оступившиеся отпрыски склонны преподносить сюрпризы. Как малыши, пытающиеся на цыпочках выскользнуть из спящего дома, прекрасно знающие, что нужна опаска и осторожность, они спотыкаются, падают, сшибают лампы. Они так часто неуклюжи; или просто невнимательны.

Джейми устраивается на том же стуле у ее кровати и, как доктор Грант, опирается на поручни, нависая над ней. На таком близком расстоянии сходство гораздо менее выражено.

— Ты знаешь, — начинает он, — как я благодарен, что ты всегда была со мной, и как сожалею о том, что со мной было столько проблем.

Он это и раньше часто говорил, едва ли это нужно повторять сейчас.

— Но все это выхватило из моей жизни здоровенный кусок. (Из ее жизни тоже, могла бы сказать она, не говоря уже о жизни Лайла, но ладно.) И я отстал от большинства своих ровесников. Я знал, что не хочу всю жизнь провести в цветочном магазине, просто я как бы давал себе время подумать, как можно все изменить. А теперь я чувствую, что пора действовать. Я хочу сказать, что все это, — и он делает широкий неопределенный жест, так похоже на Аликс, может, он

подхватил это от нее, как корь, — заставляет задуматься.

Задуматься о чем, о том, что жизнь коротка, или о том, что ни в чем нельзя быть уверенным? Что всякое бывает? Плохое всякое, хорошее, о чем?

— И я подумал, что ты захочешь узнать, что Лайл говорит, что он мне поможет выяснить, какие школьные курсы мне нужно пройти, или я смогу просто сдать квалификационный экзамен, а потом я, наверное, буду поступать в университет. Я не думаю, — и он внезапно улыбается так ослепительно, что она почти снова видит своего маленького мальчика, того, без морщин и теней, еще без печалей и без преступлений, — что таким опытом нужно разбрасываться. Должен же он на что-то сгодиться. Наверное, я буду работать с теми, у кого проблемы. Может, с наркоманами. Я об этом уже говорил раньше, но до сих пор пальцем не пошевелил. Я так думаю, пора. Самое время.

Явная и чистая победа, сто процентов ее детей достигают просветления просто за счет того, что стоят и смотрят на нее. Возможно, она была не безупречной и не во всем разумной матерью, но в последнее время она, похоже, превратилась в полезную мать.

Так же, как и по поводу Аликс, расставшейся с

Умиротворением, если и не с умиротворением, она говорит:

— Это очень хорошая новость, — и еще: — Я тебе помогу, чем только смогу.

В конце концов, возможность может и представиться. И потом, снова:

— Я очень горжусь тобой, Джейми.

— Спасибо. Я просто хотел, чтобы ты знала, на всякий случай. И я тоже тобой горжусь, мам. Я даже не представляю, как это тяжело, по ты здорово справляешься. Вроде примера, если только это не слишком идиотски звучит.

— На мой взгляд, нет. Я совсем не против.

Он хмурится:

— Ты сможешь вынести еще немного новостей?

Мама родная. Возможно, нет.

— Потому что я не знаю, захочешь ли ты это слушать, но папа просил передать, что он о тебе думает.

Папа. Господи боже. К чему ждать операции, если сердце может захлопнуться в любой момент, когда твой ребенок сначала убаюкает его, а потом стукнет молотком?

— Ну, — продолжает он извиняющимся тоном — она, наверное, смотрит на него со слишком

явным негодованием, — он просил меня, чтобы я тебе сказал. Я обещал. И потом, я решил, что так нужно.

Да, какая жалость, если она ускользнет в свое завтра, где ее ждет жизнь, или смерть, или паралич, или инвалидность, или полное исцеление, не вспомнив о Джеймсе. Какое упущение.

Но с другой стороны — из-за чего так переживать? Разве что из-за того, что это как гром среди ясного неба. То, что Джейми общается с отцом, это первое. И то, что он зовет его *nana,* как будто может так же легко передать ему пива, положить руку на плечо, подарить галстук или щипцы для барбекю на День отца, поболтать о планах, женщинах и работе.

Как обычный сын с обычным отцом.

Если отбросить все это, то по мере того, как его слова проникают все глубже, она ощущает, как ее сердце, оборвавшееся было, а потом застучавшее тяжело и быстро, не настоящее сердце, она понятия не имеет, что с ним происходит, то сердце в ее голове, которое восприимчиво ко всевозможным потрясениям, принимает их и, наконец, приходит в некоторое недоумение: Джеймс. От этого не так и плохо. Это имя не причиняет особой боли.

Просто заботы у нее сейчас посерьезнее, чем

давно и заслуженно потерянный муж. К тому же прошло десять лет, господи, целых десять лет происходило что-то еще. И все-таки это похоже на некое освобождение. На то, что, по словам Аликс, произошло в суде, когда она смотрела на того мальчика и чувствовала, как ненависть, и ярость, и желание отомстить просачиваются сквозь кожу, поднимаются над плечами и уплывают прочь.

Облегчение.

Джейми очень встревожен; без сомнения, боится, что натворил что-то неподобающее.

— Ты с ним разговариваешь? — Это изумляет ее, то, что они могут общаться; после всего, что было, после всех этих бед.

— Да не то чтобы. Не часто. Но знаешь, он звонит бабушке с дедушкой, а как-то раз пару лет назад я был у них, когда он позвонил. Бабушка просто дала мне трубку, а там он. Ну, я и поговорил с ним немного.

Бывшие свекор и свекровь Айлы, да, они все еще цепляются, как могут, за то, что их сын ни в чем не виноват.

Так же, как Айла цеплялась за то, что Джейми ни в чем не виновен.

— Как они? Его родители? — Как быстро и полно

оказалась удалена та долгая часть жизни, когда пришла беда. Какой жестокой и бесчувственной она, судя по всему, была.

Хотя они не были бы ей рады.

— Дедушка почти не слышит и плохо двигается из-за артрита, но что действительно грустно, так это то, что у него с головой. Он последнее время даже меня не всегда узнает. А бабушка молодцом, только ей нелегко за ним присматривать. Я иногда им помогаю. Постригу газон, выпью кофе, посижу с ней немножко. Пытаюсь ее подбодрить.

Айла должна была знать. Она частенько забывает, что у ее детей своя, частная жизнь, свои дела, и привязанности у них шире, и семьи больше, и верность они понимают иначе. Корпус Умиротворения, в который подалась Аликс, не считался, и различные преступления Джейми тоже. То были нездоровые зависимости ее детей, но их верность и любовь оказались более продолжительны.

— Если бы я не взял телефон, когда она протянула мне трубку, это было бы хамство, — продолжает объяснять Джейми, — это не я ему звонил, и не хотел я с ним говорить.

— Все хорошо. Я понимаю. Как он? Что делает?

— Да нормально, наверное. Голос у него нор-

мальный. Не знаю, насколько тебе все это интересно, что рассказать.

— Так, в общих чертах. — Она пытается улыбнуться. — Чтобы для начала хватило, но не заняло больше времени, чем я могу потратить.

— Ну спасибо, объяснила, называется, — но он улыбается в ответ. — Ну, если ты уверена — он теперь живет в маленьком городке в Скалистых горах. У него магазин компьютеров, не такой, как раньше, конечно, но говорит, что на жизнь хватает. Голос у него такой, не знаю, как будто он там прижился. И постарел. Помнишь, как он раньше напрягался из-за бизнеса, летал туда-сюда? Теперь совсем не так. И еще. — Он делает паузу. — Не знаю, хочешь ли ты еще и об этом слушать, или ты, может, уже знаешь, но он снова женился.

У-ух, снова сжимается ее сердце. Хотя в этот раз всего на секунду, и уже не колотится так быстро и высоко.

— Нет, я не знала. Когда?

Как будто имеет значение *когда.* Так же как и *где,* вопрос едва ли можно назвать ключевым.

— Несколько лет назад. Пять, что ли.

Пять лет назад Айла, снова вышедшая замуж, все еще училась доверию и расслаблению в

объятиях Лайла. Джейми все еще барахтался в трясине своих проблем, а Аликс скоро должна была отправиться на поиски умиротворения. Или Умиротворения.

— Ты знал?

— Да. Прости. Я не думал, что ты захочешь о таком слушать. Бабушка даже хотела, чтобы мы с Аликс поехали с ними на запад на свадьбу, но мы не поехали.

Что за семья — сплошные тайны, сплошное вранье. Возможно, это дар, передающийся по наследству, или просто нечто, переходящее из рук в руки, как фамильное серебро и лучшая мебель.

— И Аликс знала?

— Да, мне было, в общем, плевать, но ей почему-то нет.

Может, новенькая жена Джеймса была ровесницей Аликс? Разве не такие у него были вкусы: молодая, нетронутая, едва распустившаяся плоть?

— У них есть дети?

— Да ты что, нет, у нее свои уже взрослые.

И Айла понимает, что какая-то ее часть надеялась, что Джеймса всего, до мозга костей, пожрали его глупые желания. И понимает, что какая-то ее часть разочарована и странно, глупо

уязвлена, что все не так.

Это делает то, что случилось, более личным, так она полагает; это имеет больше отношения к ней, или к ним двоим, чем она привыкла думать.

В этом нет ее вины, она за это не отвечает, но все равно это — личное.

И еще: она со своей яростью так затерроризировала детей, что они держали все, что узнавали о нем, каждую малость, при себе. И даже сейчас, даже в эту последнюю минуту Аликс продолжает это делать.

— Откуда он обо мне узнал?

— Бабушка прочитала в газетах, а потом я ведь ей тоже рассказывал. Он звонил Лайлу, я с ним разговаривал. И он сказал, чтобы я передал привет, и что он о тебе думает, и желает тебе всего хорошего, и, — Джейми пожимает плечами, — вроде все.

Еще бы не все.

— Я тебя расстроил? Надо было промолчать?

— Нет. Нет, не думаю. Ты все правильно сделал. Когда будешь с ним в следующий раз говорить, передай от меня привет.

— Серьезно?

Вид у Джейми ошарашенный: еще бы.

— Серьезно. Можешь ему сказать, что теперь я

думаю, что по крайней мере со второго раза у нас обоих что-то вышло. Иногда для этого бывает уже слишком поздно, но мы оба как-то успели.

И ей остается надеяться, что девочки, к которым он приставал, с тем же человеколюбием восприняли те возможности, которые у них появились, благодаря ему. Благодаря его приставаниям. Все это очень хорошо, и смотрит она на это со стороны и издалека — учится умиротворению, в ее-то годы? — но он ведь совершил нечто ужасное.

— Он жалеет о том, что сделал, как ты думаешь?

— Не знаю. Мы об этом вообще-то не особенно говорили. Сложно, тем более по телефону. Но вроде как должен жалеть, тебе не кажется?

Да, должен.

— Ты мог бы и спросить. Говорить не запрещено, знаешь, ты имеешь право задавать вопросы.

Не задавай вопросы, на которые не хочешь получить ответ. Еще и это.

— Может быть, но меня это не слишком интересует. Он всерьез облажался, и я как-то не настроен на прощение.

— Наверное, я тоже.

И это тоже более-менее правда. Удачный выброс гнева, упакованного, оформленного и

ощутимого, рассекающего атмосферу, чтобы взорваться достаточно далеко для того, чтобы уже никому внизу не навредить, — это совсем не то же самое, что прощение. Как и ненависть, прощение требует определенных вложений и постоянного догляда.

Даже безразличие кажется легким и простым, незначительным, но это не так.

Вздох кажется подходящей реакцией, звуком, подходящим для безразличия. Джейми, разумеется, понимает ее неверно. Хмурится.

— Ты устала, мам? Я совсем не хочу тебя выматывать. Тебе ведь нужно сил набираться.

— Нет, все хорошо. Я так рада, что ты здесь.

— Нужно было тебе раньше сказать?

— Да нет, наверное. Как раз вовремя. У меня сейчас более подходящее настроение, чем раньше.

Неясная темная стена придвигается все ближе с каждой секундой, и что произойдет при столкновении? Аликс упакует свои умиротворенные платья и станет посещать тюрьму в часы свиданий, так Айла предполагает, а Джейми устремится в школу. Мэдилейн уцепится за Берта, Лайл поскорбит и двинется дальше. Более закаленный и, конечно же, более усталый, но ему не привыкать.

А Джеймс тем временем устроится поудобнее в своем шезлонге у Скалистых гор, пригубит скотч и скажет: «Жаль, очень жаль». И возможно, подумает: «Нужно было мне верить, нужно было сохранять верность, нужно было оставаться на моей стороне, несмотря ни на что».

Если бы она так и сделала, все было бы совсем иначе. Для начала, она не покупала бы мороженое с Лайлом, и вздыхала бы она совершенно по-другому, не говоря о том, что по иной причине. К этому времени ее окончательно измучили бы презрение и отвращение.

Вместо этого у нее была совсем другая жизнь: они обнимались и ругались с Лайлом, выбирали и распределяли по местам книги, цветы, полотенца, стирали и мыли посуду, готовили и ели, сидя друг напротив друга за кухонным столом, сворачивались клубочком на диванах и кроватях или у камина, врозь или вместе, пололи сад, стригли газоны, приносили дрова, выносили мусор, и все такое, снова и снова.

А потом она легко шагнула с крыльца, ее не предупредили. Она даже смеялась, когда залезала в грузовик, и Лайл тоже. Почему они не подумали, как здорово было бы усесться на собственной потрясающей веранде, задрав ноги

на свои собственные перила, глядя на свою собственную землю в тени, поедая свое собственное мороженое в сумерках и утешаясь надеждой, что в ближайшие тридцать лет все будет примерно так же?

Вот до какого места нужно перемотать события, именно до этого. Не раньше.

— Спасибо, — говорит она Джейми с таким чувством, что он теряется, недоумевая, за что ему так благодарны.

— Мне даже как-то легче стало, что все в порядке.

— Я знаю. Так и есть.

— Тогда, — и он встает, — я пойду. Может, когда мы в следующий раз увидимся, у меня уже будет расписание занятий. Или экзаменов. Что-нибудь определенное, в любом случае.

Он склоняется, как Мэдилейн, как Аликс, ненадолго прижимает губы к ее лбу. Закрыв глаза, она старается запомнить это ощущение.

— Все будет хорошо, мам. Ты поправишься, не волнуйся.

И он уходит.

Каждый приходит со своим подарком. Как на день рождения: большие сюрпризы и что-то яркое, ценное.

Например, надежда, что жизни ее детей спасены. Иногда у них что-то будет не получаться, что-то будет разбивать им сердце, но они должны были получить иммунитет против своих внутренних, самых тяжелых, глубоко укоренившихся болезней. Избавившись от самого опасного, они теперь будут настороже, будут острее прочих чувствовать, какие ошибки могут совершить, какие потрясения могут их ждать. Знать это — уже немало.

Если, если она получит обратно свое тело, если у нее будет эта возможность, слишком головокружительная, чтобы на нее рассчитывать, такая яркая, что она жмурится, представляя ее, но если — ей нужно постараться запомнить это остроту, сгущенность, особую силу ощущений. Таких, как от губ Аликс, губ Джейми, руки Мэдилейн. Потому что это легко забыть; так же как она забывает, как это чувствовать под ногами пол, как просто, сами собой сгибаются внутрь ее запястья, когда она пишет список, выдергивает сорняк из клумбы, прикасается к руке или бедру, — все это теперь стало туманным и теоретическим.

И замечательным. Представить только, что можешь все это сделать!

Представить себе кожу. Внутренние органы,

кости, мышцы и нервы могут пребывать в более плачевном состоянии, и, наверное, о них нужно больше беспокоиться, но кожа кажется самым большим чудом и поэтому — самой большой потерей. Что делать, если не можешь дотронуться и не чувствуешь, как дотрагиваются до тебя?

Вот кожа Лайла, грубая, щетинистая и встревоженная, вот его ладони и кончики пальцев касаются ее волос, ее лба, лаская и успокаивая, вот эти узкие губы, а за ними спрятан утешающий язык. Но она не может точно вспомнить его кожу. Она потеряла и забыла свои нервные окончания и глубокие, прерывистые страстные вздохи.

— Привет, — говорит он. — Быстро все, да? Тебе страшно?

Остальные приходят со всевозможными ответами, уверениями, просьбами, оценками и обещаниями; Лайл приносит вопросы. Он знает, что нужно вслух задать правильный вопрос, это — часть его кожи.

Страшно? Еще как: целый фейерверк ужаса, минные поля страха, напряженный хаос. Или *напряжение* — слишком мягкое слово, оно применимо только к дешевому кино и минутным убыстрениям пульса? Нет, напряжение — это чистый сухой лед незнания. От него сердце оста-

навливается.

— Я в ужасе. И даже не знаю, на что надеяться.

— Ну это очевидно, ты так не считаешь? Потому что с жизнью можно что-то сделать. Пока ты жива, мы сможем что-нибудь придумать.

Не только правильный вопрос, но и правильный ответ. Но неужели он не боится таких серьезных обещаний?

— А ты как?

— Страшно ли мне? Господи, конечно, я в камень превратился в ту секунду, когда услышал выстрел. По-моему, после этого не было ни мгновения, когда мне не было страшно. Даже во сне. Даже сны мне снятся страшные.

Они так мало времени проводили вместе, вдвоем, и большая его часть ушла скорее на мужество, чем на откровенность. Он привык действовать, исправлять, делать что-то, что изменяет любые обстоятельства.

— И еще я очень, очень зол. А ты?

— Была. Может, потом снова буду, но мне кажется, что сейчас это опасно. Это повредит скорее мне, чем кому-то еще.

— Ты говорила с Аликс.

— Да. Она меня изумила.

— Что ты об этом думаешь?

— О ее планах? Счастлива, как никогда, что она уходит из этой несчастной секты. Не знаю, что и думать о том, что, как ей кажется, она видит в этом мальчишке. Разве что, — и она усмехается, глядя на Лайла, — кому-то из нас следует серьезно заняться проблемой прощения, и она, бесспорно, самый подходящий кандидат.

Он тоже улыбается и снова тянется погладить ее по голове. На этот раз она не вздрагивает.

— Что тебе снится? — спрашивает она. Сама она снов не видит, по крайней мере, не помнит: хотя, возможно, под действием лекарств ей что-нибудь и виделось время от времени.

— Правда, хочешь знать? Часто снится, что я парализован. Это безвкусно? Тебя это оскорбляет? Снится, что пытаюсь шевелиться, бежать, бороться, спасаться, все в таком духе. А потом просыпаюсь весь в поту. Наверное, от беспомощности. И не понимаю, как ты можешь это выносить.

— Я и не могу.

Она думает, что не смогла бы никому другому это сказать.

— Осталось совсем немного. Чуть-чуть потерпи.

Да. А что потом?

— Знаешь, если ты не сможешь терпеть, я не стану тебя винить. Если все будет слишком сложно.

Как она вздрагивает, когда внезапно раздается громкий хохот — от души, по-лайловски, весело, запрокинув голову; такого она не слышала уже давно.

— Ты что, хочешь сказать, если я слиняю, ты меня не станешь винить? Ох, Айла, какая чушь. Не надо мне вешать лапшу, даже не пытайся.

Она тоже смеется; по крайней мере, издает негромкие, пыхтящие звуки, которые у нее в настоящий момент означают веселье.

— Хорошо, без лапши. Было восемь чудесных лет. Спасибо тебе.

— У меня тоже. Но и плохого за эти годы было порядком, согласна? Мы же не хотим представлять все в розовом свете?

— Конечно нет. Никакого розового света.

— Итак: ни лапши, ни розового света. Я хочу тебе сказать, я хочу, чтобы ты знала, что я без тебя своей жизни не представляю. Я до чертиков рад, что встретил тебя. Уже одному этому. И я ничего подобного не ожидал, поэтому оно — еще большее чудо.

Именно. Для нее тоже. Этот глупый, беспечный

мальчишка. Палит по чудесам, навылет простреливает любовь.

— Теперь ты знаешь, что я не слиняю, знаешь, чего бы я хотел?

— Чего?

— Я бы хотел остаться здесь. Просто разговаривать с тобой всю ночь. Может, заснуть на этом стуле. Держать тебя за руку — я знаю, знаю, что ты этого не чувствуешь, но я-то чувствую, — и просто болтать. И молчать. Пока коров не пригонят домой.

— Или пока санитары не придут.

— Это одно и то же.

— Последняя ночь вдвоем?

— Нет, просто ночь. Я не знаю, как ты, а я не хочу, чтобы мне снились эти сны, и не хочу такой, знаешь, жуткой бессонной ночи, темной ночи души, как говорится. Просто хочу посидеть с тобой. Но если хочешь побыть одна, просто скажи, без лапши.

Что ж, он прав, ей могло бы хотеться побыть одной, со всем разобраться, привести все в порядок: но едва ли можно все аккуратно упаковать и тщательно подготовиться к невообразимому и неуправляемому.

Кто знал, что все сведется к нескольким часам,

потом к нескольким минутам, а потом — к чему?

— Мне бы тоже этого хотелось. — Она смотрит вверх, в его страдающие, встревоженные, добрые глаза. — Я не знаю, что бы со мной стало без тебя, и не представляю, с кем бы охотнее скоротала ночь, любую ночь, а эту в особенности.

Она думает, что может быть и так, что общие для них большие и маленькие, жестокие и прекрасные и обыденные события, ставшие словами и историями, обращенными во тьму, к утру вырастут в надежный, оберегающий, безопасный заслон. И что бы ни случилось потом, сегодня они могут что-то создать из своих восьми лет, из кусочков и деталей, разбросанных и забытых, или любовно хранимых, или тех, о которых только мечталось, на которые все еще есть надежда. Каждое слово как кирпичик.

— Помнишь дождь? — начинает она. Потому что дождь возвращает их к самому началу.

Спасение, как и все остальное, в основном, как она представляет, дается небольшими мерами, вроде этой. Еще она представляет, что он держит ее за руку, и полагает, что это — нечто замечательное, и было бы потрясающе здорово это ощутить.

Belles lettres

В тюрьму приходит не слишком много писем, но те, что приходят, — это нечто. Дэррилу пишет какая-то девчонка из района, где он жил, и по ночам в камере он вслух читает их Родди.

— Братан, — говорит он, — прикинь, ей всего четырнадцать. То есть ей где-то одиннадцать было, у нее и титек-то не было, когда я ее последний раз видел, и ты только послушай. — Он выдает пару абзацев о том, что она и Дер могли бы делать с ее грудями. — Здоровые они у нее, видать, — говорит Дер.

У Родди встает уже от того, что он слушает, как она расписывает, как Дер мог бы вставить между ними и кончить. Но еще он помнит, что Дер рассказывал ему в первый вечер о своем предыдущем сокамернике, который дрочил по шесть раз за ночь. Только вот он слышит, как Дер сам делает то же самое чуть позже, после отбоя.

С этим делом тут беда. Бывает и еще кое-что, он считает, по-другому и быть не может, но в основном ребята просто спускают пар, как Дер, как сам Родди, если на то пошло, по ночам, или

с остекленевшими глазами в душевой, кругом пар, а они мылят себя на глазах у всех, и потом все улюлюкают и шуточки отпускают, потому что ни о каком уединении тут все равно мечтать не приходится.

Да, и Родди тоже. Как-то привыкаешь ко всему этому. И ничего с этим не поделаешь, и с собой тоже.

Если бы все не пошло наперекосяк, если бы получилось с «Кафе Голди», если бы они, в конце концов, уехали с Майком и нашли бы себе квартиру в высотном доме, чтобы стены были стеклянные и две спальни, и ходили бы, куда собирались, то все могло бы происходить на самом деле: настоящие груди, настоящие бедра, настоящая кожа и другие настоящие, обалденные, незнакомые места. Его бы было не удержать. Его и так не удержать. Ему же семнадцать, непонятно, что ли.

Дэррил хоть знал или хоть видел ту девчонку, которая ему пишет. Ему и другим пацанам приходят письма и от совершенно незнакомых девчонок, они предлагают всякое, но еще и вопросы задают, и обещают, бывает. Смешно, что письма от незнакомых девчонок приходят тем, кто совершил самые тяжкие преступления —

убийства, изнасилования, — куда хуже, чем то, что сделал Родди. Если бы не Дер, он бы, наверное, об этом и не знал. Они все крутые, по крайней мере на вид, но общаются в основном только друг с другом, и за ними все время присматривают, и многие из них почти все время проводят одни, потому что с ними или опасно быть рядом, или они просто подонки, сложно сказать.

Просто Дер тут уже давно, и он в каком-то смысле — один из них, и рассказывает Родди иногда, что и как. Если бы они не сидели в одной камере, он бы, наверное, с Родди вообще никаких дел не имел. Вооруженным ограблением здесь никого не удивишь. Хотя если ты в кого-то стрелял — это уже кое-что. Родди в странном положении, он вроде как посередине, но еще он, осторожно, как только может, склоняется в одну сторону.

Он точно не насильник и даже не убийца, хотя был от этого недалек, и он не может понять, почему кто-то хочет писать насильникам и убийцам, особенно если вообще их не знает. Дер пожимает плечами.

— Всякое бывает. Некоторые из них, знаешь, потом пригодятся.

Он имеет в виду на свободе. Родди так понимает, что некоторые девушки согласны вообще

на все.

— Дуры какие-то, — отваживается он высказать свое мнение.

— Ну да, — говорит Дер таким тоном, как будто Родди сам дурак.

А есть еще волонтеры, они не дураки, большинство из них, но — кто специально пойдет в тюрьму? Некоторых сложно выносить, потому что они все прямо переполнены добродетелью и вроде как хотят ею поделиться с грешниками. Может, это и несправедливо, но именно так все и выглядит, когда они усаживаются в комнате отдыха, хотя их никто не приглашал, и мешают смотреть телик, заводя разговоры о занятиях, или работе, или какой-нибудь программе самосовершенствования, или о религии, на которой у них крыша поехала, или дают всякие советы, или вопросы задают, просто нехорошо такие вопросы задавать — например, про семью, про то, за что сидишь, и еще: «А что ты *чувствуешь*, когда об этом думаешь?» или: «А что ты тогда *чувствовал?*». Еще есть волонтеры, которые говорят вроде бы то же самое, но у них взгляд другой. Как будто они чего-то ждут в ответ, не только добродетели.

Это почти всегда женщины, не мужчины; интересно почему? Охранники не любят те два дня в

неделю, когда приходят волонтеры, напрягаются страшно, и Родди думает, что их можно понять, учитывая, что может стрястись, если кто-то из волонтеров или из пацанов не так себя поведет. Волонтеры, которых специально тренируют и проверяют, перед тем как допустить сюда, вообще-то должны обсуждать планы на будущее, говорить о нормальной жизни в нормальном мире и еще, может быть, помогать с домашним заданием. А они, насколько Родди видит, нечасто этим занимаются. Они чаще всего или некрасивые, или очень молодые.

Они скорее всего не знают, что, когда они уходят, охранники злятся и выходят из себя чаще, чем в другие дни, а ребята ржут и отпускают шуточки. Ну а Дер говорит, что, если попасть на правильную волонтершу, вот как письмо можно получить от правильной девчонки, и если ее еще подкармливать правильными историями, то жить сразу станет легче, потому что можно получать всякие передачи, деньги там, или шмотки, или жратву, только это не подпольно, все сначала должно быть одобрено администрацией.

— Как раз для тебя работа, — обнадеживает Дер, — у тебя должно выйти, типа навешай им лапши и получи свое. Да и вообще.

Да и вообще, будет чем заняться, это вроде игры. В обмен на всякие обещания ребята, кроме разных полезных вещей, получают адреса женщин, которым можно писать, и им тоже много чего обещают: работу, когда они выйдут, или жилье, или защиту, или укрытие, или даже любовь.

— Смех, да и только, — говорит Дер.

И еще он говорит:

— Давай, действуй. Это легко. Просто гони, как у тебя все было плохо и как ты теперь все хочешь изменить, и увидишь, что будет. Они все хотят кого-нибудь спасти. Будь паинькой, дай им шанс. Блин, хоть письма тебе будут.

Потому что Родди ничего не получает, даже журналов. Он думает, что можно было бы подписаться на что-нибудь. И он мог бы сделать то, что советует Дер, завязать отношения с кем-нибудь на воле. Он знает, что Дер прав, это легко. Но это не значит, что он знает, как это сделать.

А потом ему приходит почта. Один тоненький конверт вместе с тремя, адресованными Дэррилу, падает на пол их камеры вечером, почту всегда доставляют вечером, Дер этого момента ждет весь день, по крайней мере, частенько за этим следуют его полуприватные ночные развлечения.

Родди не узнает почерк на конверте, так, может,

началось, может, ему написала какая-нибудь незнакомая женщина?

Но письмо начинается: «Дорогой сынок». Папин почерк он и не должен был узнать, с чего бы? Никто из его знакомых не пишет письма. Это — совсем коротенькое, все нацарапано на одной страничке. «Дорогой сынок, мы с бабушкой на днях приедем с тобой повидаться, но я подумал, что напишу тебе пару строчек. Наверное, не все у нас с тобой было ладно, но ты меня прости, если что не так. Когда ты выйдешь, мы, может, съездим куда-нибудь вдвоем на недельку. Ты подумай, куда бы тебе хотелось. Мне очень жаль, что все так вышло, надеюсь, у тебя там все в порядке. Ты умный парень, и неплохой, просто ты сбился с пути. В общем, мы скоро увидимся, но ты подумай насчет планов на будущее. Я просто хотел тебе написать пару строчек, сказать, что желаю тебе всего хорошего. Твой папа».

Сложно назвать это бурным проявлением чувств.

Но на самом деле так оно и есть. Чтобы папа написал письмо — обалдеть можно. Родди читает его снова и снова, пытаясь обнаружить какую-нибудь подсказку, выискивает то, что можно истолковать как нежность, или то, что папа хотел

сказать между строк, и только потом складывает письмо и прячет в учебник математики. Как будто в каждом предложении какой-то свой смысл. Одно не совсем вытекает из другого. Ну и ладно. Суть в том, что папа что-то хотел сказать, это само по себе удивительно.

Хочет ли Родди поехать куда-нибудь с отцом? И молчать потом, и вообще, что они будут делать все это время? Он, правда, и не думает, что папа всерьез это планирует, что они действительно куда-то поедут, когда будет время. Он как будто просто протягивает руку, чтобы Родди ее пожал.

Когда папа приедет на свидание, они, может быть, об этом поговорят; хотя, скорее всего, нет.

— Телка какая-нибудь? — спрашивает Дэррил, поднимая взгляд от одного из своих писем.

— Отец.

— Облом. Послушай-ка, это от Китти. «Я кончаю вообще от всего, так что делай, что хочешь, я согласна. Я помню, как ты всегда клево выглядел. Так что, все, что хочешь, я серьезно. Напряги фантазию». Бог ты мой, — Дер поднимает глаза. — Ей четырнадцать, это незаконно, да?

— Похоже, ей все равно.

— Да, но мне, может быть, не все равно. Хотя нет, плевать. Четырнадцать — это супер.

Но если она такая уж суперская, с чего она пишет горячие письма парню, который в тюрьме сидит за то, что кого-то ножом пырнул? Даже если она еще до этого, когда девчонкой была, с ума по нему сходила, как она будет смотреть на руки Дера, когда он ее трогает, и не думать о том, что они сделали? Даже Родди смотрит на них и видит, как они наносят удар, как их заливает кровью, а уж он точно не планирует, что они будут прикасаться к его телу.

Хотя он и на свои руки может посмотреть и тоже о многом подумать.

Как могут поступать люди, даже их отдельные части: быть верными другу, добрыми к собаке, восприимчивыми к красоте насекомых, природы и воздуха, и смертельно, или почти смертельно опасными с ножом или ружьем. Если отрезать испорченные кусочки, как от ушибленного яблока, то останется нечто совершенно обыкновенное, непримечательное и, в общем, неплохое.

Дэррил сюда попал за плохую руку, Родди — за один палец с изъяном. Несправедливо. Это ведь не все.

Через несколько дней, в тот же час, точно так же, после завтрака, после занятий, после обеда, после работы на кухне, после душа, после резьбы

по дереву, после ужина (котлеты с горошком и картошкой, которую он сам чистил и резал), после часа в комнате отдыха, где все смотрели по телику викторину, такую, во время которой так и подмывает ответить быстрее игроков (и иногда получается), после того, как всех вернули в камеры, чтобы они, так во всяком случае полагается, час-два делали уроки, читали, что угодно — приходит почта, и Родди получает еще одно письмо.

Снова от папы? Нет, на простом белом конверте совсем другой почерк, и обратного адреса нет. И не от бабушки, потому что бабушкин почерк он помнит по спискам покупок и запискам на кухонном столе, объясняющим, куда она ушла, напоминающим сделать то-то и то-то. Может, от Майка. Это было бы вообще обалдеть. Что он может написать? Что просит прощения? Что у него есть план, как вытащить Родди отсюда? Что он благодарен и надеется, что они с Родди по-прежнему друзья?

Родди нервничает, открывая письмо, ему не терпится узнать.

«Дорогой Род», — обнаруживает он внутри на листке простой белой бумаги, такой же, как конверт, но только эти слова напечатаны на машинке. На личное письмо это непохоже. И оно

не от Майка.

«Надеюсь, ты меня помнишь. Я была с отчимом в суде, когда ты признал себя виновным, и потом, уже одна, когда тебе вынесли приговор. Ты, наверное, помнишь, что мне давали слово. Я не знаю, что можно считать справедливым приговором, но надеюсь, что ты справляешься с тем, что тебе выпало.

В общем, оба раза, когда я видела тебя в суде, я думала о том, что хочу с тобой встретиться. Не беспокойся, я не хочу орать на тебя, злиться или что-нибудь в таком духе. Я просто думаю, что мы можем найти, о чем поговорить, о чем-нибудь хорошем. Поэтому я хотела бы приехать к тебе. Тебя это удивляет?

Я подумала, что могла бы приехать в воскресенье, 18-го, что скажешь? Я надеюсь, что ты решишь, что это правильно, но если нет — я пойму. Эта идея может показаться странной, но я все обдумала и не считаю, что она странная, и надеюсь, что когда ты обо всем подумаешь, ты тоже сочтешь, что это правильно. Если я не получу от тебя ответа, то приеду в этот день, в часы посещений. Если ты не хочешь, чтобы я приезжала, пожалуйста, сообщи мне об этом, можешь звонить за мой счет, вот мой телефон».

Есть подпись. «Всего тебе хорошего, Аликс», — и потом, в скобках: «Сияние Звезд».

Он смотрит на это, смотрит и смотрит. Неужели оно есть на самом деле? И она тоже?

Ее слова кажутся ему, как и ее взгляд, спокойными, прохладными и глубокими. Он не знает, о чем таком хорошем они могут поговорить. Что она в нем нашла? Чего она хочет?

Может ли это быть чем-то вроде того, чего хочет он?

Вряд ли.

Он читает и читает письмо, сидя на краешке кровати, сгорбившись, углубившись, забыв о Дэрриле, который в нескольких футах от него читает на своей кровати свои письма. Родди пытается заглянуть внутрь каждого слова, пытается положить ее мягкий, завораживающий голос, который слышал в суде, на мелодию нескольких абзацев, что у него в руках.

Ему нравится, что она зовет его Род. Интересно, что значит «Сияние Звезд»?

Интересно, что он может ей сказать; кроме «прости меня», он уже сказал это, и это ничего не меняет, и потом, она вряд ли за этим сюда собирается приехать. Она пишет, что не злится, и не хочет на него орать. Может, она будет говорить,

а он сможет просто слушать, просто смотреть, просто погружаться в ее глаза.

Что она думает увидеть? Что, если она соберется и приедет, и пройдет все, что ждет посетителей — досмотр, металлодетектор, взгляды охранников, которые кажутся как-то одновременно и усталыми, и настороженными, — и, наконец, сядет напротив него, взглянет на него и подумает: «Ох, нет, не надо было этого делать. Я просто зря трачу время. Это совсем не то, что я себе представляла».

Но ведь было что-то. Он в это поверил, и, если она тоже это увидела, значит, это на самом деле было.

Если бы вообще ничего не говорить о ее матери, если бы отрешиться от этого! Но тогда она, наверное, от всего вообще может отрешиться.

Воскресенье, восемнадцатое. Ничего не было, просто как-то жил, и вот простой белый лист бумаги, и настоящая девушка, женщина приедет к нему на свидание, — это тебе не шуточки, тут не над чем смеяться. И нечего выгадывать. Он не будет говорить о ней с Дэррилом, это точно, и ни с кем не будет. Это как волшебство. Никто не поверит. Станут искать, в чем прикол, в чем обман.

А правда, в чем? Нет, не может быть. Она не

такая, и он тоже не такой. Она увидела в суде то же, что и он: что им нужно встретиться. Что их связывает нечто, что может все изменить.

С ним так долго, дольше не бывает, не случалось ничего хорошего, а потом — раз, и сразу случилось.

Всевозможные безобразия

Лайл стрижет газон, двигаясь взад и вперед, взад и вперед. На нем голубые джинсы, но некоторое время назад он снял рубашку, и золотистый отсвет лета у него на груди и спине начал обретать красноватый оттенок. Он упорно смотрит вниз, как будто стрижка газона — сложнейшее мероприятие, требующее полной сосредоточенности.

И все же иногда, поворачивая и направляясь туда, откуда начал, он поднимает взгляд, чтобы улыбнуться или сделать какой-нибудь дружеский жест.

Сегодня здесь соберутся все, и в ожидании этого Лайл приводит в порядок участок, а Айла впитывает тепло летнего дня, многообразие форм и оттенков зеленого цвета. Чудесный запах свежескошенной травы, смешанный с бензиновым выхлопом, — наверняка один из лучших запахов в мире. Да, а еще из-за жары и выхлопных газов все плывет и подрагивает, пока Лайл с газонокосилкой терпеливо, медленно и тщательно проходит свой путь взад и вперед, взад и вперед.

Запах бензина означает для нее движение, путешествие куда-то.

Что ж, она здесь. Какой-то путь пройден. Снова сидеть на этой веранде, с которой больше года назад она беспечно и ошибочно спустилась… Для этого потребовалось очень долгое путешествие.

Если только оно не было движением по кругу.

Она ждала именно этого. То, как она представляла себе этот солнечный свет, эту зелень, вид и перспективу, то, каким все это предстает в конце концов в этот августовский день, было для нее личной наградой, приманкой, соблазном, мечтой долгие месяцы. И вот она здесь. Кое-что выглядит не совсем так, как она себе представляла: например, старый голубоватый шерстяной плед, подоткнутый около ее колен, чтобы ноги не сгорели на солнце, чего она все равно не почувствует, как не чувствует тепла шерсти. Этого она как-то не принимала в расчет. Но если отвести глаза и смотреть вдаль, то картина будет именно такой, какую она видела в своем воображении.

Наконец-то у нее есть хотя бы что-то, чего она хотела и, более того, заслуживает.

Она снова обосновалась здесь. Она знает теперь, что мозгу нравится, когда тело откликается на его мысли; поэтому, когда он говорит *обос-*

новалась, он дает телу приказ, чуть переместив бедра, показать, как именно это делается.

Когда, очень давно, она очнулась от теплых наркотических снов и снова увидела встревоженные, добрые лица, это, как она смутно подумала, снова походило на сцену из очень старого фильма: мелодрамы или ужастика, непонятно было какого. В таких фильмах постепенно открывают новое лицо — всегда только лицо, — в каком-то смысле возникает новый человек. Сначала была операция, сделанная или из пустого тщеславия (в этом случае неудачная), или для того, чтобы исправить какое-то увечье (тогда все, скорее всего, проходит хорошо), но главное — это момент, когда все собираются, чтобы посмотреть, что получилось.

Голова забинтована во много слоев. Медленно-медленно разматывается, снимается длинная повязка. Камера поворачивается от того, на кого смотрят, к зрителям, запечатлевая их изумление, их молчаливую реакцию, ничего не выдавая. И наконец, камера видит в зеркале, теперь уже глазами пациента, новое лицо. Губы растягиваются в счастливой улыбке. Глаза распахиваются от ужаса. Что угодно. Кульминационный момент.

В тех старых фильмах чаще всего не отважи-

вались показать дальнейшее развитие событий. Айла хорошо понимает почему.

Доктор Грант возник у нее в головах, но она к тому времени уже знала.

Она чувствовала свои плечи на простыне, свою спину, проминающую матрас, свои руки, сжатые пальцы. Некоторые пальцы сжимали чьи-то руки. Длинные пальцы, крепкая хватка, грубоватая кожа — это Лайл. С другой стороны Мэдилейн гладила ее по руке. Это было чудо. Чувствовать!

Значит, и двигаться тоже; хотя, пока нет.

Вот дышат ее легкие; бьется сердце; кровь, она почти чувствовала, как ее кровь тепло скользит по рукам к кончикам пальцев, по множеству мелких сосудистых путей, затейливо обвивающих надежную, гибкую конструкцию грудной клетки. Все эти области, уже было почти утраченные.

Но. Дальше — никакого веса, никаких ощущений внизу. Странно, было трудно определить, где именно все обрывается. Где-то в районе бедер, примерно так ей показалось. Она взглянула на доктора Гранта и подумала, что его лицо, как и половина ее тела, лишено ощущений и выражения. Но в то же время он следит за тем, что чувствует она, делает выводы.

— Как видите, — начал он, — хорошая новость

и плохая.

— Да, вижу, — согласилась она.

Итак, полумера. Один из мелких компромиссов, которые предлагает судьба, или Бог, или просто случай. Она-то считала: жизнь или смерть; исцеление или убийство. Она не слишком задумывалась о полужизни, частичном результате, исцелении наполовину. Один раз, черт, ну хоть один раз, сейчас был бы самый подходящий момент — ух, как полыхнула ярость, она очень хорошо ощутила свою ярость, — она может получить что-нибудь целиком, в чистом виде, на сто процентов? Что-нибудь хорошее, конечно, она это имела в виду; потому что несчастье в чистом виде странным образом встречается в мире достаточно часто. Посмотрите на людей, спасающихся от голода, от насилия, от войны, которые все потеряли, — вот вам несчастье в чистом виде, и общее, и личное. Итак, очевидно, что такое бывает. Так почему не чистая радость?

Что дальше?

— Что дальше? — спросила она.

Чувствовать, как пальцы Лайла сжимают ее руку, было волшебством, понимать, что пальцы Мэдилейн гладят ее по руке, — тоже, и знать, что, приложив некоторые усилия, она сможет обнять

Джейми и Аликс, которые стояли в отдалении, оба внимательно смотрели и не могли решить, что делать. Но в тот момент она не чувствовала благодарности. «Что дальше?» — было обвинением, причем намеренным.

— Дальше вам придется напряженно работать и готовиться к ожидающим вас радостям. Теперь вам намного, намного лучше, чем несколько дней назад. Хотя я понимаю, что это — не все, на что вы надеялись.

Да уж.

Работать — это точно. Неделю за неделей, месяц за месяцем. *Реабилитация* — это стерильное, пустое слово означало в основном мучительное обучение новым приемам, компенсирующим способам затащить себя куда-нибудь, вытащить и потащить дальше. Утомительно и *в то же время* больно, особенно неудачное сочетание. Похвала, когда она, наконец, подтянулась на параллельных брусьях, приняла вертикальное положение и, перехватывая руки, перетащила себя очень недалеко с помощью одной только новой, волнующей и напрягающей мышцы силы рук, счастливые аплодисменты тренера и милого Мартина, который при этом присутствовал, доставили ей мучительное удовольствие. Она даже

раскраснелась от собственной победы. Потом она думала, не было ли все это просто жалким; но пришла к выводу, что не было, не совсем.

Но все-таки сколько беспокойства с этими ногами. В конце концов, она могла бы скакать во всю, если бы они не тащились за ней мертвым грузом.

Смелый, отважный Лайл заказал серебряное кольцо, в которое вставили тот крохотный кусочек пули, из-за которого начались все несчастья.

— На память о войне, — сказал он, открывая маленькую бархатную коробочку, и на лице у него отразилось облегчение, когда она сперва рассмеялась, потом улыбнулась и надела матово блестевшее кольцо на средний палец правой руки.

У него странный и славный дар праздновать и быть сентиментальным.

И так хорошо, что можно снова думать о нем, осознавая возможность легко прикоснуться; но что ему делать, что он делает, когда хочется прикоснуться тверже и решительнее? Это золотое тело, стригущее неподалеку газон, взад-вперед, взад-вперед, не из тех, которые можно просто не использовать. Он давно сказал ей, что за те несколько лет, что прошли после смерти Сэнди,

до встречи с Айлой, у него не было никого, кто для него что-нибудь значил, кроме сыновей. Он не сказал, а он адвокат, он осторожно говорит о деликатных проблемах, что никто не делил с ним постель или жизнь, просто сердце его не было занято.

Правила любви, если такие вообще есть, меняются. Она уже пострадала от этой жестокой правды прежде, но выжила.

Он навещал ее в больнице почти каждый день, когда ему не приходилось уезжать из города по делам. Так же было, когда ее перевели в реабилитационный центр при той же больнице. Мэдилейн тоже приходила почти каждый день, только пропустила пару недель, когда Берт заболел гриппом, а потом и она от него заразилась. Оба они, она и Лайл, выучили упражнения, которые нужно было делать Айле, их обоих научили ей помогать.

Айла была не против того, что Мэдилейн поднимает и опускает ее ноги, сгибает и поворачивает их; хотя Мэдилейн явно нелегко, она боится что-нибудь сделать не так, навредить, сама того не предполагая и не понимая. Айла думает, что все это очень похоже на то, как бывает, когда в доме появляется новый младенец: постоянные

оценки, осторожные прикидки и в то же время маленькие триумфы. Ей невыносимо думать так о себе, но матери все это должно казаться отчасти знакомым. В любом случае, то, что ей помогает Мэдилейн, прикасается к ней, двигает ее, не выглядит уж совсем неподобающе.

Но не Лайл, и не дети. Лайл не должен был даже видеть ее ноги, или поднимать ее, или катить коляску, или даже принимать в расчет, что она может и чего не может, хотя ему приходится все это делать, он и делает. Но чтобы он еще управлялся с ее усыхающими лодыжками и бедрами — нет. Больше всего на свете она не хочет быть его беспомощным ребенком, его обузой, его личным, собственным инвалидом.

Хотя всем этим она и является. Он внимателен, и у него достаточно мудрости, чтобы просто принимать все, как есть; но он ничего с этим не может поделать, и она не может — равновесие нарушено.

Неожиданно подходящим словом оказывается «стыд».

Это совсем не то же самое, что смущение. Оно должно сойти на нет, его нужно подавить или как-то иначе выбросить из головы, она быстро выучила в больнице, а потом в реабилитацион-

ном центре, что зависимость по определению лишена скромности. Нужда мгновенно и решительно возобладает над приличиями.

Но *стыд* — вот что затопило ее в тот момент, когда они, наконец, повернули с проселка, и она увидела все в цвету, подъехала к дому, как в тот первый раз с Лайлом, много лет назад, только в этот раз дети натянули огромный бело-красный транспарант «С возвращением домой!» между столбами веранды; в этот момент безошибочного узнавания и полного отчуждения она снова увидела себя здесь и ощутила стыд: за то, что она — уже не та женщина, что уверенно расхаживала тут на своих двоих, женщина, которой те, кого она любила, нужны были только для того, чтобы их любить.

Теперь ей нужно куда больше. Какое-то время к ней трижды в неделю будет приезжать физиотерапевт, руководить ее жалким продвижением, хотя многие упражнения Айла уже научилась делать самостоятельно. Ей, как и в реабилитационном центре, предписано заниматься четыре раза в день по полчаса: подтягиваться на перекладине, поднимать гантели, осторожно наклонять и поворачивать голову.

Руки у нее теперь тренированные и твердые,

как железо, мускулистые и загорелые. Они с каждым днем становятся все более сильными и ловкими. Жуткую и полную противоположность им составляют ноги, ноги у нее ужасные, они по-прежнему ужасны, с каждым днем становятся все ужаснее — жалкие, бледные, вялокожие, совершенно безнадежные. Ей приходило в голову, что, если бы она была морским обитателем, кем-то, кто разумнее в этом отношении устроен, ее бесполезные ноги просто отвалились бы. Строение человека менее продуманно, поэтому ноги ей тоже приходится упражнять, чтобы поддерживать кровообращение, расправлять никому не нужные мышцы. Для того, чтобы, как это ни странно, ноги впоследствии не пришлось отрезать, когда они атрофируются и, более того, станут источником заразы.

А еще, как любит говорить доктор Грант, кто знает, каждый день возникают новые возможности. Не исключено, он на этом настаивает, что когда-нибудь эти ноги ей еще пригодятся.

Они бы очень пригодились — обхватить ими худые бедра Лайла.

Теперь, когда она чувствует его кожу, она вспоминает желание, пусть слабо и мимолетно. Они время от времени как будто приближаются к

этому, но Лайл осторожен, очень осторожен. Или деликатен. Или равнодушен.

За день до того, как привезти ее домой, он сказал, как много лет назад сказал совсем по другому поводу:

— Просто расслабься, а там поглядим. — Он сидел, наклонясь вперед, касаясь коленями ее коляски, держал ее за руки, глядел ей в глаза с выражением, которое ей показалось слишком добрым, в чем она усмотрела снисходительность. — Мы найдем способ, не волнуйся.

В том, что он сказал, была щедрость и, возможно, правда. Но это все же не делает сказанное осуществимым.

И она не верит доктору Гранту. Или решила, что его слова о надежде не имеют к ней особого отношения. Она не может расходовать скудную надежду на призрачные возможности. У нее ушли месяцы на то, чтобы обучиться надежде и направить ее в нужном направлении, чтобы она стала такой же тренированной, твердой, железной и мускулистой, как ее руки.

Сокращение запасов безобразно повышает ценность оставшихся.

Она месяцами изучала всевозможные безобразия.

Теперь появились новые, другого рода, прямо у нее под носом, не увернешься. Деревянный пандус, еще не потемневший от погоды, спускается с веранды на дорожку. Внутри дома Лайл расширил дверные проемы, чтобы проходила ее жужжащая новая инвалидная коляска, которую он называет «спортивной моделью» за легкость, маневренность и скорость. Он тщательно переделал и расширил ванную комнату на первом этаже, так что теперь это — образцовое, спартанское и сверкающее помещение для мытья калек. Смотреть противно. Он сказал, что выбирал, как поступить: сделать спальню в одной из комнат первого этажа, или установить кресло-подъемник, на котором она сможет подниматься и спускаться по лестнице, и остановился на втором. Заказал такое, чтобы подходило по стилю к декору дома — с деревянными подлокотниками и кованой решеткой сбоку, с пестрой подушкой на сиденье, но все равно вещь уродливая и портит его широкую, красивую лестницу.

Это самые явные перемены. Благодаря тому, что руки у нее теперь тренированные и мускулистые, она может, сосредоточившись и соблюдая осторожность, перетащить себя из кресла на диван или на кровать. Они снова могут спать в

одной спальне. Она может ночами прикасаться к нему, а он может ее обнять. Но они уже не могут горячо и неистово набрасываться друг на друга, и есть еще эти штуки — она называет их *штуки*, — которые торчат из ее тела и осуществляют разные функции — она называет то, что они делают, *функциями*, — которые заставляют ее и, возможно, его тоже, делать все, чтобы нижние части их тел не соприкасались.

Они в самом начале пути. Они все еще приноравливаются к новым обстоятельствам, вырабатывают новые привычки.

— Знаете, это наша общая победа, — сказал доктор Грант. — То, что вы можете вернуться домой.

Потому что, если бы его операция не дала результатов, если бы он не восстановил некоторые возможности организма, это едва ли было бы осуществимо. И если бы она сама не трудилась так отчаянно, все это едва ли было бы осуществимо. Она так жаждала увидеть то, что сейчас у нее перед глазами, все это, так потрясающе, отчетливо, безупречно настоящее, что оно кажется немного ненастоящим: веранда и ее перила со столбиками по углам, сад, очертания деревьев, простор лужайки, которую методично стрижет Лайл, снявший рубашку и золотой.

Да, она очень тяжело работала, чтобы получить это. Да, оно того стоило. Нет, нигде больше она быть не хочет.

Только вот — *стыд.*

Она поднимает лицо к солнцу. В это время дня солнце светит прямо на веранду, озаряет и раскаляет ее, и этот миг, это ощущение и есть именно то, чего она так желала. Ей хотелось воздуха, хотелось цвета, ей хотелось, насколько возможно, быть свободной.

Год назад, если бы Лайл стриг газон, она была бы в саду, согнувшись, собирала бы помидоры, или цветы, или дергала бы сорняки. Или в кухне наливала бы Лайлу и себе по стакану пива. Или сама взяла бы газонокосилку, когда пришла бы ее очередь. Лужайка у них огромная, но Лайл всегда был против мотокосилки, потому что, как он говорит, теперешняя помогает ему поддерживать себя в форме. И дает время для размышления, поскольку работа монотонная, голова остается незанята.

О чем же он размышляет сегодня, двигаясь взад и вперед под солнцем?

Раньше они приходили домой каждый со своей интересной работы, и вместе красили, стригли кусты, занимались садом и чинили водосточные

трубы и навесы, вместе готовили, убирали, валяли дурака. В отсутствие детей работа по дому обрела несколько иное качество, они почти перестали воспринимать ее как работу. И гулять они тоже ходили: вдоль проселка, через поля, просто пройтись, ничего, требующего особых усилий, но теперь ей и на это рассчитывать не приходится.

Да. Еще кое-что. Иногда во время прогулок они ложились в высокие посевы на одном из своих полей, отданных в аренду, и на воздухе, в тени занимались любовью.

Боль этих утрат снова пронзает ее исподтишка.

Что ж, так и должно быть. Она это знала. Она просто не понимала, что каждый раз это будет так неожиданно.

Вряд ли она теперь соблазнительна или желанна — со своими-то вялыми конечностями и разными отталкивающими, неповоротливыми приспособлениями.

Она смотрит на весьма привлекательного мужчину, стригущего газон, и так хочет встать, подойти к нему, прижаться к его спине, обвить руками его ребра, его грудную клетку, его всего, волшебного и удивительного.

Только это желание скорее умозрительно, вос-

становлено по памяти.

Как бы то ни было, любовь включает в себя много всего, много форм. И много чувств, конечно, тоже.

Когда он заглушает косилку, тишина внезапна и огромна. Он стаскивает рубашку со столба ограды и вытирает блестящую от пота грудь. Смотрит из зеленой и голубой дали на нее, улыбается. Она улыбается в ответ. Раньше она могла бы пойти с ним наверх, в душ. Они бы грубо, нежно терли друг друга, внешние и скрытые поверхности. Смеялись бы, обнимались по-всякому, а потом, может быть, перешли бы, оставляя за собой мокрые следы, на кровать, повинуясь счастливому импульсу, соединившему их тела с головы до ног.

Сегодня, проходя мимо нее, он останавливается, касается ее плеча, говорит:

— Ты как, нормально? — и, когда она кивает, уходит в дом.

Она плакала несколько раз с тех пор, как вернулась домой; тихо, как сейчас. Не желая, чтобы он знал, как ей грустно. Как страшно.

Она видела это мгновение на веранде в солнечном свете, но как фотографию, как пейзаж, как некое достижение. Так оно и есть, но еще это — узкий, трудноопределимый выход к чему-то еще.

И хватит об этом.

День сегодня замечательный. И среди прочих изменений, тех деталей, о которых Лайл догадался позаботиться, в отличие от того, что им обоим только предстоит для себя открыть, есть гладкая, зацементированная дорожка от подножия пандуса, свежий путь через лужайку к проселку и новому, темно-зеленому фургончику с парковочной наклейкой «инвалид», которую она может ненавидеть, сколько угодно, но с которой, конечно же, очень удобно. Практичный, умелый, разумный, все предвидящий Лайл: просто делает что-то, устраивает все в ее отсутствие.

Гладкий цемент манит. Она стала чертовски хорошим водителем инвалидной коляски, ловко справляется с поворотами, а на спуске ей просто нет равных, она обнаружила, что получает настоящее удовольствие от занятий на парковке реабилитационного центра, передвигаясь и разучивая маневры. Она сейчас одна. Через секунду, подоткнув плед потуже и развернув коляску, такую легкую и устойчивую, она скатывается, не разбирая дороги, по пандусу вниз, щелкает выключателем и с жужжанием мчится к проселку. Потом разворачивается и, жужжа, на полной скорости мчится обратно. Даже ветер подняла!

Как здорово. Ей бы хотелось отправиться куда дальше и быстрее, и, может быть, она вскоре научится ездить на задних колесах, если на коляске так можно, но пока она просто исполняет свой маленький каприз, оставшись одна.

Взад и вперед, как Лайл с косилкой, каждый раз, доехав до конца цементной дорожки, она сдает назад и разворачивается.

И начинает казаться, что вполне можно добраться до проселка. Небольшое путешествие, только часть пути, просто рывок на короткую дистанцию по твердой земле и гравию. Терпение, время, приличная поверхность — и на инвалидной коляске можно добраться куда угодно. Она могла бы доехать до города. Отправиться дальше в поля. Она полагает, что тащиться вдоль скоростных шоссе запрещено законом; иначе она могла бы стартовать всерьез.

Просто, чтобы это сделать; не для того, чтобы сбежать.

Да, тут сплошные ухабы, и нужно ехать медленно, и не сводить глаз с дороги, высматривая рытвины и крупные камни. Рулить на неровной поверхности, конечно же, труднее, и, наверное, коляска потяжелее не прыгала бы так своевольно. Но как кружит голову то, что она может это

сделать! То, что она знает, что может убежать, хотя она не хочет убегать, просто выяснила, что ей очень нравится знать, что она это может.

И еще может вернуться, когда захочет. Там, где проселок изгибается, она поворачивает медленнее, осторожнее, зная, что здесь дорога идет под уклон, и останавливается. Вот он снова, тот первый вид. Изуродованный пандусом и дорожкой, это да, но это тот же основательный кирпичный дом, та же обнимающая его веранда, те же обступающие, защищающие дом деревья. Что ж, она дома.

И вот на веранду выходит Лайл, одетый в брюки цвета хаки и голубую рубашку, волосы прилизаны после душа; он оглядывается по сторонам, смотрит в ее сторону, начинает смеяться, заметив ее, машет ей.

Она машет в ответ.

Из этого что-то может выйти.

Она берется за дело и осторожно катится вперед. Он спускается с веранды. Они встречаются на новой цементной дорожке. Она чувствует, что разрумянилась, она чувствует себя почти победителем. Он, как ей кажется, впечатлен. Как интересно производить впечатление. Раньше это, наверное, было для нее привычно, там, в

большом мире, но теперь — опять нечто новое.

— Привет, — говорит он. — Пустилась в бега?

Хорошо, что они почти перестали беспокоиться из-за болезненных ассоциаций, которые могут вызвать слова. Например, «в бега». Тяжкий был труд: вся эта цензура, смущение из-за постоянных промахов. Наблюдать чужую неловкость, тем более наблюдать, что сама она стала как-то чересчур чувствительна.

— Ага, — говорит она. — Пытаюсь выяснить, как далеко моя ласточка может доехать без подзарядки.

Каждую ночь, когда она укладывается, коляску ставят на подзарядку. Эта — ее учебная модель, вторая уже заказана. Им с Лайлом, как он говорит, очень повезло, что они небедные. Ей повезло, это ее деньги, та чрезвычайно приятная сумма, которую они с Мартином получили, продав агентство, именно из нее оплачивается домашний уход, физиотерапевт, коляски. Лайл профинансировал переделки в доме. Одна эта отвратительная ванная обошлась в небольшое состояние.

— Я подумывала, не доехать ли до дороги, чтобы погонять по-настоящему. И научиться поднимать коляску на задние колеса, ты знаешь, как это делается?

— Понятия не имею. С мотоциклом, да, я так однажды свалился, когда еще пацаном был: нажал на газ, и мы с мотоциклом оба полетели. Причем совершенно случайно, я вообще-то собирался ехать прямо вперед, а эта тварь взяла и встала на дыбы.

— Ты ушибся? — Ей приятно, что пока еще остаются неизвестные моменты в истории, что они еще не все знают друг о друге.

— Не-а, слишком испугался.

Да, шок от происходящего: полезное, мгновенное обезболивание. Она знает.

— Слушай-ка, ты не собираешься подняться в дом и начать готовиться? Они скоро будут, пара часов осталась.

Собираются отмечать ее возвращение домой. Мартин, сыновья Лайла, и Джейми, и Аликс тоже. Мэдилейн и Берт. Лайл постриг газон, нанял людей привести дом в порядок и привезти еды, хотя будет всего человек девять-десять, зависит от того, приведут ли кого-нибудь с собой мальчики Лайла. Разумеется, придет время, когда Айла освоится с домашней работой и на кухне, и все у нее будет получаться так ловко и гладко, что они с Лайлом без проблем осилят прием десяти гостей, как раньше. Может быть, единственное,

что ей будет трудновато делать, это вытирать пыль с верхних полок. Она научится стричь кусты с низко висящими ветками, срезать цветы с длинными стеблями. Они с Лайлом войдут в новый ритм и снова смогут здесь вместе работать и развлекаться.

Но не сегодня.

Ей нравится, что он не предлагает покатить ее коляску вверх по пандусу. Он не *нависает*, как нависал бы над ней кто-нибудь, считающий, что она или поглупела, или ничего не может. Честно говоря, Мэдилейн немножко нависает. Может быть, просто сказывается, в конце концов, возраст. Может быть, дело в том, что Айла — ее дочь. Но все же она приезжает пораньше, чтобы помочь Айле одеться. Айла, конечно же, наденет одно из новых длинных, скрывающих все летних платьев, из которых теперь большей частью и состоит ее гардероб; это — бежевое с голубыми и желтыми цветочками, оно элегантнее прочих. По стилю все это близко к тому, что носила Аликс в Корпусе Умиротворения. Прямо жаль, что она их повыбрасывала, могли бы пригодиться.

Предполагается, что сегодня Аликс приедет с Джейми, потому что она не может позволить себе машину. Он стал таким надежным и внушающим

доверие, что рискует докатиться до почти тревожащей солидности. Дети у нее, так Айла считает, не приемлют полумер, хотя, коль скоро она сама обнаружила, что полумеры ей ненавистны, не ей их осуждать.

С Аликс новая история. А то как же. Похоже, она метнулась от умиротворения прямиком в хаос. Это, конечно, не совсем так. На самом деле она сменила Корпус Умиротворения на двухкомнатную квартиру с ванной где-то в городе; свежий воздух — на грязь и копоть; придурошные духовные искания на придурошную общественную работу. Но это, опять-таки, если рассуждать легкомысленно. Если честно и всерьез, то Айла относится ко всему этому с большим уважением, хотя и с недоверием.

Ее дети поставили перед собой серьезные цели. Джейми ближайшие три-четыре года будет изучать психологию, социологию и то, как работает мозг в прямом, физическом смысле. Больше никаких цветов. Он делает все, чтобы осуществились его планы работать с наркоманами, но теперь кажется, что сам он не сорвется, даже в очень плохой компании. И Аликс, невесомая Аликс больше не носит прозрачные платья, и внимание ее переключилось со старых уголовников на мо-

лодых. То бишь с мерзкого Мастера Эмброуза на мерзкого мальчишку, который стрелял в Айлу.

И таких, как он.

Айла старается, чтобы ее мысли не склонялись к раскаленным сковородкам и кострам. Слишком просто, это во-первых. Во-вторых, это, может быть, неверно. У Аликс прорезался голос, и он оказался очень убежденным, даже громким. Как, например, когда он зазвенел однажды вечером в новостях по телевизору, выражая перед правительственным зданием в окружении кучки сочувствующих крайне потрепанного вида громкий протест против закрытия какой-то программы для малолетних правонарушителей.

«Глянь-ка, — сказал Лайл в палате Айлы в реабилитационном центре, подавшись вперед, — это там не Аликс?»

Она самая.

Она ездила к этому мальчишке, к Роду, в выходные, раз в две недели.

«Я пытаюсь его понять, — объясняла она. (Айла подумала, но не сказала, что затея та еще: понять парня, который стрелял в твою мать.) — Я знаю, что это ужасно прозвучит, но он действительно по-своему милый. Он не знает вообще *ничего».*

Как будто это одно и то же. Посещая его, она

встречалась и с другими людьми: с семьями малолетних преступников, с их подружками, с самими малолетними преступниками — судя по всему, с дружками Рода.

«Я хочу знать, как это получается, — сказала она. И, прозрачная, как всегда, проницательно добавила: — Потому что то, что случилось с тобой, ужасно. Надо выяснить, как сделать, чтобы такое не случалось с другими».

Ну, оно ведь не просто случилось, так? Это, Аликс, твой милый Род нажал на курок, вряд ли тут можно говорить о пассивном участии. Но да, было бы здорово, если бы другие милые мальчики больше не палили по окружающим.

Аликс немножко зарабатывает, работая в центре трудоустройства для молодежи, подбирая учебные программы и работу для трудных подростков. Еще она на общественных началах подвизается в приюте для беспризорников, хотя, как Айла понимает, мальчишка, который в нее выстрелил, вовсе не был беспризорником, он, поганец, был вроде деревенского дурачка. Она выступает перед старшеклассниками, и, если на то пошло, на перекрестках, и перед правительственными зданиями. Она страстно борется за искоренение преступности в зародыше.

«Потому что, — говорит она, — подросткам все может казаться таким *унылым.* Рабочих мест мало, зато тупой работы полно, никакого будущего. Им нужна *мечта.* Им нужно чего-то хотеть, они должны к чему-то стремиться, а им редко помогают найти что-нибудь такое. Им нужна *надежда».*

Да. Что ж. В этом они не одиноки.

Говорит ли о чем-нибудь то, что дети Айлы, ни один, не посвятили себя проблемам инвалидов, парализованных, тех, кому достаются пули наркоманов и лишенных мечты?

То, как резко и полностью Аликс переключается на что-то новое, тревожит и даже нервирует. Она даже не вернулась на ферму Корпуса Умиротворения за вещами, просто потому, что, как она выразилась, «там нет ничего, что сейчас имело бы значение».

«Твой Мастер Эмброуз сердится?» — спросила Айла. Она надеялась, что да. Но Аликс посмотрела на нее с недоумением:

«Он никогда не сердится».

Ну уж.

«Он знает, что я найду свой путь к умиротворению. А я знаю, что не смогла бы это сделать без него. Он понимает, что, работая над собой, вырастаешь из привязанностей».

Айла в этом сомневалась. Она сомневалась, что Мастер Эмброуз думал, что его оставят.

«Тогда ты молодец, — сухо сказала она. — И он тоже».

Аликс, бедная глупая зайка, просияла.

Нет, вовсе она не бедная глупая зайка, она просто не знает, что делать со своим огромным, все еще работающим вхолостую сердцем. Айла беспокоится и об Аликс, и о Джейми, которые где-то там, далеко, общаются с опасными, отчаянными людьми. Они могут не знать, насколько это опасно, ни один из них не пережил того, что пережила Айла в «Кафе Голди»: изысканное па-де-де насилия, которое она станцевала с Родди, молодым другом Аликс, объектом ее усилий, задачей, над которой она работает.

Сегодняшний сбор был идеей Аликс и Джейми: отметить всевозможные мамины победы. Айла помнит, было время, когда праздники не вызывали двойственных чувств, но она так часто бывала центром внимания за прошедший год, печального внимания, что теперь относится к этому куда спокойнее. Но мероприятие само по себе, то, что несколько человек строят планы и договариваются, чтобы собраться в одном месте, в одно время ради нее, — это действительно очень

трогательно. Даже Мартин, который в самом деле отправился путешествовать, когда они продали агентство, и только пару дней назад вернулся из Индии, даже он придет. Всем будет что рассказать, народ соберется не только для того, чтобы поздравлять и обласкивать Айлу.

Она представляет себе другую картину. Она думает, как через много часов сможет осмотреться вокруг, когда все уже откидываются на спинки стульев, и в беспорядке стоит грязная посуда, и что-то пролили на стол, смеркается, на лица падает тень, и они теряются в тени, все довольны, всем хорошо, — и она будет счастлива оттого, как все прошло. Оттого, что вокруг нее собрано почти все, что на сегодняшний день что-то значит в ее жизни.

Кроме Джеймса, конечно, но она очень даже может пережить его отсутствие.

А так, все, кто что-нибудь значит, будут здесь. Еще одна картинка на память, вроде той, прежней: она сидит на этой веранде теплым и светлым днем — и эта тоже стала реальностью.

Как замечательно: ждать чего-то с нетерпением, предвкушать какие-то события и надеяться. Она улыбается Лайлу:

— Да, ты прав, пора. Я поехала собираться. Мама

скоро будет здесь.

Она может заехать прямо под душ в новой ванной на первом этаже, подтянуться на сиденье в душевой кабине, оттолкнуть коляску, только осторожно, чтобы можно было дотянуться, повернуть краны, намылить голову; и она может сделать это сама, без постороннего присутствия, усилиями своих рук, и только — роскошь, которую она даже не заметила бы год назад.

Вот такого рода вещи и нужно постоянно держать в памяти. Не благодарность; но уважительный кивок в сторону частичных благословений.

Принимая душ, она слышит, как звонит телефон. По-прежнему странно ощущать, как горячая вода течет только по половине тела, и только видеть, как она льется по остальным его частям. Как будто остальные части принадлежат кому-то другому.

Лайл заглядывает в ванную, когда она выключает душ.

— Это была Аликс. Хочет, чтобы ты ей перезвонила. — Лицо у него мрачное и недовольное.

— Она не приедет? — Айла мгновенно видит дыру в картине с обеденным столом, которую она себе нарисовала. Все разваливается.

— Нет, я думаю, она будет. Но ей, в самом деле,

нужно с тобой поговорить. И пока я только могу сказать, что особого восторга у меня это не вызывает, но решать тебе.

О чем бы ни шла речь, когда Лайл отказывается что-то передавать, это, скорее всего, означает, что он не хочет ни в чем участвовать. Он набирает номер Аликс и протягивает трубку Айле.

— Мам, — говорит Аликс, и выясняется, что она тоже нарисовала себе картину, но она резко отличается от той, что представляется Айле.

Такое могла придумать только Аликс — просто дух захватывает. Пару мгновений Айле на самом деле трудно дышать.

— Я знаю, это непросто, мама, но ты лучше всех, когда дело касается чего-то непростого. И чего-то хорошего тоже, я так думаю.

Прозрачна, как ее платья Корпуса Умиротворения. До чего же Аликс безрассудна, до чего странные у нее надежды, до чего безнадежно несбыточные мечты. Пара христиан, в глупом неведении входящая в Колизей, полный львов.

В этом есть нечто привлекательное.

Она вдыхает так глубоко, как только может, считывая, что ее грудная клетка все еще зловеще похрустывает, и уже не та, что была раньше.

— Мне вообще-то кажется, что «непросто» не

отражает сути. И еще мне кажется, что ты серьезно переоцениваешь мою готовность быть «лучше всех».

Возможно, Аликс, оптимистически настроенное дитя, все еще ищет идеальную, безупречную мать. Вот этого она явно не получит; да и слишком она для этого взрослая.

— По-моему, — медленно произносит Айла, — ты от меня слишком многого ждешь.

— Не жду. Мне бы хотелось, чтобы ты могла найти в себе силы сделать это, но тебе решать, я понимаю, и ты, конечно, можешь не согласиться. Ты одна знаешь, что ты чувствуешь, я могу судить только по своим впечатлениям, ну и есть какие-то соображения. Я бы не стала просить, если бы не думала, что это важно. Я хочу сказать, для всех, не только для тебя.

Лайл тихо ушел. Айла слышит, как он достает тарелки из шкафов на кухне. Она может помочь накрывать на стол, если он просто будет класть тарелки и приборы, по несколько штук, ей на колени. Она может колесить и колесить вокруг обеденного стола, раскладывая ножи, вилки, ложки, бокалы для вина, салфетки.

Сандра, он это сказал давным-давно, даже умирая, осталась светлым человеком. Айла это

помнит; и помнит, как думала, что ей это не дано. Что она бы стала бороться и причинять окружающим боль. Что если умирать, оставаясь светлым человеком, означает смириться, то ей бы света прискорбно не хватило.

Тяжело ли Лайлу оказалось жить с женщиной, которая даже собственному сердцу не дает спуску? Он обнимал Айлу, когда она плакала, и сам тоже плакал; он молча слушал, как она выплескивает гнев, и гневался вместе с ней. Он был удивительно сдержан и не сказал ничего о том, как чудовищно разрушены оказались его собственные надежды, планы и картины, которые он себе рисовал. Это — совсем не та жизнь, о которой он думал, с этим неуклюжим пандусом, обезобразившим веранду, с женой, которая больше не может быть его партнером, так же как не может быть партнером Мартина. Только Мартин мог убежать.

И Лайл мог. Не убежал, но мог.

Надо же. Она даже не сознавала, насколько велики ее сомнения.

— Но он ведь уже наверняка, — говорит она Аликс, — сказал нет?

— Предоставь это мне. Меня интересуешь прежде всего ты. То есть я хочу, чтобы у тебя все

было хорошо.

Айла вздыхает. Это будет не тот день, которого она ждала. Картина, которая стоит у нее перед глазами, очень сильно меняется по сравнению с той, которую ей так хотелось увидеть. А с другой стороны, она понимает, что как раз ее это удивлять не должно.

Она за рулем

Родди возится с галстуком, который у него никак не завязывается как надо. Его пальцы свело какой-то судорогой, да и вообще он с галстуками не очень умеет, вот и получается все время какая-то фигня, надо развязывать и начинать заново.

Пока он не начал мучить галстук, тот был очень даже ничего, темно-синий, шелковистый такой, хотя и не шелковый, с мелкими белыми галочками, вроде как чайки летят. Это Аликс его принесла, потому что она говорит, что он лучше будет себя чувствовать, если будет выглядеть как положено.

— Я знаю, это глупо звучит, но одежда действительно может сделать человека внутренне сильнее. — Она это поняла, благодаря тем платьям, которые она и другие девушки носили в Корпусе Умиротворения. — Я могла оглянуться вокруг и увидеть, что я на своем месте, я — одна из нас, где бы мы ни были, в городе или на ферме. То есть я не одинока. Мы — одно целое, и мы вместе.

Тогда это не так, как с тюремной робой. Все

одеты одинаково, но это не значит, что каждый на своем месте или все ощущают себя одним целым.

— Но, — говорит Аликс, — все дело в том, сам ты это выбрал или нет. Я сделала выбор сама.

Как скажешь. Ему кажется, что Корпус Умиротворения — это довольно стрёмно, но она, наверное, права, она сама сделала выбор. И наверное, это как-то повлияло на то, какая она: сильная, чистая, щедрая и, ну, он про себя называет это *милая,* но не как это обычно говорят, такими фальшивыми голосами, что аж тошнит. Милая, в смысле по-честному хорошая.

Он в долгу перед Аликс. Он ей всем обязан. Она приходила, приходила раз в две недели по воскресеньям, ждала в комнате для свиданий, и у нее было такое открытое лицо и глаза, стремившиеся вобрать все, что попадалось на пути. Она его спасла. Не потому, что сказала что-то особенное, из-за чего все изменилось, но просто она приходила, и казалось, что ей хочется слушать, что она выслушает все, что он может сказать. Разве оттолкнешь кого-то, кто так себя ведет? Кого-то, кому так легко причинить боль, судя по этим широко раскрытым глазам, этому желанию слушать, только этот кто-то не боится, что ему

сделают больно, но и не слишком удивится, если это произойдет.

Поначалу он не знал, как с ней разговаривать, что говорить, что она хочет услышать. Поэтому вместо него говорила она. Она рассказывала ему про свою жизнь. Рассказала про своего отца, это было хуже всего. Нет, ну хуже всего была, конечно, история про ее мать, но ему это рассказывать было не нужно. Еще она рассказала про своего брата, у которого одно время были проблемы с наркотиками.

— Он тоже сидел в тюрьме, — сказала она. — Но меня к нему не пускали. Я была еще слишком маленькая.

Странным и самым лучшим в этих рассказах было то, что она как-то не говорила, что она в связи со всем этим чувствовала, просто рассказывала, что произошло. Даже о прощении речь не шла. Еще и поэтому она сидела напротив него: потому что о прощении речь не шла.

У психолога и на групповых сеансах терапии все должны были распространяться о том, какие чувства у них вызывало то да се, и, когда доходило до этого, жалеют ли они о том, что сделали, ощущают ли вину и так далее. Некоторые такие истории выдавали! Про всякие вещи, с которыми

он даже не сталкивался, типа, как их отцы лупили, не то, что его отец, тот просто тихо бродит по дому, и все; или матери их из квартиры выгоняли, пока занимались сексом с чужими мужиками, за деньги, не то что у него — просто бросилась посреди ночи с моста, и все.

Он на этих занятиях большей частью молчал, и не потому, что, как ему казалось, решил ничего про себя не рассказывать, чтобы никто не лез. Больше оттого, что стеснялся своей жалкой истории, стыдился глупых и мелких мотивов своего преступления.

Некоторые люди на самом деле страдают. И Аликс, вовлекшая его в свою жизнь и свою работу, не даст ему об этом забыть.

Навещая его, она говорила о Корпусе Умиротворения, о том, как однажды в городе встретила Мастера Эмброуза и его людей, всего в нескольких кварталах от своей нынешней квартиры, и о том, что она увидела в выражении их лиц, в том, как они двигались.

— Они были такими спокойными и уверенными. Как будто что-то знали. Или знали, как это знать. Все вместе они производили очень сильное впечатление. И он в центре. В нем чувствовалась мудрость, понимаешь? Не любовь,

потому что она, в общем-то, не имеет отношения к умиротворению. Скорее то, что он понимает глубины успокоения. То, что он на своем месте. Это сложно объяснить.

Потом она ушла от них, от мужика, которого называет Мастер Эмброуз, вообще ушла.

— Чему-то учишься, — легко сказала она. — Потом я подумала, что мне нужно двигаться дальше. Не только из-за мамы, но еще и потому, что когда что-то так сильно меняется, все другое тоже меняется. Я подумала, что в Корпусе Умиротворения можно узнать, что такое привязанность и как от нее освободиться, но тут, возможно, получается замкнутый круг: я слишком привязалась ко всему этому, и, если я хочу достичь полного освобождения, нужно уходить, — в этом был смысл, хотя и очень туманный.

Во всем был смысл, когда она говорила, а Родди слушал и смотрел на нее так внимательно, что казалось, что он не дышит.

— Я думаю, Мастер Эмброуз понимает. Ведь он — учитель.

Родди, правда, потом все думал: поймет ли на самом деле этот ее Мастер Эмброуз?

— Тебе нравится, когда тебя зовут Сияние Звезд? — ему это было очень интересно. Ему нра-

вилось, что она зовет его Род, но тут другое, это ведь все-таки его настоящее имя.

— Да, очень, я хочу это сохранить. Потому что звезды так далеко, и их так много, и в ясную ночь, когда смотришь на небо, чувствуешь себя таким маленьким, что кажется, что на самом деле очень немногое имеет значение — знаешь, как это бывает? Все, что происходит, такое маленькое, просто пылинка, меньше пылинки, во вселенной, и тебе становится или как-то не по себе, потому что ты явно ничего не значишь, или намного легче, потому что что-нибудь значит каждая пылинка, но ты — это еще не все, не центр мироздания? Ну, что-то в этом роде. Мне казалось, Сияние Звезд — это так прохладно и далеко, свет, но на расстоянии. Да, мне нравится быть Сиянием Звезд. Это заставляет задумываться. Многое осознавать.

Осознавать — это слово Аликс любит.

Может показаться, что, когда чувствуешь себя пылинкой в космосе, пусть даже и хорошей пылинкой, от всего начинаешь отстраняться и смотришь на все безучастно. Он выяснил, что это не так. Аликс относится к тому, что связано с ее пылинкой, очень серьезно. Если она чего хочет, вот как сегодня, непохоже, что она чему-то позволит встать у себя на пути.

Она сейчас тоже как раз одевается. Наденет длинное, легкое платье, в общем, не сильно отличающееся от платья Корпуса Умиротворения, в котором он ее первый раз увидел, давно, в тот невероятный день в суде, только оно бледно-голубое, и на нем такие белые цветочки, типа чаек, или кто они там, на его галстуке. У нее теперь есть джинсы и майки, обычная одежда, но, это уже навсегда, носит она по-прежнему в основном длинные летучие платья.

Из-за того, что будет сегодня, уже начались проблемы. Ее должен был подвезти брат, но когда он услышал, что она задумала, он сказал — ни в жизни. Вообще-то он сказал (Родди слышал, потому что он прямо орал, когда говорил с ней по телефону):

— Господи, Аликс, ну нельзя же так, ты спятила, что ли?

Квартирка у Аликс совсем маленькая. Тут отовсюду почти все слышно. Родди слышал, как ее брат бросил трубку.

— Так, значит, так, — сказала она, улыбаясь. — Придется взять машину напрокат.

Она очень бережлива, у нее денег-то всего ничего. То, что она собирается разориться, взяв на день машину, говорит о том, насколько для нее

все это важно.

Родди тоже сказал — нет. Ни за что. Но вот, пожалуйста, сражается с галстуком, который купила Аликс. Еще на нем будут бежевые брюки и голубая рубашка.

— Одет без претензий, — определила это Аликс, — но в то же время демонстрируешь уважение.

Он не уверен, что понимает, что она имеет в виду, в чем тут уважение. В том, что он потрудился быть чистым и выглядеть нормально — так, наверное. Странно, он и в самом деле выглядит нормально. Но чувствует себя совсем иначе. Ему так хочется сбежать; только тогда он не сможет вернуться. Нет, Аликс этого не говорила. Просто он не сможет смотреть ей в глаза.

Он не представляет, как справится со всем этим, но не видит выхода. Он отчасти рассчитывал, что мать Аликс скажет, что это невозможно, что об этом и речи быть не может. Он бы даже не возражал, если бы она сказала, что это — предательство и вообще отвратительно. Он не уверен, что это — не отвратительное предательство, но вот оно, как бы то ни было, и деваться некуда. Неудивительно, что он снова дергает галстук и начинает все сначала. Вероятность катастрофы

очень велика. Он теперь задумывается о таких вещах, он учитывает вероятность катастроф. Сегодня у него в голове все время выстраивается возможное развитие событий, на несколько фильмов хватит; и хорошего в них мало, ни один не заканчивается хэппи-эндом.

Аликс, какой бы она ни казалась, совсем не наивна. Она сказала;

— Я с ними не заговорю об этом до последнего. А там, что бы они ни решили, передумать уже не смогут.

С ним она об этом заговорила уже много дней назад. Она по-разному общается с разными людьми; значит, она все продумывает и высчитывает. Она, наверное, поняла, что если сразу выплеснет ему все, он просто сбежит, даже не думая о том, к чему это приведет. Вместо этого она его уговаривала, и убеждала, и даже прибегала к грубой лести, и, в конце концов, оросила ему вызов:

— Ты должен знать, в чем дело. Иначе все это так и будет тебя преследовать, и ты никогда над этим не поднимешься. Всегда будешь знать, что оказался недостаточно зрелым, чтобы сделать то, что нужно было сделать. А жить с этим всю жизнь — ужасно, так мне кажется.

Да, его ангел бывает суров.

Но ее уверенность так умиротворяет. В ее голосе нет суровости. Не то что психолог, который вдруг срывается, или делает вид, что срывается, начиная орать на какого-нибудь несчастного упертого придурка:

— Думай! Думай! Думай! Ты что, хочешь, чтобы вся твоя жизнь была такой? Не можешь уяснить, что если делаешь то-то, происходит то-то? Собираешься всю жизнь быть кретином?

Психологи, они всегда так делали, как скорости переключали: то тихие и понимающие, то крутые, почти жестокие. Жестокие, но не так, как некоторые охранники, по-другому, по-своему.

Аликс многое делает возможным. Или, как сегодня, неизбежным. Господи, там легче было, не так страшно, что побьют, как его дважды били, без всякой причины, просто оказался не там, а у кого-то было не то настроение. Как-то ночью один псих поджег матрас. Кто его знает, где он взял спички, но все коридоры были в дыму, охранники забегали, орали все, сирены включились, много всего было. Даже тогда не было так страшно.

Аликс, мысли об Аликс помогали ему пережить каждый день в те месяцы. Не психологи, не занятия, не работа, не другие пацаны, даже не Дер — только то, что он знал, что приедет Аликс. Что

она по собственной воле снова и снова проделывает этот путь, и снова смотрит на него с тем же участием, сосредоточенностью, радостью и интересом, что и в первый раз.

Он всем ей обязан.

То, что в дни посещений она рассказывала ему о себе именно так, почти без выражения, не упоминая о чувствах, в конце концов, позволило ему тоже просто рассказать, что произошло. Он, правда, начал осторожно, заговорил о бабушке, об отце, и о том, как они переехали из города сюда.

— Почему? — спросила она.

Он рассказал ей о маме: о безудержном веселье, которое помнил, и о печали. О том, как она исчезла первый раз, а потом — последний. Аликс на мгновение прикрыла свои большие глаза, но только кивнула и сказала:

— Понимаю.

Как будто она в самом деле все поняла, даже увидела. Может быть, она увидела, как его мама забирается на мост, встает на краю, падает и летит вниз, вниз, на шоссе, не прощающее ничего; к бесконечному шелесту шин и вечному сверканию фар.

Про Майка он ей тоже рассказал; хотя и не все. Он рассказал, как Майк и его мама пришли к ба-

бушке, как началась их дружба и как укрепилась потом. Про все их вылазки, приключения, даже про воровство в магазинах, и про пиво, и про травку, все рассказал; но даже не упомянул про их большие планы и мечты. Опасная область — и для Аликс, и для него.

Когда его срок подходил к концу, миссис Шоу, главный консультант-психолог, вызвала его к себе в кабинет и сказала:

— Ты, как я вижу, очень хорошо справился с учебой. Мы так и предполагали, что у тебя все получится, и я рада, что ты чего-то достиг за то время, когда был с нами. *(С нами* — как будто они его пригласили, и он пришел.) — Мне бы хотелось, чтобы ты был более активен на занятиях в группе, но иногда человек получает от этих сеансов больше, чем осознает. Возможно, ты это поймешь на собственном примере. Так, и что ты планируешь делать, когда выйдешь? Ты уже принял какие-нибудь решения? Потому что очень важно, выйдя отсюда, сразу встать на верный путь, и если ты ничего не решил, мы можем попытаться помочь тебе определиться и устроиться.

Но он был не такой, как другие. Ему было куда пойти, у него был дом. Отец и бабушка собира-

лись за ним приехать. Он не знал, каково это будет, жить с ними после всего этого.

— Все нормально, — сказал он миссис Шоу. — Все уже улажено.

Он вырос и изменился куда больше, чем они думали. Стал не то что жестче, но взрослее. Отец, казавшийся намного старше, сказал:

— Привет, сынок. Хорошо, что ты снова с нами.

И все. Ничего о том, что они вдвоем куда-нибудь поедут. Дома бабушка все время прикасалась к Родди: к рукам, к плечам, к спине, к ладоням и смотрела на него. Как будто хотела что-то спросить и боялась.

Когда она позвала снизу: «Родди, ужинать», — он сел за стол и сказал, что теперь он — Род.

Хотя, если честно, он им не был. Уже ближе, но имя ему еще не совсем подходило.

Он поначалу не мог заснуть из-за тишины. И еще было странное одиночество. Ему в каком-то смысле не хватало Дера. Комната у него была совсем детская: покрывало на кровати, как у маленького, и эти фотки насекомых по стенам. Ну и урод же он был, подумалось ему; но потом он почувствовал себя предателем. Ему хотелось защитить прежнего Родди: кого-то, кого ждет беда, кто ничего не знает.

Первые несколько дней он почти не выходил из дома. Если выходил, на него все начинали пялиться, и он знал, что они думают всякие гадости. А если он столкнется с той женщиной? С матерью Аликс? И были места, куда ему теперь было нельзя, вроде «Кафе Голди». Полно таких мест.

Но дома делать было нечего, только на стену лезть, чувствуя, что попал в западню; в чем-то даже хуже, чем в тюрьме, потому что теперь у него был выбор — выходить или нет, а когда есть выбор, все гораздо сложнее. Бабушка все пыталась его накормить и улыбалась постоянно, но казалось, что она его боится и говорить с ним ей не о чем, разве что о тех же новостях и сплетнях, о которых она говорила, когда приезжала к нему в тюрьму. Уходя, она спросила:

— Все будет хорошо, Родди? То есть, извини, Род.

Можно подумать, стоит ей уйти на пару часов, и он магазин ограбит или пристрелит кого-нибудь. Может быть, она не совсем это имела в виду, но прозвучало все именно так.

На пятый день он уже не мог сидеть дома, несмотря ни на что. Он подумал, что ближе к ужину народу будет не так много, и большинство магазинов в центре закроется, и улицы будут бо-

лее-менее в его распоряжении. И он, в общем, был прав, и это было здорово: брести, глядя в витрины магазинов, вдыхая вольный воздух, удивляясь тому, что все осталось прежним, когда он так переменился. Как будто он прожил целую жизнь, когда для всего вокруг остановилось время, как в какой-нибудь старой серии «Сумеречной зоны».

А потом повернул за угол и — нате вам, Майк.

Может, они оба покраснели; Майк, во всяком случае, покраснел, и Родди почувствовал, что его кожа меняет цвет. Он не собирался заговаривать первым. Он, собственно, не знал, что говорить. Надо было предвидеть, что так получится, быть к этому готовым.

— Привет, — наконец сказал Майк. — Привет. Рад тебя видеть.

— Да ну?

На него это было непохоже. Ждет, не идет на контакт — он понимал, как смущен и сбит с толку будет Майк, как ему будет неловко.

— Когда ты вернулся?

Вернулся, подумал Родди, как будто он отдыхать ездил.

— Пару дней назад. Я не думал, что ты все еще в городе. Тебе что, денег не хватило, чтобы уехать?

Может быть, это странно, но сейчас, видя Май-

ка прямо перед собой, Родди злился куда больше, чем когда его арестовали, или в суде, или в тюрьме. Ему хотелось наказать Майка, заставить его страдать, заставить его хоть немного ощутить то же опустошение. Вот он. Майк, разгуливает по улицам, как будто ни в чем не виноват, как будто ничего не случилось ни с ним, ни с Родди, вообще ни с кем, как будто он не сдавал друзей, и даже спасибо не сказал, просто жил себе, как всегда, все это время. Ладно, на фиг. Пальцы Родди сжались в кулаки.

Майк опустил глаза.

— Да нет, — снова посмотрел на Родди. — Я со всем этим чуть не подох со страха. Я вообще не понял, как это все вышло? Не должно же было. Господи, ну ты понял, да?

Значит, он умыл руки; заявил о своей невиновности. Наверное, что-то такое ему и пришлось сделать, просто, чтобы с него слезли.

Но вопрос ничего себе: «Как это все вышло?»

— Ну и, в общем, — продолжал Майк, — я передумал. Так что я заканчиваю школу в этом году и уезжаю. Но работы у меня нет. Все считают, что я замешан в деле с кафе. Я понимаю, я перед тобой в долгу за то, что ты меня не сдал, но все знают, что мы дружили, и никому не докажешь, что я не

знал. Так что здесь мне работу не найти. Слушай, хочешь, пойдем куда-нибудь, пивка попьем, и вообще? Ты не думай, я понимаю, я тебе так обязан, что ты меня за собой не потащил.

— Это вряд ли, — холодно произнес Родди. В смысле, пойти куда-нибудь. Пивка! — А что ж ты тогда не появлялся?

— К тебе не приходил? Предки сказали — исключено. Ей-богу, жалко, что так получилось, ты и за это тоже меня прости, но они сказали — не напрашивайся на неприятности.

— Может, они и правы.

Майк перенес вес на пятки и чуть отклонился вбок.

— Плохо там было?

Это что еще за дурацкий вопрос?

— Могло быть хуже. И я там аттестат получил. Больше заняться было нечем. Экзамены сдал. Познакомился кое с кем. Пообщался. В общем, справился.

— Что собираешься делать, здесь останешься?

— Пока не знаю. Я только несколько дней как вышел.

Больше ему нечего было сказать этому парню, который был его лучшим другом, его корешем с первого дня в этом городке.

— Мне пора. Куча дел, столько всего пропустил, пока сидел.

Стоило ему отвернуться и отвести взгляд от Майка, он понял, что вообще ничего не чувствует. Майк был так же далек от него, как весь этот город. Он услышал, как Майк сказал ему в спину: «Родди», но не обернулся, и больше ничего сказано не было. Он подумал, что люди не всегда одновременно разрывают контакт или отдаляются друг от друга. Подумал, что мог бы сильнее переживать, если бы у него не было столько времени, чтобы привыкнуть к мысли, что Майк ему теперь не друг.

Аликс позвонила узнать, как у него дела, и спросить, может ли она его навестить, как обычно; и взяла машину напрокат, это она делает, только если другого выхода нет, и приехала к бабушке домой. Просидела полдня в воскресенье, мило болтая с бабушкой, вежливо поздоровалась с отцом, а он вышел из кухни, как будто его внимание даже Аликс не может привлечь. Бабушка Родди была с ней, в общем, приветлива, но очень неловко себя чувствовала, потому что знала, кто такая Аликс. В конце концов Аликс сказала:

— Хочешь, выйдем на свежий воздух, Род? Тебе же наверняка ужасно хочется на улицу, тебя так

долго держали взаперти.

Бабушка передернулась, как будто Аликс сказала какую-то бестактность, хотя это была всего лишь правда, так все и было.

Даже сидеть рядом с Аликс на крыльце, никуда не идти, уже было облегчением, первый раз с тех пор, как он вышел, ему было хорошо, казалось, что все встало на свое место. Потому что он был с Аликс, это не имело отношения к месту, или к тому в доме он, или на улице. Она сказала:

— Ты тут не слишком счастлив, да?

Счастлив — смешное слово. Он сомневался, что ему это полагается.

— В общем, нет.

— У тебя было время подумать над какими-то планами, или ты просто привыкал к тому, что вернулся домой?

— Пока никаких планов. — Планы — это его просто выбивало. Он, кстати, и не особенно верил в планы: единственный настоящий, продуманный план, который у него был, обернулся таким кошмаром. — Наверное, я пока еще привыкаю к тому, что они у меня могут быть. Или должны. В смысле, к тому, что есть выбор.

— Ладно, тогда у меня есть план. Или не план, так, одна идея.

Когда она посмотрела на него, он снова утонул в ее глазах. Кожа у нее была потрясающая, она как будто светилась изнутри. И идея у нее была потрясающая.

— Я подумала, что чем бы ты ни решил заняться, здесь ты этим заняться сможешь едва ли. Наверняка это будет нелегко, да? — Она знала все. — Так что, может быть, все это на время, пока ты твердо встанешь на ноги и осмотришься, но у меня есть квартира. Крохотная, но недалеко от всего, что может тебя заинтересовать, и еще ты мог бы мне помогать. Я провожу беседы о преступности, а ты все знаешь о работе волонтеров на местах, и я подумала, что ты можешь помочь, если захочешь. Потому что ты там был. Тебя ребята будут слушать. А моя работа состоит в том, чтобы находить людям работу, и я не понимаю, что мне мешает найти работу тебе. Ладно, вот тебе мой план: переезжай ко мне на время, пока не устроишься, помогай мне, а я помогу тебе. — Она наверняка поняла, о чем он, потрясенный, подумал. — Я имею в виду, что мы просто будем жить в одной квартире. Там две комнаты. Придумаем, как сделать, чтобы у нас, у каждого, была более-менее своя. Да, и ванная там, конечно, тоже есть.

Она все устроила. Она подумала обо всем, поду-

мала о нем и предложила свой план. Послушать ее, так это была своего рода сделка, каждый из них что-то делал для другого.

— Почему? — спросил он. Она предлагала так много, куда больше тех воскресных свиданий, и на это у нее должны были быть причины, связанные не только с ним, так что это были за причины?

Конечно, она поняла. Она все понимает, даже если понимание не всегда, вот как сегодня, заставляет ее быть мягче и милосерднее. Она сказала:

— Потому что нужно довести все до конца. Иначе все это никуда не годится. Я не знаю, как все должно происходить, но чувствую, как можно к этому прийти.

Он совершенно не понимал, о чем она. Что значит «до конца», что «все это», и куда «прийти».

— Ладно, — сказал он. — Хорошо.

Аликс, которая столько всего узнала о системе правосудия, почти обо всем позаботилась. Например, узнала, что правила условно-досрочного освобождения позволяют переехать, выяснила, куда ему являться для отчета. Еще она поговорила с бабушкой и отцом, так убедила их, так заворожила, что они, хотя и сказали сперва нет, в конце концов сказали да.

Родди был *в смятении.* Он был *ошеломлен* и *подчинен.*

Но это было нормально.

— Будь поосторожнее там.

Бабушка все еще переживала, когда он с двумя своим чемоданами вышел из дома на следующей неделе. У нее были слезы на глазах. Наверное, она все себе представляла не так. Но возможно, ей тоже стало легче. Как бы то ни было, она его обняла.

— Приезжай, слышишь? Мы тебе всегда рады. И звони обязательно. И возвращайся, как только захочешь, хорошо?

Отец сказал:

— Веди себя хорошо, сынок.

Они двое стояли на лужайке и махали вслед, когда Аликс увозила Родди. Опять — прощание с целой жизнью. Он думал, что и они чувствуют то же самое, только им придется привыкать к переменам, произошедшим не по их выбору, а его ждало что-то увлекательное. Это тоже был не совсем его выбор, но какой поворот событий!

Каждый раз, когда он видел Аликс, его жизнь, казалось, круто поворачивала.

Ему было стыдно, как легко, с каким легким сердцем он оставлял их, особенно зная, как они

старались, особенно если сравнить с тем, что произошло со многими другими; но он не мог стыдиться того, что поступил именно так. Он молодой, они старые, жизнь не стоит на месте — только так к этому и можно было относиться. Может быть, и они к этому так относились, просто им нужно привыкнуть. Ему тоже нужно было ко многому привыкать. Он ждал этого с нетерпением.

В машине Аликс сказала:

— У меня целая куча информации о разных колледжах и университетах, можешь все просмотреть, когда устроишься. И я тебе расскажу, какую можно найти работу. Но ты, — она взглянула на него и улыбнулась своей всеведущей улыбкой, — не волнуйся. Я не собираюсь на тебя давить. Правильный путь сам найдется, я знаю.

Смешно, как она верит в то, что что-нибудь само найдется. Ему это нравится, хотя у него самого такой уверенности нет. Да, но она больше его знает о таких вещах: о вере, о надежде, обо всем таком. Она этим всерьез занималась, по-своему училась этому, если в этой группе Умиротворения чему-то учились.

Квартира у нее над магазином, где продают всякую всячину. Две комнаты, как она и сказала,

плюс крохотная кухня и ванная. В ванной нет окна, поэтому там очень темно. В комнатах по большому окну на улицу, она довольно шумная, к этому пришлось привыкать: к шуму движения, громким разговорам, поднимающимся с тротуаров, и сиренам. Снаружи окна жутко грязные. А дома у Аликс ни пылинки, как сказала бы бабушка, они сами все убирают, и каждый моет за собой посуду, и все такое, но квартирка все равно сарай сараем. В спальне Аликс стоит кровать, платяной шкаф и несколько полок. Там, где спит Родди, у нее раньше была гостиная, да и сейчас тоже, там есть пара деревянных стульев и стол с пластиковом столешницей, старое мягкое кресло, обитое зеленой тканью букле, и такой же диван; он раскладывается, и на нем Родди спит. Геморрой, конечно, каждое утро его складывать, каждый вечер раскладывать, но когда такая теснота, выбора нет.

Это, в общем, не совсем то, о чем думали они с Майком. Вместо того чтобы подниматься домой на лифте, он взбирается по темной лестнице. Вместо того чтобы смотреть сверху на сверкающий ночной город, на ярко освещенную панораму настоящей жизни, он видит в окно кирпич, бетон и грязь.

Год назад он все представлял себе по-другому, и жизнь у него была другая.

У нее, как он предполагает, тоже.

И у ее матери тоже, это точно, и у всех в ее семье.

— Готов? — спрашивает она, подходя к нему сзади. — Хорошо выглядишь. Так, как нужно. Только не будь таким мрачным, переживешь.

Она улыбается, как будто сказала что-то смешное, хотя, если подумать, может получиться и так, что он всего этого не переживет. Зависит от того, кто к чему склонен, у кого какое будет настроение. Невредимым ему все равно не уйти. Хорошо, что он ей верит. То есть верит в могущество ее присутствия.

А она и в самом деле выглядит могущественной. Не в костюмно-портфельном смысле, у нее просто так твердо сжаты губы и глаза такие ясные и безмятежные, как будто совершенно не стоит беспокоиться из-за того, что они затеяли.

Интересно, ее семья уже привыкла к этому? Может, они научились не смотреть прямо на нее, чтобы их не слепило? Родди с этим еще не свыкся. Он прожил здесь уже несколько недель, но по-прежнему постоянно поражается. Каждый раз, когда она входит или он входит и видит ее, это

почти как в первый раз — обезоруживает. Притягивает, хотя ничего плохого в этом нет. Он не знает, что это. Он думает, что она его *привлекает*; что пробуждает в нем желание быть всем, чем он только может быть, скорее для нее, чем для себя. «Будь поосторожнее», — сказала бабушка. А отец: «Веди себя хорошо». Он бы так и сделал, если бы знал, что значат слова «осторожно» и «хорошо» в этом новом мире, в этой фантастической, неожиданной, пугающей ситуации.

Пока Аликс ничего от него не требовала; разве что сегодня. Она с самого начала сказала:

— Тебе надо хорошенько со всем здесь познакомиться, не торопись.

И как раз этим он занялся: встает по утрам первым, чтобы освободить ванную к тому времени, как она ей понадобится, ставит на стол хлопья и сок для них обоих, а потом, когда она идет на работу, он тоже уходит. Провожает ее до автобуса, а потом в любую погоду, даже в дождь, идет знакомиться. Столько разных жизней у стольких людей разной формы и цвета! Даже еда другая, вот есть фрукты, он даже не уверен, что это фрукты, — чистят их, режут, готовят или просто так берут, как яблоко, и кусают?

— С ума сойти, — говорит он Аликс. — Никак

не привыкну.

— Я так и думала, что тебе понравится, — слышно, что она за него рада.

И вот она говорит:

— Идем. — И он может сколько угодно смотреть на нее умоляющим взглядом, она не обращает внимания, и они все-таки выходят. Она запирает дверь. Его немного удивляло поначалу, что она так думает о безопасности и настаивает, чтобы он тоже запирал дверь, уходит он или остается дома. «Потому что, — объясняет она, — я знаю то, что знаю».

Он предполагает, что она говорит о малолетних преступниках, хотя не думает, что малолетних преступников соблазнит их темная лестница, ведущая к двум ничего не сулящим комнаткам. Ему бы хотелось, чтобы представился случай ее защитить, на деле показать, на что он ради нее способен. Хотя вряд ли что-то такое будет.

Машина старая, гремит, но она настаивает, что ехать можно, потому что компании, дающие машины напрокат, должны соблюдать определенные стандарты. Поскольку компания, где берет машины она, называется «Драндулет напрокат», он в этом не уверен, хотя готов поспорить, ей достается лучшее, что у них есть. Они

должны только посмотреть на нее и понять, что подвергать ее опасности — святотатство.

Они плетутся по городу до шоссе, по шоссе, осторожно, в правом ряду, к повороту, за которым начинается дорога, которая потом становится главной улицей городка, где он, в основном, рос. Всю дорогу его не покидает желание, чтобы что-нибудь случилось: что-нибудь несерьезное, не угрожающее жизни, не такое, что отправит их на встречную полосу или в кювет, а такое, чтобы они просто тихо и окончательно остановились.

Естественно, ничего не случается. Да и не может случиться, когда она за рулем.

Она из тех водителей, кто все время следит за дорогой и другими машинами. И все-таки рассказывает ему, кто там будет, хотя что там будет, конечно, не говорит, даже она этого не знает.

— Мой брат Джейми. Я знаю, он тебя пугает, но он сам попадал в беду. Я думаю, все будет в порядке, как только он начнет воспринимать тебя как настоящего человека, а не только как образ.

Сыновья Лайла. Они старше нас с Джейми, очень умные, но ближе мы с ними так и не познакомились. Ну, они уже были взрослые, когда Лайл с мамой поженились, а мы с Джейми вроде как шли своим путем, поэтому мы никогда тесно

не общались. Но они хорошие. Один — ученый, а второй только что получил работу, знаешь, в такой компании, которая занимается социологическими опросами. О политике, разных товарах, не знаю, о чем еще. В любом с лучае, разговаривать с ними не трудно. То есть мы с ними никогда ни о чем всерьез не говорили, но тут все в порядке, они славные. И еще Мартин, он был партнером мамы по рекламному агентству. Они его продали, кучу денег получили, и он ушел на пенсию. Классный мужик. Только что вернулся из Индии, мне прямо не терпится послушать, что он расскажет.

Бабушка, она чудо, и ее друг Берт, он — прелесть. Они вместе уже вечность, хотя так и не поженились. Сейчас они, конечно, такие старые, даже не верится. Бабушка уже не такая энергичная, как раньше, но все равно твердая, как гвоздь. На нее всегда можно было положиться, а Берт просто как бы прилагается к ней и делает всем приятное.

Даже старики «твердые, как гвоздь». Она что, не понимает, что эти люди могут с ним сделать?

Живут они в глуши. Могут убить его, закопать, и кто узнает?

Нет, ну это жуткая чушь. И все равно он нервно

посматривает на Аликс, сосредоточившуюся на дороге. Она бы не повезла его в ловушку.

Твердая, как гвоздь. Мама родная.

В городке они проезжают мимо «Кафе Голди». Он упорно смотрит вперед, и Аликс тоже. Ему интересно, заметила она кафе, обратила ли на него внимание.

Потом слева оказывается улица, по которой можно добраться до бабушкиного дома.

— Скоро снова съездим к твоим, к бабушке и папе, хорошо? — спрашивает Аликс. Значит, она помнит, она обращает на все это внимание.

Еще она верит в будущее.

Потом они проезжают магазины, заправки, прилавки, с которых торгуют пончиками, и снова оказываются в полях, на знакомой ему территории. Он видит себя мальчишкой, крутившим педали велосипеда, где-то здесь, не так давно, переходившим вброд канавы, карабкавшимся через заборы, валявшимся в траве, под солнцем, наблюдавшим за кроликами и муравьями. Тогда, в той, другой жизни. Аликс жмет на тормоза, включает правый поворотник и сворачивает на незаметный проселок, который кажется знакомым. Вроде, он тут ездил на велосипеде, но только часть пути, не до конца. Он вовсе не хотел, чтобы

его поймал кто-то из землевладельцев, пока он тут рыскал.

Теперь его, надо понимать, поймали.

Машина гремит и тарахтит на неровной, ухабистой поверхности. Теперь уже слишком поздно, чтобы отвалилась какая-нибудь важная деталь. Если что пойдет не так, они тут застрянут. Теперь он надеется, что машина выдержит, продержится, и они смогут выбраться отсюда, когда придет время или если вдруг понадобится.

В конце проселка они поворачивают.

— Видишь? — говорит Аликс. — Лучше не бывает, правда?

Да. Так и есть. Лучше не бывает, просто картинка, фотография; если бы еще не люди.

— Похоже, мы опоздали, — говорит она. — Вроде, все уже здесь.

Двое мужчин бросают подковы у боковой стены дома, старики, женщина и мужчина, стоят возле клумбы, смотрят на цветы. Молодой парень и мужчина постарше сидят на перилах веранды, свесив ноги. Еще один мужик постарше сидит в большом плетеном кресле. У всех в руках напитки. На веранде, рядом с мужиком в плетеном кресле, сидит женщина. Она в инвалидной коляске. Сейчас никто не двигается. Все повернули

головы в сторону машины Аликс. Просто смотрят. И молчат.

Аликс касается его руки.

— Давай, приятель, представление начинается. — Она выходит из машины и кричит: — Привет всем, вот и мы.

Родди медленно открывает свою дверцу. Ставит ноги на чужую землю. Все смотрят. Он не может понять, что за выражение у них на лицах. Аликс стоит у капота, ждет, протянув ему руку. Он никогда не держал ее за руку, ему бы хотелось.

Она тянет его вперед.

— Давайте я всех познакомлю, — громко произносит она.

Это звучит странно, слишком высоко. Наверное, они тоже поражены тем, какой у нее неестественный и визгливый голос. Он видит, как кто-то вздрагивает, кто-то поджимает губы, и улавливает, как будто он — летучая мышь, как кто-то задерживает дыхание, а кто-то вздыхает. Аликс останавливается.

— Простите. Наверное, я волнуюсь. (Она волнуется!) Я не хотела так начинать. Я знаю, это непросто, но мы приехали, и вы все здесь, и это — Род. И давайте все постараемся быть добрее друг к другу, ладно?

Ощущение, без которого нельзя

Из машины Аликс, с переднего сиденья выбирается некто — очень худой. Совсем не бросающийся в глаза. За звяканьем подков, за негромкими, осмотрительными разговорами, за доносящимися из открытых окон прелюдиями и фугами Баха, выбранными за спокойствие и благопристойность, они все слышали, как по проселку приближается машина, одна из тех консервных банок, которые Аликс берет на прокат, и все они замерли, чтобы потом осторожно, на время, вернуться к своим занятиям; чтобы, как полагает Айла, не придавать этому особого значения; чтобы не пугать и не расстраивать ее еще больше, чем она, как они все, наверное, думают, уже напугана и расстроена.

Идея эта кажется совершенно никудышной всем, кроме, ясное дело, Аликс. Реакция была единодушной, хотя выражалась по-разному.

— Просто беда с этим ребенком, — сказала Мэдилейн. — Как ей такое в голову могло прийти?

— Дура чертова, — сказал Джейми, который отказался их сюда везти. — Могла бы оставаться

в своем Корпусе Умиротворения, если собирается на свободе откалывать такие номера.

Лайл сказал:

— Хорошего мало. Но решить да или нет должна была Айла.

Если Айла беспокоилась, что он будет слишком ее опекать, защищать от внешних обстоятельств и даже от нее самой, то напрасно. Он, похоже, решил, что сделал все, что мог, и будет делать все, что должен, но в остальном то, что она наполовину парализована и передвигается в инвалидной коляске, ничего не меняет. По большому счету это — хороший подход, но она бы совсем не возражала, если бы он решительно и свирепо сказал: «Ни за что. Я не позволю». Вместо этого он рассердился, но сказал только:

«Ох, Айла. Ну зачем?» И еще: «Знаешь, тут ведь речь не только об Аликс. То, что планировалось на сегодня, касается всех, это должен был быть праздник. Для тебя, но и для всех остальных тоже. Я не понимаю, почему Аликс взялась менять правила, которым подчиняются все».

Айла тоже не понимает, но, похоже, это понимает сама Аликс. Потому что желания Аликс сильнее и непреодолимее, чем у прочих? Потому что, уйдя от Мастера Эмброуза, сделав этот серьез-

ный рывок на свободу, она требует и заслуживает какого угодно поощрения и вознаграждения?

Ну а если честно? Из любопытства. Дело в том, что сейчас — самый удачный момент. Как сказала Аликс, Айла на своей земле и среди своих.

И еще — острая потребность судить; и, в глубине ее отчаянной неподвижности, жажда разрушения.

Что ж, вот и он, худой и совсем не бросающийся в глаза.

Аликс ухватила его за руку и ведет к веранде. В это время мальчики Лайла, бросив игру в подковы, направляются к дому. Мэдилейн и Берт выходят из сада. Джейми и Мартин слезают с перил веранды, на которых сидели, свесив ноги. Все собираются вокруг; они похожи на охранников. Или на шайку.

Только Лайл не двигается с места. Он продолжает сидеть рядом с Айлой, держа на колене бокал пива, как будто ситуация самая рядовая, и знакомство незначительное, даже нет нужды вставать навстречу новому гостю.

И она, разумеется, тоже не двигается.

При ближайшем рассмотрении — мальчик как мальчик. Аликс, поприветствовав всех слишком громко и жизнерадостно, смущается, даже вроде

бы робеет, даже пугается. Поняла, в конце концов, как страшно ошиблась?

Так ей и надо.

При ближайшем рассмотрении Айла узнает силуэт. Последний раз она его видела с ружьем в руке, он поворачивался, поднимался на мыски, снова твердо вставал на ноги. Глядите-ка, вот и тот палец. Она, не отрываясь, смотрит на этот палец, на тот, который все изменил, принес горе и боль, о которых этот худой силуэт понятия не имеет. Вот он, перед ней.

Левой рукой он цепляется за руку Аликс, как напуганный ребенок.

Айла старается не смотреть ему в лицо, не встречаться с ним взглядом. Прошлый раз, когда она это сделала, их, его взгляд и ее, ненадолго замкнула друг на друга страшная неизбежность. И вот теперь — снова.

— А это, — говорит Аликс, — моя мама, Айла. Мама, это Род.

После чего даже Аликс не знает, что сказать. Молчание длится долго. Айла даже не слышит ничьего дыхания, только свои неглубокие вдохи.

Она смотрит на его правую руку и протягивает свою. Она хочет прикоснуться к этой руке, к этому его пальцу.

— По-моему, — сухо произносит она, — мы встречались.

Она думала, что это прозвучит скорее холодно, чем сухо, но нет, не прозвучало. Она чувствует, как его рука дрожит и слабеет в ее руке. Она наконец поднимает взгляд и видит, что в глазах у него отчаяние. Должно быть, больше всего на свете он хочет вырваться и убежать. Она усиливает хватку, вот и пригодились ее по-новому сильные руки. Да нет, он не убежит. Он слишком испуган — попался, бедолага.

Но почему он тогда приехал?

Из-за Аликс, конечно. Аликс его держит, гораздо крепче, чем держит сейчас за другую руку. Ее дочь хороша собой, но Айла не думает, что дело тут в красоте.

Мальчик совсем не хорош собой. Волосы у него длиннее, чем в тот день в «Кафе Голди». В глазах нет тогдашнего острого ужаса и паники, но видны ужас и паника помягче, вызванные тем, что происходит сейчас. У него тонкие губы, маленький подбородок. Не урод. Обыкновенный, не хуже других, но и не лучше.

То, что случилось, должно было оставить на нем какой-то след. Должны быть шрамы, переломы, или кровь должна идти. А у него одежда

опрятная и чистая, голубая рубашка аккуратно заправлена в брюки. Он даже при галстуке. Так мог бы выглядеть школьник, произносящий речь на выпускном, или мальчик, укладывающий пакеты с покупками в багажник ее машины. Если бы она сама не видела, как он чудовищен, трудно было бы поверить.

Что творится в сердцах у этих молодых людей, у него и Аликс, — загадка.

Она выпускает его руку, которая ничего не помогает понять. На этот раз он отдан ей на милость. Что ей делать с такой силой и властью? Если ей нужны шрамы, придется самой их наносить. Если она хочет крови, то пустить ее должна сама.

Она бросает взгляд на Лайла. Она видит, что он смотрит на мальчика с безоговорочной, ледяной, как жидкий азот, ненавистью: мужчина, приведенный в ярость и отчаяние тем, как уничтожена его жизнь. Она смотрит на сыновей Лайла, на красивых, процветающих, дельных Уильяма и Роберта. Они тоже глядят на отца. Они должны думать, что это несправедливо — то, что он, хотя ни в чем не виноват, по рукам и ногам связан всем этим ею. Она тоже ни в чем не виновата, но для них это неважно.

А ее собственный сын? Джейми уставился

вдаль, у него сжимается и подергивается какая-то мышца на челюсти, ей виден только его профиль — что видит он? Разнообразные печали, так она думает. Или, возможно, разнообразные пути отмщения. Она отводит от него взгляд и снова смотрит на этого мальчика, на Рода. Она ждала чего-то большего, он должен быть чем-то более существенным — нет, серьезно.

Мэдилейн из-за него расплакалась. Она стоит у крыльца. Берт обнимает ее за плечи и, утешая, похлопывает по спине, а у нее по щекам катятся слезы. За одно это, за то, что заставил старую женщину, мать, плакать, этот мальчишка должен страдать.

Он и страдает. Он окружен и, если не считать Аликс, окружают его презрение, ярость и горе. Поначалу ему было очень не по себе, сейчас он мучается. Вид у него такой, как будто он сейчас расплачется.

Вот и хорошо.

Может ли быть, что Аликс замышляла именно это? Не решила ли она, единственная среди них, отомстить, не оказалась ли настолько умна, что сумела продумать и осуществить план такой изысканной, такой тонкой и осторожной пытки для этого мальчишки, что это может показаться

даже ему проявлением любви или даже спасением?

На лице у Аликс написана суровость, решимость и, возможно, умиротворение. Она стоит с ним рядом, но целиком предоставила его той судьбе, которая ему выпадет.

В нормальных обстоятельствах новому гостю как раз сейчас предложили бы напитки и закуски, пригласили бы присесть, сказали бы что-нибудь доброе и приветливое. Не могут же они так и стоять вокруг этого мальчика в застывших позах, как будто решают, доверять ему стрижку газона или нет.

— Лайл, может быть, принесешь молодому человеку что-нибудь прохладительное? — спрашивает она.

И когда Лайл, этот глубоко воспитанный человек, встряхнувшись, выходит из того состояния, в котором пребывал до сих пор, и встает, она говорит мальчику:

— Садись. — И кивает на кресло Лайла. Обращаясь к Уильяму и Роберту, она говорит: — Как там ваши подковы? Кто выигрывает? — Они воспринимают это, чего ей и хотелось, как предложение вернуться к игре.

— Мама, вы же были в саду. Может быть, вы с

Бертом срежете немного цветов для столовой? Допустим, пару маленьких букетиков на стол и большой, шикарный — на каминную полку? А Аликс могла бы вам помочь.

У нее неплохо получается. Она наблюдает за тем, как рассасывается толпа, с определенной гордостью. Качества лидера, которые раньше так помогали вести хозяйство и организовывать рекламные кампании, по-прежнему при ней.

Лайл, выходя с холодной газировкой и стаканом, удивляется тому, что мальчишка сидит в его кресле, а почти все остальные разбрелись кто куда. Снова позвякивают подковы. Аликс и Мэдилейн оживленно — сердито? — разговаривают, Берт стоит рядом.

— Спасибо, Лайл, — говорит она. — Может, Мартин и Джейми тебе чем-то помогут с тем, что стряслось на газоне во дворе?

На газоне во дворе, насколько она знает, ничего не стряслось, и Лайл поднимает брови, но понять, к чему она клонит, нетрудно, намек более чем прозрачный.

— Ладно, — медленно произносит он. — Хорошо. Ребята?

Джейми противится больше всех. Он смотрит на мальчика тяжелым взглядом, но обращается

к Айле.

— Мы недалеко, — говорит он.

Он что, думает, что этот мальчик может причинить ей вред? Больший, чем уже причинил? В опасности тут он, а не она.

— Разверни кресло, — велит она ему, — чтобы мне тебя было видно.

И он неуклюже, поставив сначала свою газировку, разворачивается, с трудом подтаскивая неповоротливое кресло. Послушный мальчик. Может, она отчасти сама виновата, не крикнула ему: «Стой!» — в тот решающий момент в «Кафе Голди».

— Да уж, — произносит она весело, — непросто, правда? И о чем, как ты предполагаешь, мы можем говорить?

Если случилось, что Аликс сегодня совершила нечто намеренно жестокое, то не стоит гадать, откуда у нее это острое, режущее умение.

— Не знаю, — как будто ему двенадцать, смотрит себе на ноги. Внезапно осознавая, что болтает ими взад-вперед. Чего, как он, видимо, понял, она сделать не может — и он резко останавливается.

— Почему ты приехал?

— Из-за Аликс, наверное. Она сказала, так надо. Я, — и он смотрит на нее безумными глазами, —

не хотел.

Понятно, что не хотел. Но если он смотрит на Айлу, надеясь получить нечто вроде материнской поддержки, то тут он стучится в каменную грудь.

— Тогда, я думаю, мы в равных условиях. Никто, кроме Аликс, не хотел, чтобы ты приезжал. Я бы никогда не сказала такое обыкновенному гостю, но тебя это наверняка не удивляет. По-моему, нам с тобой нечего вытанцовывать из вежливости друг перед другом, как перед другими людьми.

Он, возможно, с благодарностью принял бы любой танец из вежливости. С этой надеждой можно проститься. Забавно то, что в том, что она сказала этому мальчику, есть своя правда: он — человек, от которого ей почти нечего скрывать. Они видели друг друга в самом обнаженном состоянии. Раздеться, исповедаться — все это ничто по сравнению с той секундой в «Кафе Голди».

— Но вот ты здесь, несмотря на то, что все были против, в том числе ты и я, и о чем, как ты думаешь, мы можем поговорить? (Он пожимает плечами; беспомощный, потерянный.) — Ну что ж. Я знаю. Как насчет того, как мы, каждый, провели прошедший год? Ты мне расскажешь про тюрьму, а потом я тебе — про больницу. Готова

поспорить, кое в чем они не так уж отличаются одна от другой. В том смысле, что ни там, ни там не можешь делать то, что хочется. Не забудь, я все еще не могу и, судя по всему, никогда не смогу. А ты?

Слишком жестоко? Она, в общем-то, не хотела доводить его до слез. Она думала, он покрепче. У него же, в конце концов, было ружье. Он в нее выстрелил, разве нет?

Она думала, что и сама она покрепче. Может быть, именно это имела в виду Аликс: когда на него смотришь, на живого, вблизи, в нем нет ничего чудовищного.

Тогда кто же будет ее преследовать, какой неясный образ она сможет вспоминать, кого с уверенностью счесть представителем рока, настолько величественного и могучего, что он отнял у нее ноги, такое животрепещущее движение, ощущение, без которого нельзя? Этого мальчика? Его незначительность, его робость, его откровенный страх — все это делает ее рок таким ничтожным, ее страдания — пустячными, ее борьбу — мелкой. Какое оскорбление, какой удар.

Неужели Аликс выяснила и это? И не взялась ли она в таком случае достроить его, сделать его

больше, помочь ему дорасти до роли, которую он уже сыграл? Если так, то за это стоило взяться. У Айлы хитрая, умная девочка.

— Расскажи мне, — произносит она, возможно, слишком расширяя временные рамки, — что ты чувствуешь? То есть кроме страха и нежелания здесь находиться?

— Ну, — говорит он, чуть подумав, а может быть, просто гадая, какого ответа она ждет, — я очень жалею, — он снова поднимает голову, в его тусклых маленьких глазах все еще блестят слезы. — Я так жалею.

— О чем? Что тебя поймали? Что попал в тюрьму? Пытался ограбить кафе-мороженое? Провалил эту затею? Выстрелил в меня? Жалеешь себя, меня — как тебя понимать?

Голос у него дрожит. Ему стало еще страшнее, если он умный.

— Обо всем, наверное. О том, что так получилось. Я этого не хотел, совсем не хотел. Я поверить не мог.

— Я тоже, — соглашается она. — Я тоже не могла в это поверить. В общем, и до сих пор не могу. Хотя вот он, ты, и вот она, я, и наше с тобой, как бы это назвать, неожиданное столкновение тоже состоялось. Думаю, придется в это поверить. Ты

о тех секундах часто думаешь? Я — да. Даже не могу тебе сказать, сколько раз я снова и снова прокручивала все в памяти. И каждый раз для меня это — шок. А для тебя?

— Да, — выдыхает он. Теперь он смотрит на нее с какой-то странной надеждой. Занятный молодой человек. — Я думаю, было бы хоть чуть-чуть по-другому, и все. Я ведь даже из ружья до этого не стрелял. Как же я мог во что-то попасть в тот единственный раз?

— Не во что-то. В кого-то. Вообще-то, в меня. — О боже, ну и злой у нее язык. — Так ты не из тех мальчишек, которые все время ходят на охоту, ну, с отцом, например?

— Нет. Он с друзьями ходит. Не со мной. Я даже в птиц и кроликов никогда не стрелял! Я люблю животных. У меня собака была, вернее, у бабушки был пес, только он умер, пока меня не было. Я если когда и имел дело с мертвыми животными, то они уже были мертвые, когда я их находил.

Тошнотворная картина. Она пытается от нее отрешиться.

— Тогда почему? Чего ты хотел? Я пришла в кафе за мороженым, а ты что там делал? С ружьем? Какая у тебя была цель?

— У нас был план. Нам нужны были деньги,

чтобы уехать, квартиру снять, всякое такое. Я думал, все будет просто. План был совсем простой, — теперь он говорит отрывисто, словно стреляет. — Я не должен был из него стрелять, только так, понарошку. Чтобы было похоже на настоящее ограбление. А тут вошли вы. Как раз когда я собирался это сделать. Пальнуть в стену. Поэтому я и ружье поднял, а вы меня испугали. И я не знаю, просто так *получилось*. Просто *получилось*, и все.

Айла понимает, а до него медленно доходит, что он ей сказал: что был план, что были какие-то *мы*, что нужно было выстрелить для прикрытия, чтобы было похоже на настоящее ограбление.

— Ну вот, — говорит он, — я так старался, — и она понимает, что он говорит не об осторожном обращении с огнестрельным оружием, а о том, что старался защитить друга.

— Да, — говорит она, — это точно. Он должен быть тебе очень благодарен. Наверное, во многих ситуациях верность — хорошее качество. Не в данном случае, на мой взгляд, но часто. Я понимаю, как ты мог совершить эту ошибку.

— Что вы сделаете? — Конечности у него обмякают и обвисают, как у тряпичной куклы. Как будто его поддерживала только верность,

единственное хорошее качество, которое он мог предъявить.

— Не знаю, — она не обманывает; она и правда не знает. — Нужно будет подумать. Преступление-то было очень страшное. И, как видишь, — она показывает на свои ноги, — оно до сих пор страшное. И останется таким.

— Я знаю. Господи. Но, — глубокий вдох, — это ведь я нажал на курок.

— Поверь, мне это известно. Но ошибусь ли я, предположив, что, будь ты один, ты бы не стоял в тот день в «Кафе Голди» или где-то еще с ружьем наперевес?

Да, она видит: он понимает, что это правда. Хорошая это для него новость или плохая? Означает ли она, что он не совсем виновен или что у него слабый характер? Весь прошлый год он был вооруженным грабителем, человеком с оружием. Должно быть, чувствуешь себя совсем иначе, чем тот, кто жалко плетется следом за кем-то. Не то чтобы полный козел, но явный козел отпущения.

— В общем, нет, — говорит он, — но ведь стоял.

Теперь ее очередь толковать неоднозначные слова: настаивает он на том, что его большой, дерзкий, дурной поступок полностью принадле-

жит ему или требует наказания для себя одного?

Она поверить не может, что даже задумывается об этом. Что ее хоть сколько-нибудь интересуют эти мелкие детали его преступных намерений.

— Ты в меня выстрелил, — задумчиво говорит она. — У тебя от одной мысли ноги не подкашиваются? У меня все еще да. Или подкашивались бы, если бы могли, — ему пора выучить, что существуют рискованные глаголы. Он вздрагивает, как будто она его ударила. — Так как? — спрашивает она уже более мягко; в каком-то смысле, более по-дружески.

— Да, наверное, — медленно произносит он. — Я бы все отдал, чтобы вы поправились. Вы тоже, я думаю. Вы меня наверняка ненавидите.

Это звучит не так, как в тех случаях, когда говорят что-то вроде: «Ты меня наверняка ненавидишь», — с целью услышать: «Нет, совсем нет, конечно, нет». Это звучит как простой факт. Чем и должно быть.

Но ненависть огромна, и ей, конечно, нужен огромный объект. А в этом мальчике ничего огромного нет. Огромным было ружье, и то мгновение было огромным, а он — нет.

— Ты знаешь, нет, — говорит она так же медленно, как он, — я ненавижу то, что ты сделал,

но это немножко другое, — можно ли в восемнадцать лет различать такие вещи? И понимает ли он разницу между тем, что для него это — что-то, что получилось, а для нее — то, что он сделал с ней? — И я очень зла, что ты, наверное, и сам видишь.

Она замечает, что он смотрит мимо нее, и, с легка повернувшись, видит Аликс, Мэдилейн и Берта, наблюдающих за ними из сада. Разговор у них вроде бы пошел спокойнее. Аликс кивает им двоим, сидящим на веранде, желая сказать — что? Что у них все идет как нужно? Аликс понятия не имеет. Никакого.

— Я тоже, — неожиданно говорит он. И вид у него удивленный, как будто эта мысль и для него в новинку.

— Ты злишься?

— Ну да — повел себя как дурак всего один раз, и все рухнуло. Одна минута, если бы я мог все вернуть, одна минута все бы изменила. А я не могу, так что — да, злюсь. То есть на себя. На все вообще. Понимаете?

Он бьет кулаками по коленкам в такт своим словам. И на лице у него, господи, сожаление, подлинная мука, настоящая ненависть к себе. И еще — ужас от навалившихся на него невыно-

симых чувств. Он что, раньше этого не говорил? Вид у него, во всяком случае, такой потрясенный, как будто он первый раз произнес все это вслух.

— Честное слово, я бы убил себя, если бы только можно было начать заново, — его голос взвивается вверх. — Да и вообще — убил бы себя, и все.

Аликс хоть понимает, с чем имеет дело? И что натворила? А сама Айла понимает?

— Я знаю, — тихо говорит Айла, — я об этом тоже думала.

Правда думала. Он должен понимать, что это — не снисхождение.

— Знаешь, какое-то время, в больнице, когда была полностью парализована. Ничего не чувствовала: ни рук, ни пальцев, ни ног, ни ступней, ничего. Двигаться не могла, ничего не ощущала. До того странное состояние, не расскажешь — такая беспомощность. Было время, когда я думала, что, наверное, мне лучше умереть. Только само собой это не получалось, а я не знала, кого попросить помочь, и сама ничего предпринять не могла. Так злилась, в таком была отчаянии.

Он, конечно, должен услышать в этом упрек; но еще, возможно, и желание поделиться тем, о чем она, как и он, многое знает, тем, что, как она полагает, они оба пережили.

Ужасно было бы оказаться на его месте. Знать, что разрушил, знать, что во всем виноват сам. А ему всего восемнадцать. Он, наверное, готов голову себе оторвать.

— Сейчас, как видишь, многое изменилось к лучшему. Я потеряла только ноги, хотя и это — большая потеря. Странно, но я иногда чувствую, как они болят, но это все, только боль, ничего хорошего. Едва ли они мне когда-нибудь пригодятся. Но теперь я *могу* себя убить. Теперь мне это доступно. И я тебе скажу кое-что, о чем никто не знает: после операции я собиралась это сделать. Брала в руки ножи, высыпала в ладонь таблетки, думала об этом. Такое искушение, правда? Просто взять и сделать это. Но, — ее голос становится жестче, — как видишь, я этого не сделала. Столько возможностей было, а я все-таки этого не сделала. Хотя, — быстро усмехнувшись, — кто знает, что будет завтра. Я, во всяком случае, не знаю.

Теперь он сидит, поставив локти на колени, сгорбившись, и заглядывает ей в лицо.

— А почему? Почему вы этого не сделали?

Врать она не может. Но она не может быть с этим молодым человеком так же беспечна и наивна, как Аликс.

— Потому что было очень тяжело достичь даже

этого. Слишком много труда я затратила, чтобы все ушло впустую. А еще — эти люди, — она поводит рукой, но не перестает смотреть ему в глаза. Если она его отпустит, он упадет, она знает, что упадет.

— Вот эти люди — как я могла с ними так поступить? Было время, когда все это было неважно, но вообще-то это очень важно. Мои дети, ну, хотя бы Аликс ты знаешь. И мой муж. Ты, наверное, не знаешь, а может быть, и знаешь, но мы с ним не так давно вместе, и я наконец-то была очень счастлива, мне было так спокойно. Так что сейчас, хотя, наверное, в какой-то момент я могу решить иначе, я не могу его так наказать. С другой стороны, и обузой для него я быть не хочу. Не хочу его связывать.

Этого, разумеется, в восемнадцать лет не понять. Да и не касается его это. Но он слушает внимательно, очень внимательно. Как говорит Аликс, он просто жаждет, чтобы его наполнили.

— Но, знаешь, дети у меня молодые, а муж — мужчина хоть куда. Они переживут. Но вот моя мать — вон она, видишь, в саду. Она всегда была для меня опорой, она меня спасла, когда случилась беда; но ты об этом не знаешь, — или знает? Сложно сказать, о чем они с Аликс бесе-

довали. — Даже если забыть об остальных, с ней я так поступить не могла. Это значило бы, что я и ее убиваю. Она — моя мама, так что… — она пожимает плечами.

— Моя мама, — тихо произносит он, — меня бросила. Или ее забрали. Я не знаю, я был маленький. Вроде она болела. А потом, через несколько лет, она бросилась с моста.

Между ними резко возникает враждебность, плотное вещество ее подозрений: он что, ищет ее сочувствия? Предлагает какое-то недоделанное объяснение, почему сорвался с катушек? Озвучивает всякую чушь, которую ему внушили тюремные психологи?

— Вот бабушка, наверное, та была бы против. И отец. Я как-то об этом не очень думал, как они будут себя чувствовать. Ну, если я себя убью.

Да, это ей знакомо: поглощенность собой, свойственная жертвам, беспечность проклятых.

— Но ты этого не сделаешь. И я тоже. Раз уж мы прошли такой путь.

Это похоже на сделку, на обет.

— Наверное, нет. Я не знаю, что делать. Но мост я нашел. Попробовал представить.

Она видит, как мужчины, Лайл, Джейми и Мартин, выходят из-за угла дома. Смотрят в сторону

веранды, оценивают происходящее и свое место в нем и как-то тихо решают отправиться в сад к Мэдилейн, Аликс и Берту. Роберт и Уильям, конечно, уже приустали швырять подковы. Все проявляют изрядную деликатность, так ей кажется. Или страх. Или смятение. В любом случае, они себя очень правильно ведут, уважительно относясь к тем таинственным событиям, в которых не принимают участия. Ей очень повезло, хотя ее везение удачей не назовешь.

— Так, — она садится прямо, насколько может, делая им знак, что у нее все хорошо, а мальчику — что самое время сменить тему, — если ты не собираешься себя убивать, то чем ты собираешься заняться? Какие у тебя планы? Вернешься домой, снова будешь жить у бабушки?

У нее тут свой интерес. Она не хочет сталкиваться с ним на улице, как бывало, неожиданно и случайно.

— Нет, наверное. Все знают. Все будут смотреть.

Один из кругов ада, без сомнения. На Айлу, разъезжающую в коляске, тоже смотрят. Она не так уж счастлива, что все теперь доброжелательны, так и норовят склониться над ней и завести разговор о чем-нибудь вроде погоды, о том, кто

в семье ходит за покупками, даже о городских событиях, которые могут ее заинтересовать. Об инвалидности — ничего, они слишком вежливы; или им неловко. И только некоторые говорили с ней медленно и громко, как будто она лишилась слуха или разума, а не ног. Она полагает, что это говорит о чем-то хорошем.

И все-таки, как она сказала Лайлу, сложно, когда тебя начинают считать своей именно так. Стой она на ногах, ходи, на это ушли бы десятилетия.

— Аликс мне помогала. Я сдал экзамены, пока сидел, — он слегка запинается перед «сидел». — Так что, наверное, найду какую-нибудь работу. Она говорит, для начала ни на что особенно рассчитывать не приходится, хотя оценки у меня были хорошие. Где-нибудь в кафе или в магазине, — тогда пусть надеется, что никогда не окажется лицом к лицу с вооруженным подростком. — Я был бы не против заняться дизайном пейзажа, она и об этом упоминала. Я раньше стриг для людей газоны и делал всякую работу в саду. Я люблю быть на свежем воздухе.

— Да, я тоже. А до того как все это произошло, о чем ты подумывал?

Как бы она ответила на такой вопрос в семна-

дцать? Было какое-то смутное представление о словах, о рекламе, вспоминает она, не цель, не перспектива и не план, просто идея. Потому что к тому времени она подумывала о Джеймсе, об этом многообещающем молодом человеке постарше.

Боже, снова слезы. И она огорчила мальчика, он смотрит на нее с тревогой. Она качает головой.

— Ничего. Просто я подумала о своем. Продолжай.

— Не знаю. У меня не было серьезных планов. Наверное, если бы учился тогда получше, мог бы думать о колледже, но я не так уж много внимания уделял школе. К тому же не думаю, что у нас были на это деньги. Но там, пока я сидел, мы проходили всякие тесты, выясняли, кто к чему способен, и мне сказали, что я могу работать с растениями, или животными, или числами, что-то в таком роде, — прямо жаль, что Джейми бросил работу в цветочном магазине; мог бы передать ее Роду.

— У Аликс полно буклетов разных колледжей, знаете, где перечисляются курсы, которые там читают? Она говорит, что в перспективе мне нужно думать об этом, но пока нужно копить деньги. Все не так, как я думал, — как разговорчив он делается. — Все, о чем мы думали раньше, это как

найти квартиру и по-настоящему оторваться.

На деньги из «Кафе Голди». Они что, ждали так много от кассы одного кафе-мороженого? Роскоши и свободы сразу? Какие дети, как они безнадежно полны надежд.

— Но все не так.

— Нет, думаю, что нет.

Айла, разумеется, не может сходить в гости к Аликс. Она едва ли взберется по узкой лестнице. Но если судить по рассказам Аликс, роскошью там и не пахнет. Аликс, увлеченная своим плохо оплачиваемым добрым делом, похоже, считает, что добрые дела требуют определенной суровости в интерьере. Но, по крайней мере, она зарабатывает на жизнь, идет своим путем, и при этом — никакого хождения в стаде, в форме, с кружкой для пожертвований для мерзкого Мастера Эмброуза. Идеи у нее, кажется, в основном верные, пока она не срывается в крайность или мученичество, такой риск в случае с Аликс всегда есть.

— Мне нравится все изучать. Я раньше тут все изучал, но теперь я живу там, где рос бы, если бы мама не заболела, это, в общем, интересно — посмотреть, как бы все было, если бы ничего не служилось. Например, столько всего, что я бы уже знал. Мне хочется найти кого-нибудь, кто

с ней был знаком. Мост я уже нашел, но я пока никого не знаю, кто ее знал.

Айлу эта исповедь немного раздражает. Она что, упала в его испуганных глазах? И теперь он воспринимает ее просто как приветливую женщину, которая никуда не денется, с которой можно поболтать?

— Но ты пока ни магазинов, ни людей не грабил?

— Нет! — он напуган и потрясен. — Нет.

— А почему нет? У тебя это пока не слишком ловко получается. Я думала, что, выйдя из тюрьмы, ты мог решить, что нужно попрактиковаться, — как легко заставить его съежиться. Она поверить не может, что ей стыдно, но так и есть. — Прости, — говорит она и не может поверить, что просит прощения у этого малолетнего преступника; целый год она размышляла, фантазировала и представляла, как ему отомстит.

Что произошло с женщиной, требовавшей шрамов, жаждавшей крови?

Она все еще здесь. Она, скорее всего, всегда тут будет. Но разве это — мишень, это бедное существо?

— Я думаю, — осторожно говорит он, — что вы должны говорить все, что захотите. То есть

я бы на вашем месте убить меня хотел, это точно. Но я не знаю, что сказать. *Простите* — это ерунда. Наверное, это вообще ничего не значит. Но я ничего не могу исправить. И не знаю, что делать, — это вырывается, как рыдание. Он действительно растерян. Потому что он, вообще-то, прав. И они ходят по кругу. Они зашли в тупик, потому что она потеряла ноги, он сердце, и что тут скажешь?

— Тебе будет лучше, если я в тебя выстрелю? — мягко спрашивает она. — Просто раню, покалечу, чтобы по справедливости, сравнять счет, око за око, ноги за ноги?

Секунду, почти такую же длинную, как та секунда в «Кафе Голди», только неподвижно, не поворачиваясь, не крутясь, он просто смотрит на нее. А потом уголки ее губ начинают подрагивать в улыбке. Тогда и его губы — тоже.

Они не то чтобы смеются. Едва ли между ними возникла душевная близость. И обстоятельства их не сблизили, и она не перестала жалеть о том, что он существует. Да и он, наверное, жалеет о том, что существует она. Но это — гораздо больше, чем она могла представить.

В эту секунду, в этот мимолетный миг страшная горечь наказания, тяжкое бремя мести уходит,

освобождая место — чему? Она думает, что, возможно, верным словом будет все-таки *свет*, благодать. Она не совсем точно знает, что это такое, что в целом оно включает и охватывает, но к ней приходит именно слово: она чувствует краткое озарение, нисхождение света — благодать.

Ее саму потрясает, переполняет ощущение своего не совсем добросердечия — она не собирается и не хочет становиться добросердечным человеком, — но горячего желания не причинять вреда. Не обязательно создавать свет, но не сгущать тьму.

Свет и благодать невозможно поддерживать постоянно и непрерывно, по крайней мере она не может. Это все пока — гидропоника, корней оно не пустило, но об этом нужно знать. И заботиться. Как заботиться о благодати, как ее поддерживать?

Как и все остальное, так она думает. Как упражнения для мышц груди, спины и рук: повторять, упражняться, делать одно и то же снова и снова до тех пор, пока не станет, а иногда и когда станет трудно и больно, преодолевая себя.

Она тянется и прикасается к колену Родди. Не любя и не прощая, но потому, что он, пусть неуклюже и нечаянно, дал ей это.

Лайл сейчас тихо беседует с Мартином и Джейми, прислонившись к перилам веранды возле угла дома.

— Не пора ли начать второй раунд? — кричит им она. И еще: — Давайте-ка, все, возвращайтесь. Вам нужно как следует познакомиться с Родом.

Под этим она, наверное, подразумевает разговоры: запинающиеся вопросы, неловкие ответы, ритуал знакомства, который сделало таким тяжелым и, возможно, страшным, бремя обиды, недоверия, неприязни, страха, презрения, неумения и, никуда не денешься, очень глубокой ярости.

Так все это более-менее и происходит. Голоса у всех напряженные, незнакомые и едва ли раскованные, но как хорошая хозяйка она направляет их друг к другу, устанавливает связи и темы, интересные всем, помимо одной, явной, себя самой, и разводит говорящих, когда голоса становятся резкими. Она говорит Джейми, что Род в тюрьме сдал экзамены и ему интересно работать на воздухе. Говорит Роду, что Джейми тоже вернулся к учебе, а одно время работал в цветочном магазине.

Она говорит Роберту и Уильяму, что мама Рода тоже умерла, когда он был подростком, а Роду

говорит, что один из них — серьезный ученый, а другой — серьезный исследователь общественного мнения. Она говорит Мартину, что Род мечтал переехать из маленького городка в большой город, а Роду — что желания Мартина стали более обширны и он недавно вернулся из Индии. Есть масса возможностей — вот что она хочет сказать. Выходов по-настоящему много.

Она говорит Мэдилейн, что Род рос в основном с бабушкой, а Роду говорит, что, если бы не Мэдилейн, она даже не знает, что стало бы с ней, да и с Джейми, и с Аликс, когда для них настали очень тяжелые времена. Она говорит Берту, что отец Рода, похоже, человек очень немногословный, а Роду говорит, что Берт тоже такой, но каждое слово произносит, чтобы поддержать и утешить.

Многое из этого приводит ко вполне удачным и продолжительным беседам. Но, сделав все, что смогла, она предоставляет их самим себе.

Утешение — интересное понятие. Оно снова всплывает в уме, когда через несколько часов обед подходит к концу, на столе полно грязных тарелок и салфеток свечи догорают, цветы никнут и клонят головки. Сейчас по одну сторону длинного стола Джейми и Мартин ведут негромкий разговор, а Уильям и Роберт, сидящие по обе стороны

от Мэдилейн и Берта, склонились к пожилой паре, и все они кивают, обсуждая что-то забавное. Аликс сидит рядом с Родом, а тот — рядом с Джейми, смелое сочетание, которое по ходу обеда, пока Джейми не повернулся к Мартину, стало если и не теплым, то сердечным, и какое-то время Джейми и Род оживленно сравнивали тюрьмы, охранников, с которыми им приходилось иметь дело, то, как относились к ним полицейские и адвокаты. Айла слышала, как Джейми сказал:

— Мне повезло, — и она думает, что так и есть.

Она и Лайл сидят во главе стола, рука об руку, хотя ее коляска занимает больше места, чем его стул. Их руки соприкасаются под скатертью. Она не очень верит, что эта привязанность, как бы глубока она ни была в данный момент, по-прежнему может продлиться десять, двадцать, тридцать лет, но как раз сейчас — сейчас они держатся за руки.

Как раз сейчас заканчивается день, заканчивается именно так, как она представляла: в неярком свете, после хорошего обеда, среди этих людей, в этом доме. Но еще, из-за худой фигуры между Джейми и Аликс, день заканчивается совсем не так, как она думала.

Она понимает, что жаждала не только мести,

но и, по большому счету, утешения. Но она слишком во многом неизлечима и так горестно, так основательно безутешна.

Но тем не менее есть это мгновение. А мгновение, как она поняла, поворачиваясь на входе в «Кафе Голди», может быть, очень долгим, очень большим.

Есть стойкость, такое прочное, несгибаемое слово из мореного дуба, и в стойкости есть свои, твердо стоящие на ногах мгновения — странные и почти чувственные мгновения радости. Эта радость, редкая и незнакомая ей, ничего не восполняет, никоим образом; но она, в конце концов, хотя бы на мгновение приносит утешение.

И все это, так она думает, слушая, как голоса вокруг то прибывают, то убывают, как музыка, как вода, все это может быть светом и благодатью: утешительная радость, мерцающая, как свечи, уходящая корнями в стойкость, время от времени вспыхивающая мимолетной картиной. Вот так.